This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

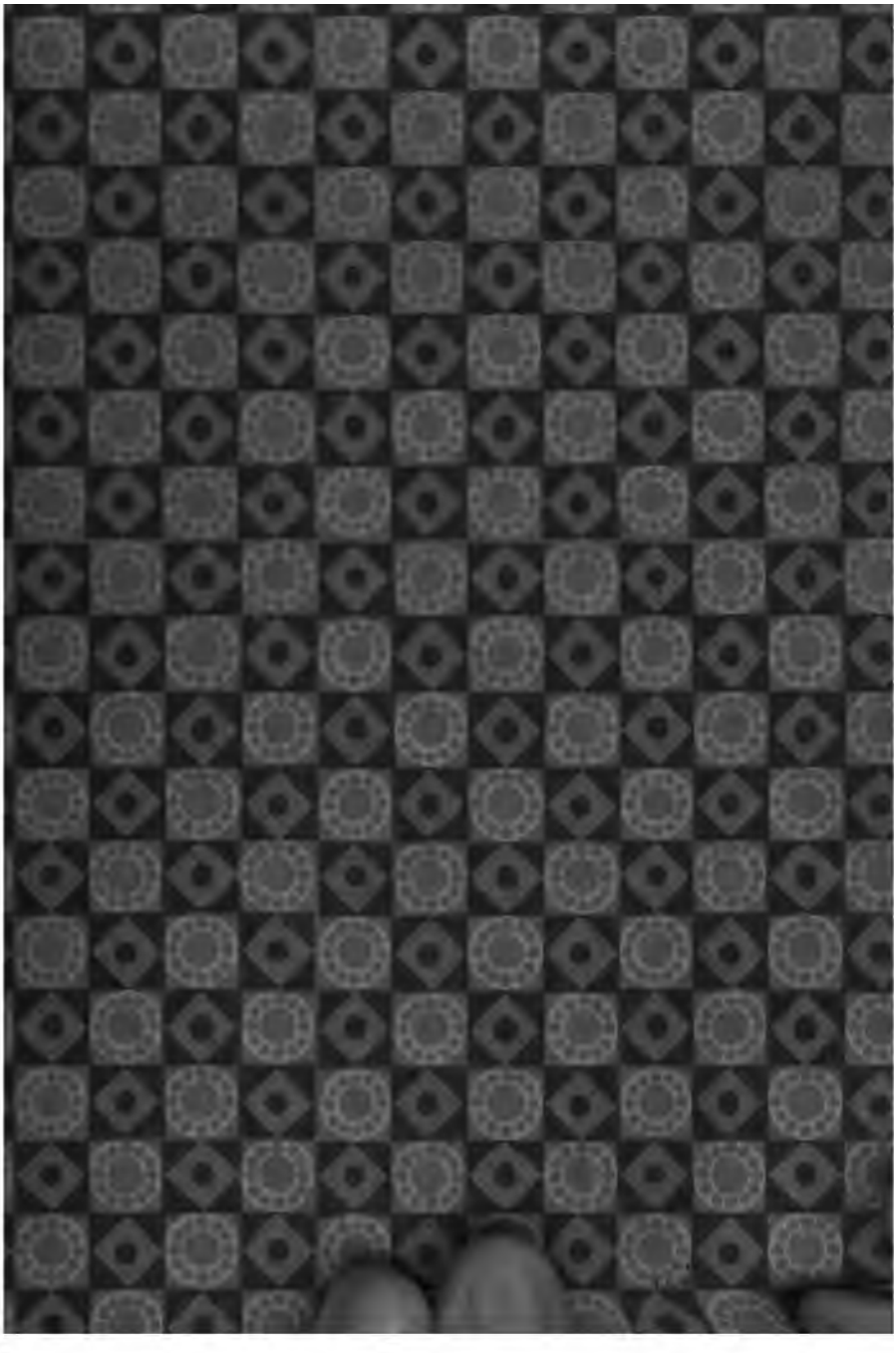
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 469487



41 1

PROPERTY OF
University of Michigan Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

III.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1904 ГОДЪ.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Скиталецъ. Памяти Чехова.
А. Купринъ. Памяти Чехова.
М. Горькій. Дачники.
И. Бунинъ. Памяти Чехова.
Л. Андреевъ. Красный смѣхъ.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1905.

891.708
S3
v.3

Тип. Монтвида, уг. Конной ул. и Телѣжнаго пер., д. № 3—5.

Настоящій сборникъ

посвящается товариществомъ „Знаніе“

памяти

Антона Павловича Чехова.

СОДЕРЖАНІЕ:

	стран.
Скиталецъ. Памяти Чехова.	1
А. Купринъ. Памяти Чехова.	3
М. Горькій. Дачники.	43
И. Бунинъ. Памяти Чехова.	247
Л. Андреевъ. Красный смѣхъ	269

СКИТАЛЕЦЪ.

ПАМЯТИ ЧЕХОВА.

ПАМЯТИ ЧЕХОВА.

Неумолимый рокъ унесъ его въ могилу.
Болѣзнь тяжелая туда его свела.
Она была—въ груди и всюду съ нимъ ходила:
Вся жизнь страны родной—болѣзнь его была!

Пророки и вожди, кипя душой мятежной,
Могли быть гнѣвными, могли, любя, карать.
А онъ любилъ людей такой любовью нѣжной,
Какъ любитъ женщина, какъ любитъ только мать.

Печали жгучій ядъ онъ выпилъ полной чашей,
Впиталъ въ себя всю грусть, глубокій, какъ родникъ.
И былъ отравленъ онъ тоскою жизни нашей,
Терпѣніемъ рабовъ и тупостью владыкъ.

Дыханье пошлости ему дышать мѣшало.
До гроба мучила холодная вражда.
И, наконецъ, толпа любовью истерзала.
Но былъ онъ одинокъ повсюду и всегда.

Онъ жилъ подъ темною, загадочною властью
Судьбы насмѣшливой, безчувственной и злой,
И капля каждая имъ выпитаго счастья
Была отравлена невидимой рукой.

И, поздно понятый, судимый такъ напрасно,
Онъ умеръ оттого, что слишкомъ жизнь бѣдна,
Что люди на землѣ и грубы, и несчастны,
Что стонетъ подъ ярмомъ родная сторона.

И, оставляя міръ, онъ звалъ тебя, свобода!
Послѣдній вздохъ его уже звучалъ тобой,
Онъ чувствовалъ, что даль таитъ лучи восхода,
А ночь еще сильна и давитъ край родной.

О родина моя, ты вознесешь моленья
И тѣнь прекрасную благословишь, любя.
Но прокляни же ты проклятіемъ презрѣнья
Бездушныхъ торгашей, что продаютъ тебя!

Пусть смерть его падетъ на гадовъ дряхлой злобы,
Чьи руки черствыя обагрены въ крови,
Кто добивалъ его, а послѣ былъ у гроба
И громче всѣхъ кричалъ о дружбѣ и любви!

Блесни надъ родиной, могучее свѣтило,
Птицъ ночи разгони, пронзи ночную тѣнь
И, возрождая жизнь надъ темною могилой,
Приди, торжественный, давно желанный день!

А. КУПРИНЪ.

ПАМЯТИ ЧЕХОВА.

Бывало, въ раннемъ дѣтствѣ, вернешься послѣ долгихъ лѣтнихъ каникулъ въ пансіонъ. Все сѣро, казарменно, пахнетъ свѣжей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день — еще крѣпишься кое-какъ, хотя сердце,—нѣтъ нѣтъ, — и сожмется внезапно отъ тоски. Занимаютъ встрѣчи, поражаютъ перемѣны въ лицахъ, оглушаютъ шумъ и движеніе.

Но, когда настанетъ вечеръ, и возня въ полутемной спальнѣ уляжется,—о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяніе овладѣваютъ маленькой душой. Грызешь подушку, подавляя рыданія, шепчешь милыя имена и плачешь, плачешь жаркими слезами и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вотъ тогда-то понимаешь впервые весь потрясающій ужасъ двухъ неумолимыхъ вещей: невозвратимости прошлаго и чувства одиночества. Кажется, что сейчасъ же съ радостью отдалъ бы всю остальную жизнь, перенесъ бы всяческія мученія за одинъ только день того свѣтлаго, прекраснаго существованія, которое никогда не повторится. Кажется, ловилъ бы каждое милое, заботливое слово и заключалъ его навсегда въ памяти, впивалъ бы въ душу медленно и жадно, капля по каплѣ, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, въ суетѣ, и потому что время представлялось неисчерпае-

мымъ,—ты не воспользовался каждымъ часомъ, каждымъ мгновеніемъ, промелькнувшимъ напрасно.

Дѣтскія скорби жгучи, но онѣ растаютъ во снѣ, и исчезнутъ съ завтрашнимъ солнцемъ. Мы, взрослые, не чувствуемъ ихъ такъ страстно, но помнимъ дольше и скорбимъ глубже. Вскорѣ послѣ похоронъ Чехова, возвращаясь съ панихиды, бывшей на кладбищѣ, одинъ большой писатель сказалъ простыя, но полныя значенія слова:

— Вотъ, похоронили мы его, и уже проходитъ безнадежная острота этой потери. Но, понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней нашихъ останется въ насъ ровное, тупое, печальное сознаніе, что Чехова нѣтъ?

И вотъ теперь, когда его нѣтъ, особенно мучительно чувствуешь, какъ драгоцѣнно было каждое его слово, улыбка, движеніе, взглядъ, въ которыхъ свѣтилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалѣешь, что не всегда былъ внимателенъ къ тѣмъ особеннымъ мелочамъ, которыя иногда сильнѣе и интимнѣе говорятъ о внутреннемъ человѣкѣ, чѣмъ крупныя дѣла. Упрекаешь себя въ томъ, что изъ-за суеты жизни не успѣлъ запомнить, записать много интереснаго, характернаго, важнаго. И въ то же время знаешь, что эти чувства раздѣляютъ съ тобою всѣ тѣ, кто былъ близокъ къ нему, кто истинно любилъ его, какъ человѣка несравненнаго душевнаго изящества и красоты, кто съ вѣчной признательностью будетъ чтить его память, какъ память одного изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ писателей.

Къ любви, къ нѣжной и тонкой печали этихъ людей я обращаю настоящія строки.

I.

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городомъ, глубоко подъ бѣлой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строилъ, но она была, пожалуй, самымъ оригинальнымъ зданіемъ въ Ялтѣ. Вся бѣлая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная внѣ какого-нибудь опредѣленнаго архитектурнаго стиля, съ вышкой въ видѣ башни, съ неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и съ открытой террасой вверху, съ разбросанными — то широкими, то узкими окнами, она походила бы на зданія въ стилѣ moderne, если бы въ ея планѣ не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкусъ. Дача стояла въ углу сада, окруженная цвѣтникомъ. Къ саду, со стороны, параллельной шоссе, примыкало, отдѣленное низкой стѣнкой, старое татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилахъ.

Цвѣтничокъ былъ маленькій, далеко не пышный, а фруктовый садъ еще очень молодой. Росли въ немъ груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. Въ послѣдніе годы садъ уже началъ приносить кое-какіе плоды, доставляя Антону Павловичу много заботъ и трогательнаго, какого-то дѣтскаго удовольствія. Когда наступало время сбора миндальныхъ орѣховъ, то ихъ снимали и въ Чеховскомъ саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой въ гостинной на подоконникѣ, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать ихъ, хотя ихъ и предлагали.

А. П. не любилъ и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишкомъ мало защищена отъ пыли, летящей сверху, съ аутскаго шоссе, что садъ плохо снабженъ водою. Не любя вообще Крыма, а въ

особенности Ялты, онъ съ особенной, ревнивой любовью относился къ своему саду. Многіе видѣли, какъ онъ иногда по утрамъ, сидя на корточкахъ, заботливо обмазывалъ сѣрой стволы розъ, или выдергивалъ сорныя травы изъ клумбъ. А какое бывало торжество, когда среди лѣтней засухи, наконецъ, шелъ дождь, наполнявшій запасныя глиняныя цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось въ этой хлопотливой любви, а другое болѣе мощное и мудрое сознаніе. Какъ часто говорилъ онъ, глядя на свой садъ прищуренными глазами:

— Послушайте, при мнѣ здѣсь посажено каждое дерево и, конечно, мнѣ это дорого. Но и не это важно. Вѣдь здѣсь до меня былъ пустырь и нелѣпые овраги, всѣ въ камняхъ и въ чертополохѣ. А я вотъ пришелъ и сдѣлалъ изъ этой дичи культурное, красивое мѣсто. Знаете ли,—прибавлялъ онъ вдругъ съ серьезнымъ лицомъ, тономъ глубокой вѣры,—знаете ли, черезъ триста, четыреста лѣтъ вся земля обратится въ цвѣтущій садъ. И жизнь будетъ тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красотѣ грядущей жизни, такъ ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всѣхъ его послѣднихъ произведеніяхъ, была и въ жизни одной изъ самыхъ его задушевныхъ, наиболѣе лелѣемыхъ мыслей. Какъ часто, должно быть, думалъ онъ о будущемъ счастіи человѣчества, когда, по утрамъ, одинъ, молчаливо подрѣзывалъ свои розы или внимательно осматривалъ раненый вѣтромъ молодой побѣгъ. И сколько было въ этой мысли кроткаго, мудраго и покорнаго самозабвенія!

Нѣтъ, это не была заочная жажда существованія, идущая отъ ненасытимаго человѣческаго сердца и цѣпляющаяся за жизнь, это не было—ни жадное любопытство къ тому, что будетъ послѣ меня, ни завистливая грусть къ далекимъ поколѣніямъ. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной

души, непомѣрно страдающей отъ пошлости, грубости, скуки, праздности, насилія, дикости—отъ всего ужаса и темноты современныхъ будней. И потому-то, подъ конецъ его жизни, когда пришла къ нему огромная слава и сравнительная обезпеченность, и преданная любовь къ нему всего, что было въ русскомъ обществѣ умнаго, талантливаго и честнаго,—онъ не замкнулся въ недостижимости холоднаго величія, не впалъ въ пророческое учительство, не ушелъ въ ядовитую и мелочную ревность къ чужой извѣстности. Нѣтъ, вся сумма его громаднаго и тяжелаго житейскаго опыта, всѣ его огорченія, скорби, радости и разочарованія—выразились въ этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечтѣ о грядущемъ, близкомъ, хотя и чужомъ счастіи.

— Какъ хороша будетъ жизнь черезъ триста лѣтъ!

И потому-то онъ съ одинаковой любовью ухаживалъ за цвѣтами, точно видя въ нихъ символъ будущей красоты, и слѣдилъ за новыми путями, пролагаемыми человѣческимъ умомъ и знаніемъ. Онъ съ удовольствіемъ глядѣлъ на новыя зданія оригинальной постройки и на большіе морскіе пароходы, живо интересовался всякимъ послѣднимъ изобрѣтеніемъ въ области техники и не скучалъ въ обществѣ спеціалистовъ. Онъ съ твердымъ убѣжденіемъ говорилъ о томъ, что преступленія въ родѣ убійства, воровства и прелюбодѣянія, становятся все рѣже, почти исчезаютъ въ настоящемъ интеллигентномъ обществѣ, въ средѣ учителей, докторовъ, писателей. Онъ вѣрилъ въ то, что грядущая, истинная культура облагородитъ человѣчество.

Разсказывая о чеховскомъ садѣ, я позабылъ упомянуть, что посрединѣ его стояли качели и деревянная скамейка. И то и другое осталось отъ „Дяди Вани“, съ которымъ Художественный театръ пріѣзжалъ въ Ялту, пріѣзжалъ, кажется, съ исключительной цѣлью показать больному тогда А. П—чу постановку его пьесы.

Обоими предметами Чеховъ чрезвычайно дорожилъ и, показывая ихъ, всегда съ признательностью вспоминалъ о миломъ вниманіи къ нему Художественнаго театра.

II.

Во дворѣ жили: ручной журавль и двѣ собаки. Надо замѣтить, что Антонъ Павловичъ очень любилъ всѣхъ животныхъ, за исключеніемъ, впрочемъ, кошекъ, къ которымъ онъ питалъ непреодолимое отвращеніе. Собаки же пользовались его особымъ расположеніемъ. О покойной Каштанкѣ, о мелеховскихъ таксахъ Бромѣ и Хинѣ онъ вспоминалъ такъ тепло и въ такихъ выраженіяхъ, какъ вспоминаютъ объ умершихъ друзьяхъ. „Славный народъ—собаки!“—говорилъ онъ иногда съ добродушной улыбкой.

Журавль былъ важная, степенная птица. Къ людямъ онъ относился вообще недовѣрчиво, но велъ тѣсную дружбу съ Арсеніемъ, слугой Антона Павловича. За Арсеніемъ онъ бѣгалъ всюду, по двору и по саду, причемъ уморительно подпрыгивалъ на ходу и махалъ растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танецъ, всегда смѣшившій Антона Павловича.

Одну собаку звали „Тузикъ“, а другую—„Каштанъ“, въ честь прежней, мелеховской „Каштанки“, носившей это имя. Ничѣмъ, кромѣ глупости и лѣности, этотъ Каштанъ, впрочемъ, не отличался. По внѣшнему виду онъ былъ толстъ, гладокъ и неуклюжъ, свѣтло-шоколаднаго цвѣта, съ безсмысленными желтыми глазами. Вслѣдъ за Тузикомъ онъ лаялъ на чужихъ, но стоило его поманить и почмокать ему, какъ онъ тотчасъ же переворачивался на спину и начиналъ угодливо извиваться по землѣ. Антонъ Павловичъ легонько отстрянялъ его палкой, когда онъ лѣзъ съ нѣжностями, и говорилъ съ притворной суровостью:

— Уйди, уйди, дуракъ... Не приставай.

И прибавлялъ, обращаясь къ собесѣднику, съ досадой, но со смѣющимися глазами:

— Не хотите ли, подарю пса? Вы не повѣрите, до чего онъ глупъ.

Но однажды случилось, что Каштанъ, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попалъ подъ колеса фаэтона, который раздавилъ ему ногу. Бѣдный песъ прибѣжалъ домой на трехъ лапахъ, съ ужасающимъ воемъ. Задняя нога была вся исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антонъ Павловичъ тотчасъ же промылъ рану теплой водой съ сулемой, присыпалъ ее іодоформомъ и перевязалъ марлевымъ бинтомъ. И надо было видѣть, съ какой нѣжностью, какъ ловко и осторожно прикасались его большіе милые пальцы къ ободранной ногѣ собаки, и съ какой сострадательной укоризной бранилъ онъ и уговаривалъ визжавшаго Каштана:

— Ахъ ты, глупый, глупый... Ну, какъ тебя угораздило?.. Да тише ты... легче будетъ... дурачокъ...

Приходится повторить избитое мѣсто, но несомнѣнно, что животныя и дѣти инстинктивно тянулись къ Чехову. Иногда приходила къ А. П. одна больная барышня, приводившая съ собою дѣвочку лѣтъ 3—4-хъ, сиротку, которую она взяла на воспитаніе. Между крошечнымъ ребенкомъ и пожилымъ, грустнымъ и больнымъ человѣкомъ, знаменитымъ писателемъ, установилась какая-то особенная, серьезная и довѣрчивая дружба. Подолгу сидѣли они рядомъ на скамейкѣ, на верандѣ; А. П. внимательно и сосредоточенно слушалъ, а она безъ умолку лепетала ему свои дѣтскія наивныя слова и путалась ручонками въ его бородѣ.

Съ большой и сердечной любовью относились къ Чехову и всѣ люди попроще, съ которыми онъ сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны—и не только съ любовью, но и съ тонкой

чуткостью, съ бережностью и съ пониманіемъ. Не могу не разсказать здѣсь одного случая, который передаю со словъ очевидца, маленькаго служащаго въ Р. О. П. и Т., человѣка положительнаго, немногословнаго и, главное, совершенно непосредственнаго въ воспріятіи и передачѣ своихъ впечатлѣній.

Это было осенью. Чеховъ, возвращавшійся изъ Москвы, только-что пріѣхалъ на пароходѣ изъ Севастополя въ Ялту и еще не успѣлъ сойти съ палубы. Былъ промежутокъ той сумятицы, криковъ и безтолочи, которые всегда подымаются вслѣдъ за тѣмъ, какъ опустятъ сходни. Въ это-то суматошное время, татаринъ-носильщикъ, всегда услуживавшій А. П—чу и увидѣвшій его еще издали, раньше другихъ успѣлъ взобраться на пароходъ, разыскалъ вещи Чехова и уже готовился нести ихъ внизъ, какъ на него внезапно налетѣлъ бравый и свирѣпый помощникъ капитана. Этотъ человѣкъ не ограничился одними непристойными ругательствами, но въ порывѣ начальственнаго гнѣва ударилъ бѣднаго татарина по лицу.

— И вотъ тогда произошла сверхъестественная сцена,—разсказывалъ мой знакомый.—Татаринъ бросаетъ вещи на палубу, бьетъ себя въ грудь кулаками и, вытаращивъ глаза, лѣзетъ на помощника. И въ то же время кричитъ на всю пристань:

— Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударилъ? Ты—вотъ кого ударилъ!

И показываетъ пальцемъ на Чехова. А Чеховъ, знаете ли, подходитъ, блѣдный весь, губы трясутся. Подходитъ къ помощнику и говоритъ ему тихо такъ, раздѣльно, но съ необычайнымъ выраженіемъ: „Какъ вамъ не стыдно!“ Повѣрите ли, ей-Богу, будь я на мѣстѣ этого мореплавателя,—лучше бы мнѣ двадцать разъ въ морду дали, чѣмъ услышать это: „какъ вамъ не стыдно“. И на что ужъ морякъ былъ толстокожъ, но и того проняло; заметался—заметался, забормоталъ

что-то и вдругъ испарился. И ужъ больше его на палубѣ не видѣли.

III.

Кабинетъ въ ялтинскомъ домѣ у А. П. былъ небольшой, шаговъ 10 въ длину и 6 въ ширину, скромный, но дышавшій какой-то своеобразной прелестью. Прямо противъ входной двери—большое квадратное окно въ рамѣ изъ цвѣтныхъ желтыхъ стеколъ. Съ лѣвой стороны отъ входа, около окна, перпендикулярно къ нему—письменный столъ, а за нимъ маленькая ниша, освѣщенная сверху, изъ-подъ потолка, крошечнымъ окошечкомъ; въ нишѣ—турецкій диванъ. Съ правой стороны, посединѣ стѣны—коричневый кафельный каминъ; наверху, въ его облицовкѣ, оставлено небольшое незадѣланное плиткой мѣстечко, и въ немъ небрежно, но мило написано красками вечернее поле съ уходящими вдаль стогами—это работа Левитана. Дальше, по той же сторонѣ, въ самомъ углу—дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича,—свѣтлая, веселая комната, сіяющая какой-то дѣвической чистотой, бѣлизной и невинностью. Стѣны кабинета—въ темныхъ съ золотомъ обояхъ, а около письменнаго стола виситъ печатный плакатъ „просятъ не курить“. Сейчасъ же возлѣ входной двери, направо—шкафъ съ книгами. На каминѣ нѣсколько бездѣлушекъ и между ними прекрасно сдѣланная модель парусной шкуны. Много хорошенькихъ вещицъ изъ кости и изъ дерева и на письменномъ столѣ; почему-то преобладаютъ фигуры слоновъ. На стѣнахъ портреты—Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдѣльномъ маленькомъ столикѣ, на вѣерообразной подставкѣ, множество фотографій артистовъ и писателей. По обоимъ бокамъ окна спускаются прямыя, тяжелыя, темныя занавѣски, на полу

большой, восточнаго рисунка, коверъ: эта драпировка смягчаетъ всѣ контуры и еще больше темнитъ кабинетъ, но благодаря ей, ровнѣе и пріятнѣе ложится свѣтъ изъ окна на письменный столъ. Пахнетъ тонкими духами, до которыхъ А. П. всегда былъ охотникъ. Изъ окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко къ морю, и самое море, окруженное амфитеатромъ домовъ. Слѣва же, справа и сзади дома громоздятся полукольцомъ горы. По вечерамъ, когда въ гористыхъ окрестностяхъ Ялты зажигаются огни, и когда во мракѣ эти огни и звѣзды надъ ними такъ близко сливаются, что не отличаешь ихъ другъ отъ друга,—тогда вся окружающая мѣстность очень напоминаетъ иные уголки Тифлиса...

Всегда бываетъ такъ: познакомишься съ человѣкомъ, изучишь его наружность, походку, голосъ, манеры, и все-таки всегда можешь вызвать въ памяти его лицо такимъ, какимъ его видѣлъ въ первый разъ, совсѣмъ другимъ, отличнымъ отъ настоящаго. Такъ и у меня, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ знакомства съ А. П. сохранился въ памяти тотъ Чеховъ, какимъ я его увидѣлъ впервые, въ общемъ залѣ Лондонской гостинницы въ Одессѣ. Показался онъ мнѣ тогда почти высокаго роста, худощавымъ, но широкимъ въ костяхъ, нѣсколько суровымъ на видъ. Слѣдовъ болѣзни въ немъ тогда не было замѣтно, если не считать его походки,—слабой и точно на немного согнутыхъ колѣняхъ. Если бы меня спросили тогда, на кого онъ похожъ съ перваго взгляда, я бы сказалъ: на земскаго врача или на учителя провинціальной гимназіи. Но было въ немъ также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное—въ лицѣ, въ говорѣ и въ оборотахъ рѣчи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность въ манерахъ. Именно такое первое впечатлѣніе выносили многіе, и я въ томъ числѣ. Но, спустя нѣсколько часовъ, я увидѣлъ совсѣмъ другого

Чехова,—именно того Чехова, лицо котораго никогда не могла уловить фотографія и которое, къ сожалѣнію, не понялъ и не прочувствовалъ ни одинъ изъ писавшихъ съ него художниковъ. Я увидѣлъ самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человѣческое лицо, какое только мнѣ приходилось встрѣчать въ моей жизни.

Многіе впослѣдствіи говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это - ошибка, но ошибка до страннаго общая всѣмъ, знавшимъ его. Глаза у него были темные, почти каріе, причемъ раёкъ праваго глаза былъ окрашенъ значительно сильнѣе, что придавало взгляду А. П., при нѣкоторыхъ поворотахъ головы, выраженіе разсѣянности. Верхнія вѣки нѣсколько нависали надъ глазами, что такъ часто наблюдается у художниковъ, у охотниковъ, у моряковъ—словомъ, у людей съ сосредоточеннымъ зрѣніемъ. Благодаря pince-nez и манерѣ глядѣть сквозь низъ его стеколъ, нѣсколько приподнявъ кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровымъ. Но надо было видѣть Чехова въ иныя минуты (увы, столь рѣдкія въ послѣдніе годы), когда имъ овладѣвало веселье, и когда онъ, быстрымъ движеніемъ руки сбрасывая pince-nez и покачиваясь взадъ и впередъ на креслѣ, разражался милымъ, искреннимъ и глубокимъ смѣхомъ. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, съ добрыми морщинками у наружныхъ угловъ, и весь онъ тогда напоминалъ тотъ юношескій извѣстный портретъ, гдѣ онъ изображенъ почти безбородымъ, съ улыбающимся, близорукимъ и наивнымъ взглядомъ нѣсколько исподлобья. И вотъ — удивительно,—каждый разъ, когда я гляжу на этотъ снимокъ, я не могу отдѣлаться отъ мысли, что у Чехова глаза были дѣйствительно голубые.

Обращалъ вниманіе въ наружности А. П. его лобъ—широкій, бѣлый и чистый, прекрасной формы: лишь въ самое послѣднее время на немъ легли между бро-

вями, у переносья, двѣ вертикальныя задумчивыя складки. Уши у Чехова были большія, некрасивой формы, но другія, такія умныя, интеллигентныя уши я видѣлъ еще лишь у одного человѣка—у Толстого.

Прошлымъ лѣтомъ, пользуясь добрымъ настроеніемъ духа у Антона Павловича, я сдѣлалъ съ него нѣсколько снимковъ ручнымъ фотографическимъ аппаратомъ. Но, къ несчастью, лучшіе изъ нихъ и чрезвычайно похожіе вышли совсѣмъ блѣдными, благодаря слабому освѣщенію кабинета. Про другіе же, болѣе удачные, самъ А. П. сказалъ, посмотрѣвъ на нихъ:

— Ну, знаете ли, это не я, а какой-то французъ.

Помнится мнѣ теперь очень живо пожатіе его большой сухой и горячей руки, — пожатіе всегда очень крѣпкое, мужественное, но въ то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себѣ и его почеркъ: тонкій, безъ нажимовъ, ужасно мелкій, съ перваго взгляда—небрежный и некрасивый, но, если къ нему приглядѣться, очень ясный, нѣжный и характерный, какъ и все, что въ немъ было.

IV.

Вставалъ А. П., по крайней мѣрѣ, лѣтомъ, довольно рано. Никто даже изъ самыхъ близкихъ людей не видалъ его небрежно одѣтымъ; также не любилъ онъ разныхъ домашнихъ вольностей, въ родѣ туфель, халатовъ и тужурокъ. Въ восемь-девять часовъ его уже можно было застать ходящимъ по кабинету, или за письменнымъ столомъ, какъ всегда, безукоризненно, изящно и скромно одѣтаго.

Повидимому, самое лучшее время для работы приходилось у него отъ утра до обѣда, хотя пишущимъ его, кажется, никому не удавалось заставать: въ этомъ отношеніи онъ былъ необыкновенно скрытенъ и сты-

дливъ. Зато нерѣдко въ хорошія теплыя утра его можно было видѣть на скамейкѣ, за домомъ, въ самомъ укромномъ мѣстѣ дачи, тамъ, гдѣ вдоль бѣлыхъ стѣнъ стояли кадки съ олеандрами. Тамъ сидѣлъ онъ иногда по часу и болѣе, одинъ, не двигаясь, сложивъ руки на колѣняхъ и глядя впередъ, на море.

Около полудня и позднѣе домъ его начиналъ наполняться посѣтителями. Въ это же время на желѣзныхъ рѣшеткахъ, отдѣляющихъ усадьбу отъ шоссе, висли цѣлыми часами любопытствующія дѣвицы въ бѣлыхъ, войлочныхъ широкополыхъ шляпахъ. Самые разнообразные люди пріѣзжали къ Чехову: ученые, литераторы, земскіе дѣятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессора, свѣтскіе люди, сенаторы, священники, актеры—и Богъ знаетъ кто еще. Часто обращались къ нему за совѣтомъ, за протекціей, еще чаще съ просьбой о просмотрѣ рукописи; являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующіе; были и такіе, которые посѣщали его съ единственною цѣлью направить этотъ большой, но заблудшій талантъ въ надлежащую, идейную сторону. Приходила просящая бѣднота— и настоящая, и мнимая. Эти никогда не встрѣчали отказа. Я не считаю себя въ правѣ упоминать о частныхъ случаяхъ, но твердо и навѣрно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношенію къ учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его болѣе чѣмъ скромныя средства.

Бывали у него люди всѣхъ слоевъ, всѣхъ лагерей и оттѣнковъ. Несмотря на утомительность такого постояннаго человѣческаго круговорота, тутъ было нѣчто и привлекательное для Чехова. Онъ изъ первыхъ рукъ, изъ первоисточниковъ, знакомился со всѣмъ, что дѣлалось въ данную минуту въ Россіи. О, какъ ошибались тѣ, которые въ печати и въ своемъ воображеніи называли его человѣкомъ равнодушнымъ къ общественнымъ интересамъ, къ мятущейся жизни интел-

лигенціи, къ жгучимъ вопросамъ современности. Онъ за всѣмъ слѣдилъ пристально и вдумчиво; онъ волновался, мучился и болѣлъ всѣмъ тѣмъ, чѣмъ болѣли лучшіе русскіе люди. Надо было видѣть, какъ въ извѣстныя черныя времена, когда при немъ говорили о нелѣпыхъ, темныхъ и злыхъ явленіяхъ нашей общественной жизни,—надо было видѣть, какъ сурово и печально сдвигались его густыя брови, какимъ страдальческимъ дѣлалось его лицо и какая глубокая высшая скорбь свѣтилась въ его прекрасныхъ глазахъ.

Здѣсь умѣстно вспомнить объ одномъ фактѣ, который, по моему, прекрасно освѣщаетъ отношеніе Чехова къ нелѣпостямъ русской дѣйствительности. У многихъ въ памяти его отказъ отъ званія почетнаго академика, извѣстны и мотивы этого отказа, но далеко не всѣ знаютъ его письмо въ Академію по этому поводу—прекрасное письмо, написанное съ простымъ и благороднымъ достоинствомъ, со сдержаннымъ негодованіемъ великой души. Академія, ревнующая о красотѣ и чистотѣ русскаго языка, должна была бы отмѣтить это письмо, какъ лучшій образецъ эпистолярной формы. Привожу его текстъ:

„Въ декабрѣ прошлаго года я получилъ извѣщеніе объ избраніи А. М. Пѣшкова въ почетные академики, и я не замедлилъ повидаться съ А. М. Пѣшковымъ, который тогда находился въ Крыму, первый принесъ ему извѣстіе объ избраніи и первый поздравилъ его. Затѣмъ, немного погодя, въ газетахъ было напечатано, что въ виду привлеченія Пѣшкова къ дознанію по 1035 ст., выборы признаются недѣйствительными, причемъ было точно указано, что это извѣщеніе исходитъ изъ Академіи наукъ, а такъ какъ я состою почетнымъ академикомъ, то это извѣщеніе частью исходило и отъ меня. Я поздравлялъ сердечно и я же признавалъ выборы недѣйствительными—такое противорѣчіе не укла-

дывалось въ моемъ сознаніи, примирить съ нимъ свою совѣсть я не могъ. Знакомство съ 1035 ст. ничего не объяснило мнѣ. И послѣ долгаго размышленія я могъ придти только къ одному рѣшенію, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложеніи съ меня званія почетнаго академика".

А. Чеховъ.

Странно—до чего не понимали Чехова. Онъ—этотъ „неисправимый пессимистъ", какъ его опредѣляли,—никогда не уставалъ надѣяться на свѣтлое будущее, никогда не переставалъ вѣрить въ незримую, но упорную и плодотворную работу лучшихъ силъ нашей родины. Кто изъ знавшихъ его близко не помнитъ этой обычной, излюбленной его фразы, которую онъ такъ часто, иногда даже совсѣмъ не въ тактъ разговору, произносилъ вдругъ своимъ увѣреннымъ тономъ:

— Послушайте, а знаете что? Вѣдь въ Россіи черезъ десять лѣтъ будетъ конституція.

Да, даже и здѣсь звучалъ у него тотъ же мотивъ о радостномъ будущемъ, ждущемъ человѣчество, который отозвался во всѣхъ его произведеніяхъ послѣднихъ лѣтъ.

Надо сказать правду: далеко не всѣ посѣтители щадили время и нервы А. П—ча, а иные такъ просто были безжалостны. Помню я одинъ случай, поразительный, почти анекдотически невѣроятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо интеллигентнаго какъ будто бы званія.

Было хорошее, не жаркое, безвѣтренное лѣтнее утро. А. П. чувствовалъ себя на рѣдкость въ легкомъ, живомъ и безпечномъ настроеніи. И вотъ появляется, точно съ неба, толстый господинъ (оказавшійся впослѣдствіи архитекторомъ), посылаетъ Чехову свою ви-

зитную карточку и проситъ свиданія. А. П. принимаетъ его. Архитекторъ входитъ, знакомится и, не обращая никакого вниманія на плакатъ „просятъ не курить“, не спрашивая позволенія, закуриваетъ вонючую, огромную нѣмецкую сигару. Затѣмъ, отвѣсивъ, какъ неизбѣжный долгъ, нѣсколько булыжныхъ комплиментовъ хозяину, онъ приступаетъ къ приведшему его дѣлу.

Дѣло же заключается въ томъ, что сынокъ архитектора, гимназистъ III класса, бѣжалъ на дняхъ по улицѣ и, по свойственной гимназистамъ привычкѣ, хватался на бѣгу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. Въ концѣ концовъ, онъ напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапалъ ладонь. „Такъ вотъ, видите ли, глубокоуважаемый А. П.,— заключилъ свой разсказъ архитекторъ,—я бы очень просилъ васъ напечатать объ этомъ въ корреспонденціи. Хорошо, что Коля ободралъ только ладонь, но вѣдь это—случай, онъ могъ бы задѣть какую-нибудь важную артерію—и что бы тогда вышло?“—„Да все это очень прискорбно,—отвѣтилъ Чеховъ,—но, къ сожалѣнію, я ничѣмъ не могу вамъ помочь. Я не пишу, да никогда и не писалъ корреспонденцій. Я пишу только разсказы“.—„Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше! Вставьте это въ разсказъ, — обрадовался архитекторъ. — Пропечатайте этого домовладѣльца съ полной фамиліей. Можете даже и мою фамилію проставить, я и на это согласенъ... Или нѣтъ... все-таки лучше мою фамилію не цѣликомъ, а просто поставьте: господинъ С. Такъ, пожалуйста... А то вѣдь у насъ только и осталось теперь два настоящихъ либеральныхъ писателя—вы и г. NN.“ (и тутъ архитекторъ назвалъ имя одного извѣстнаго литературнаго закройщика).

Я не сумѣлъ передать и сотой доли тѣхъ ужасающихъ пошлостей, которыя наговорилъ оскорбленный въ родительскихъ чувствахъ архитекторъ, потому что за время своего визита онъ успѣлъ докурить си-

гару до конца и потомъ долго приходилось провѣтривать кабинетъ отъ ея зловоннаго дыма. Но, когда онъ, наконецъ, удалился, А. П. вышелъ въ садъ совершенно разстроенный, съ красными пятнами на щекахъ. Голосъ у него дрожалъ, когда онъ обратился съ упрекомъ къ своей сестрѣ Маріи Павловнѣ и къ сидѣвшему съ ней на скамейкѣ знакомому:

— Господа, неужели вы не могли избавить меня отъ этого человѣка? Прислали бы сказать, что меня зовутъ куда-нибудь. Онъ меня измучилъ!

Помню также—и это, каюсь, моя вина,—какъ пріѣхалъ къ нему выразить свое читательское одобреніе нѣкій самоувѣренный штатскій генералъ, который, вѣроятно, желая доставить Чехову удовольствіе, началъ, широко разставивъ колѣни и упершись въ нихъ кулаками вывернутыхъ рукъ, всячески поносить одного молодого писателя, громадная извѣстность котораго тогда только еще начинала рости. И Чеховъ тотчасъ же сжался, ушелъ въ себя и все время сидѣлъ съ опущенными глазами, съ холоднымъ лицомъ, не проронивъ ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который онъ бросилъ, при прощаніи, на знакомаго, приведшаго генерала, можно было видѣть, какъ много огорченія принесъ ему этотъ визитъ.

Также стыдливо и холодно относился онъ и къ похваламъ, которыя ему расточали. Бывало, уйдетъ въ нишу, на диванъ, рѣсницы у него дрогнутъ и медленно опустятся и уже не поднимаются больше, а лицо сдѣлается неподвижнымъ и сумрачнымъ. Иногда, если эти неумѣренные восторги исходили отъ болѣе близкаго ему человѣка, онъ старался обратить разговоръ въ шутку, свернуть его на другое направленіе. Вдругъ скажетъ, ни съ того, ни съ сего, съ легкимъ смѣшкомъ:

— Ужасно люблю читать, что обо мнѣ одесскіе репортеры пишутъ.

— Почему такъ?

— Смѣшно очень. Все врутъ. Ко мнѣ прошлой весной явился одинъ изъ нихъ въ гостиницу. Проситъ интервью. А у меня какъ разъ времени не было. Я и говорю: „извините, я теперь занятъ. Да, впрочемъ, пишите, что вздумается. Мнѣ все равно". Ну, ужъ онъ и написалъ. Меня даже въ жаръ бросило.

А однажды онъ съ самымъ серьезнымъ лицомъ сказалъ:

— Что вы думаете: меня вѣдь въ Ялтѣ каждый извозчикъ знаетъ. Такъ и говорятъ: „а! Чеховъ? Это, который читатель? Знаю". Почему-то называютъ меня читателемъ. Можетъ быть, они думаютъ, что я по покойникамъ читаю? Вотъ вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чѣмъ я занимаюсь...

V.

Въ часъ дня у Чехова обѣдали внизу, въ прохладной и свѣтлой столовой, и почти всегда за столомъ бывалъ кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянію этой простой, милой, ласковой семьи. Тутъ чувствовалась постоянная нѣжная заботливость и любовь, но не отягощенная ни однимъ пышнымъ или громкимъ словомъ,—удивительная деликатность, чуткость и вниманіе, но никогда не выходящія изъ рамокъ обыкновенныхъ, какъ будто умышленно-будничныхъ отношеній. И, кромѣ того, всегда замѣчалась истинно чеховская боязнь всего надутаго, приподнятаго, неискренняго и пошлаго. Было въ этой семьѣ очень легко, тепло и уютно и я совершенно понимаю одного писателя, который сказалъ, что онъ влюбленъ во всѣхъ Чеховыхъ.

Антонъ Павловичъ, какъ всегда его помню, ѣлъ чрезвычайно мало и не любилъ сидѣть за столомъ, а

все, бывало, ходилъ отъ окна къ двери и обратно. Часто послѣ обѣда, оставшись въ столовой съ кѣмъ-нибудь одинъ на одинъ, Евгенія Яковлевна (мать А. П.) говорила тихонько, съ безпокойной тоской въ голосѣ:

— А Антоша опять ничего не ѣлъ за обѣдомъ.

Онъ былъ очень гостепріименъ, любилъ, когда у него оставались обѣдать, и умѣлъ угощать на свой особенный ладъ, просто и радушно. Бывало, скажетъ кому-нибудь, остановившись у него за стуломъ:

— Послушайте, выпейте водки. Я, когда былъ молодой и здоровый, любилъ. Собираешь цѣлое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а передъ обѣдомъ выпьешь рюмки двѣ, или три. Чудесно!..

Послѣ обѣда онъ пилъ чай наверху, на открытой террасѣ, или у себя въ кабинетѣ, или спускался въ садъ и сидѣлъ тамъ на скамейкѣ, въ пальто и съ тросточкой, надвинувъ на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая изъ-подъ ея полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видѣть А. П—ча, постоянно кто-нибудь пріѣзжалъ. Приходили незнакомые, съ просьбами о карточкахъ, о подписяхъ на книгахъ. Бывали здѣсь и смѣшные курьезы.

Одинъ „тамбовскій помѣщикъ“, какъ окрестилъ его Чеховъ, пріѣхалъ къ нему за врачебной помощью. Тщетно А. П. увѣрялъ, что онъ давно бросилъ практику и отсталъ въ медицинѣ, напрасно рекомендовалъ обратиться къ болѣе опытному доктору,—„тамбовскій помѣщикъ“ стоялъ на своемъ: никакимъ докторамъ, кромѣ Чехова, онъ не хочетъ вѣрить. Волей-неволей пришлось дать ему нѣсколько незначительныхъ, совершенно невинныхъ совѣтовъ. Прощаясь, „тамбовскій помѣщикъ“ положилъ на столъ два золотыхъ и, какъ его ни уговаривалъ А. П., ни за что не соглашался взять ихъ обратно. Антонъ Павловичъ принужденъ

былъ уступить. Онъ сказалъ, что, не желая и не считая себя въ правѣ брать эти деньги, какъ гонораръ, онъ возьметъ ихъ на нужды ялтинскаго благотворительнаго общества и тутъ же написалъ росписку въ ихъ полученіи. Оказывается, только того и нужно было „тамбовскому помѣщику“. Съ сіяющимъ лицомъ, бережно спряталъ онъ росписку въ бумажникъ и тогда ужъ признался, что единственной цѣлью его посѣщенія было желаніе пріобрѣсти автографъ Чехова. Объ этомъ оригинальномъ и настойчивомъ паціентѣ А. П. разсказывалъ мнѣ самъ—полусмѣясь, полусердито.

Повторяю, многіе изъ этихъ посѣтителей порядкомъ донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, онъ со всѣми оставался ровенъ, терпѣливо-внимателенъ, доступенъ всѣмъ, желавшимъ его видѣть. Эта деликатность его доходила порою до той трогательной черты, которая граничитъ съ безволіемъ. Такъ, напримѣръ, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется, въ день его именинъ, огромнаго сидячаго мопса, сдѣланнаго изъ раскрашеннаго гипса, аршина въ $1^1/_2$ высотою отъ земли, т. е. раза въ два больше натуральнаго роста. Мопса этого посадили внизу на площадкѣ, около столовой, и онъ сидѣлъ тамъ съ разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всѣхъ, забывавшихъ о немъ, своей мертвой неподвижностью.

— Знаете, я самъ этого каменнаго пса боюсь,—признавался Чеховъ.—А убрать его какъ-то неловко, обидятся. Пусть ужъ тутъ живетъ.

И вдругъ, съ глазами, загоравшимися смѣхомъ, онъ прибавлялъ неожиданно, по своему обыкновенію:

— А вы замѣтили, что въ домахъ богатыхъ евреевъ такіе мопсы часто сидятъ у камина!

Въ иные дни его просто угнетали всякіе хвалители, порицатели, поклонники и даже совѣтчики. „У меня

такая масса посѣтителей, — жаловался онъ въ одномъ письмѣ,—что голова ходитъ кругомъ. Трудно писать". Но все-таки онъ не оставался равнодушнымъ къ искреннему чувству любви и уваженія и всегда отличалъ его отъ праздной и льстивой болтовни. Какъ-то разъ онъ вернулся въ очень веселомъ настроеніи духа съ набережной, гдѣ онъ изрѣдка прогуливался, и съ большимъ оживленіемъ разсказывалъ:

— У меня была сейчасъ чудесная встрѣча. На набережной вдругъ подходитъ ко мнѣ офицеръ артиллеристъ, совсѣмъ молодой еще, подпоручикъ.—„Вы А. П. Чеховъ?" —„Да, это я. Что вамъ угодно?" —„Извините меня за навязчивость, но мнѣ такъ давно хочется пожать вашу руку!" И покраснѣлъ. Такой чудесный малый и лицо милое. Пожали мы другъ другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовалъ себя А. П. къ вечеру, часамъ къ семи, когда въ столовой опять собирались къ чаю и легкому ужину. Здѣсь иногда—но годъ отъ году все рѣже и рѣже—воскресалъ въ немъ прежній Чеховъ, неистощимо веселый, остроумный, съ кипучимъ, неотразимымъ юношескимъ юморомъ. Тогда онъ импровизировалъ цѣлыя исторіи, гдѣ дѣйствующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивалъ воображаемыя свадьбы, которыя иногда кончались тѣмъ, что на другой день утромъ, сидя за чаемъ, молодой мужъ говорилъ вскользь, небрежнымъ и дѣловымъ тономъ:

— Знаешь, милая, а послѣ чаю мы съ тобой одѣнемся и поѣдемъ къ нотаріусу. Къ чему тебѣ лишнія заботы о твоихъ деньгахъ?

Придумывалъ онъ удивительныя—чеховскія—фамиліи, изъ которыхъ я теперь—увы!—помню только одного миѳическаго матроса Кошкодавленко. Любилъ онъ также, шутя, старить писателей. „Что вы говорите, — Бунинъ мой сверстникъ, — увѣрялъ онъ съ напускной серьез-

ностью.—Телешовъ тоже. Онъ уже старый писатель. Вы спросите его сами: онъ вамъ разскажетъ, какъ мы съ нимъ гуляли на свадьбѣ у П. А. Бѣлоусова. Когда это было!" Одному талантливому беллетристу, серьезному, идейному писателю онъ говорилъ: „Послушайте же, вѣдь вы на двадцать лѣтъ меня старше. Вѣдь это вы раньше писали подъ псевдонимомъ Несторъ Кукольникъ"...

Но никогда отъ его шутокъ не оставалось занозъ въ сердцѣ, такъ же какъ никогда въ своей жизни этотъ удивительно-нѣжный человѣкъ не причинилъ сознательно даже самаго маленькаго страданія ничему живущему.

Послѣ ужина онъ неизмѣнно задерживалъ кого-нибудь у себя въ кабинетѣ на полчаса, или на часъ. На письменномъ столѣ зажигались свѣчи. И потомъ, когда уже всѣ расходились и онъ оставался одинъ, то еще долго свѣтился огонь въ его большомъ окнѣ. Писалъ ли онъ въ это время, или разбирался въ своихъ памятныхъ книжкахъ, занося впечатлѣнія дня — это, кажется, не было никому извѣстно.

VI.

Вообще, мы почти ничего не знаемъ не только о тайнахъ его творчества, но даже и о внѣшнихъ, привычныхъ пріемахъ его работы. Въ этомъ отношеніи А. П. былъ до страннаго скрытенъ и молчаливъ. Помню, какъ-то мимоходомъ онъ сказалъ очень значительную фразу.

— Только спаси васъ Богъ читать кому-нибудь свои произведенія, пока они не напечатаны. Даже въ корректурѣ не читайте.

Такъ онъ и самъ поступалъ постоянно, хотя иногда дѣлалъ исключенія для жены и сестры. Раньше, говорятъ, онъ былъ щедрѣе на этотъ счетъ.

Это было въ то время, когда онъ писалъ очень много и очень быстро. Онъ самъ говорилъ, что писалъ тогда по разсказу въ день. Объ этомъ же разсказывала и Е. Я. Чехова. „Бывало, еще студентомъ, Антоша сидитъ утромъ за чаемъ и вдругъ задумается, смотритъ иногда прямо въ глаза, а я знаю, что онъ ужъ ничего не видитъ. Потомъ достанетъ изъ кармана книжку и пишетъ быстро, быстро. И опять задумается"...

Но въ послѣдніе годы Чеховъ сталъ относиться къ себѣ все строже и все требовательнѣе: держалъ разсказы по нѣскольку лѣтъ, не переставая ихъ исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, корректуры, возвращавшіяся отъ него, бывали кругомъ испещрены знаками, помѣтками и вставками. Для того, чтобы окончить произведеніе, онъ долженъ былъ писать его, не отрываясь. „Если я надолго оставлю разсказъ,—говорилъ онъ какъ-то,—то уже не могу потомъ приняться за его окончаніе. Мнѣ надо тогда начинать снова!

Гдѣ онъ черпалъ свои образы? Гдѣ находилъ свои наблюденія и сравненія? Гдѣ онъ выковывалъ свой великолѣпный, единственный въ русской литературѣ языкъ? Онъ никому не повѣрялъ и не обнаруживалъ своихъ творческихъ путей. Говорятъ, послѣ него осталось много записныхъ книжекъ; можетъ быть, въ нихъ современемъ найдутся ключи къ этимъ сокровеннымъ тайнамъ? А можетъ быть, онѣ и навсегда останутся неразгаданными? Кто знаетъ? Во всякомъ случаѣ мы должны довольствоваться въ этомъ направленіи только осторожными намеками и предположеніями.

Я думаю, что всегда, съ утра до вечера, а можетъ быть, даже и ночью, во снѣ и безсонницѣ, совершалась въ немъ незримая, но упорная, порою даже безсознательная работа, — работа взвѣшиванія, опредѣленія и запоминанія. Онъ умѣлъ слушать и разспрашивать, какъ никто, но часто, среди живого разговора, можно

было замѣтить, какъ его внимательный и доброжелательный взглядъ вдругъ дѣлался неподвижнымъ и глубокимъ, точно уходилъ куда-то внутрь, созерцая нѣчто таинственное и важное, совершавшееся въ его душѣ. Тогда-то А. П. и дѣлалъ свои странные, поражавшіе неожиданностью, совсѣмъ не идущіе къ разговору вопросы, которые такъ смущали многихъ. Только-что говорили и еще продолжаютъ говорить о неомарксистахъ, а онъ вдругъ спрашиваетъ: „послушайте, вы никогда не были на конскомъ заводѣ? Непремѣнно поѣзжайте. Это интересно". Или вторично предлагаетъ вопросъ, на который только-что получилъ отвѣтъ.

Внѣшней, механической памятью Чеховъ не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которой такъ часто обладаютъ въ сильной степени женщины и крестьяне, и которая состоитъ въ запоминаніи того, кто какъ былъ одѣтъ, носитъ ли бороду и усы, какая была цѣпочка отъ часовъ и какіе сапоги, какого цвѣта волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато онъ сразу бралъ всего человѣка, опредѣлялъ быстро и вѣрно, точно опытный химикъ, его удѣльный вѣсъ, качества и порядокъ и уже зналъ, какъ очертить его главную, внутреннюю суть двумятремя штрихами.

Однажды Чеховъ съ легкимъ неудовольствіемъ говорилъ о своемъ хорошемъ знакомомъ, извѣстномъ ученомъ, который, несмотря на давнюю дружбу, нѣсколько утѣснялъ А. П—ча своей многословностью. Какъ только пріѣдетъ въ Ялту, сейчасъ же является къ Чехову и сидитъ съ утра до обѣда; въ обѣдъ уѣдетъ къ себѣ въ гостинницу на полчаса, а тамъ опять пріѣзжаетъ и сидитъ до глубокой ночи и все говоритъ, говоритъ, говоритъ... И такъ каждый день.

И вдругъ, быстро обрывая этотъ разсказъ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А. П. прибавлялъ оживленно:

— А вѣдь никто не догадывается, что̀ — самое характерное въ этомъ человѣкѣ. А я вотъ знаю. То, что онъ профессоръ и ученый съ европейскимъ именемъ— это для него второстепенное. Главное то, что онъ считаетъ себя въ душѣ замѣчательнымъ актеромъ и глубоко вѣритъ въ то, что только по волѣ случая онъ не пріобрѣлъ на сценѣ міровой извѣстности. Дома онъ постоянно читаетъ вслухъ Островскаго.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанію, онъ вдругъ замѣтилъ:

— Знаете: Москва—самый характерный городъ. Въ ней все неожиданно. Выходимъ мы какъ-то утромъ съ публицистомъ С—нымъ изъ Большого Московскаго. Это было послѣ длиннаго и веселаго ужина. Вдругъ С—нъ тащитъ меня къ Иверской, здѣсь же, напротивъ. Вынимаетъ пригоршню мѣди и начинаетъ одѣлять нищихъ—ихъ тамъ десятки. Сунетъ копѣечку и бормочетъ: о здравіи раба Божія Михаила. Это его Михаиломъ зовутъ. И опять: раба Божія Михаила, раба Божія Михаила... А самъ въ Бога не вѣритъ... Чудакъ..,

Тутъ я долженъ подойти къ щекотливому мѣсту, которое, можетъ быть, не всѣмъ понравится. Я глубоко убѣжденъ въ томъ, что Чеховъ съ одинаковымъ вниманіемъ и съ одинаковымъ проникновеннымъ любопытствомъ разговаривалъ съ ученымъ и съ разносчикомъ, съ просящимъ на бѣдность и съ литераторомъ, съ крупнымъ земскимъ дѣятелемъ и съ сомнительнымъ монахомъ, и съ приказчикомъ, и съ маленькимъ почтовымъ чиновникомъ, отсылавшимъ ему корреспонденцію. Не оттого ли у него въ разсказахъ профессоръ говоритъ и думаетъ именно какъ старый профессоръ, а бродяга, какъ истый бродяга? И не оттого ли у него тотчасъ же послѣ его смерти отыскалось такое множество „закадычныхъ“ друзей, за которыхъ онъ, по ихъ словамъ, былъ готовъ въ огонь и даже въ воду?

Думается, что онъ никому не раскрывалъ и не от-

давалъ своего сердца вполнѣ (была, впрочемъ, легенда о какомъ-то его близкомъ, любимомъ другѣ, чиновникѣ изъ Таганрога). Но ко всѣмъ относился благодушно, безразлично въ смыслѣ дружбы, и въ то же время съ большимъ, можетъ быть, безсознательнымъ интересомъ.

Свои чеховскія словечки и эти изумительныя по своей сжатости и мѣткости черточки бралъ онъ нерѣдко прямо изъ жизни. Выраженіе „не ндравится мнѣ это", перешедшее такъ быстро изъ „Архіерея" въ обиходъ широкой публики, было имъ почерпнуто отъ одного мрачнаго бродяги, полупьяницы, полупомѣшаннаго, полупророка. Также, помню, разговорились мы съ нимъ какъ-то о давно уже умершемъ московскомъ поэтѣ, и Чеховъ съ яркостью вспомнилъ и его, и его сожительницу, и его пустыя комнаты, и его сенъ-бернара „Дружка", страдавшаго вѣчнымъ разстройствомъ желудка. „Какъ же, отлично помню, — говорилъ А. П., весело улыбаясь,—въ пять часовъ къ нему всегда входила эта женщина и спрашивала: „Ліодоръ Иванычъ, а, Ліодоръ Иванычъ, а что, вамъ не пора пиво пить?" Я тогда же неосторожно сказалъ: ахъ, такъ вотъ откуда это у васъ въ „Палатѣ № 6!" — Ну да, оттуда,—отвѣтилъ А. П. съ неудовольствіемъ.

Были у него также знакомыя изъ тѣхъ средостѣнныхъ купчихъ, которыя, несмотря на милліоны и на самыя модныя платья, и на внѣшній интересъ къ литературѣ, говорили „едеялъ" и „принціапально". Иныя изъ нихъ часами изливались передъ Чеховымъ: какія у нихъ необыкновенно тонкія, „нервенныя" натуры, и какой бы замѣчательный романъ могъ сдѣлать „гинеяльный" писатель изъ ихъ жизни, если бы все разсказать. А онъ ничего, сидѣлъ себѣ и молчалъ, и слушалъ съ видимымъ удовольствіемъ,— только подъ усами у него скользила чуть замѣтная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что онъ *искалъ*, подобно многимъ

другимъ писателямъ, моделей. Но, мнѣ думается, что онъ всюду и всегда видѣлъ матеріалъ для наблюденій, и выходило у него это поневолѣ, можетъ быть, часто противъ желанія, въ силу давно изощренной и никогда неискоренимой привычки вдумываться въ людей, анализировать ихъ и обобщать. Въ этой сокровенной работѣ было для него, вѣроятно, все мученіе и вся радость вѣчнаго безсознательнаго процесса творчества.

Ни съ кѣмъ не дѣлился онъ своими впечатлѣніями, такъ же какъ никому не говорилъ о томъ, что и какъ собирается онъ писать. Также чрезвычайно рѣдко сказывался въ его рѣчахъ художникъ и беллетристъ. Онъ, отчасти нарочно, отчасти инстинктивно, употреблялъ въ разговорѣ обыкновенныя, среднія, общія выраженія, не прибѣгая ни къ сравненіямъ, ни къ картинамъ. Онъ берегъ свои сокровища въ душѣ, не позволяя имъ расточаться въ словесной пѣнѣ, и въ этомъ была громадная разница между нимъ и тѣми беллетристами, которые разсказываютъ свои темы гораздо лучше, чѣмъ ихъ пишутъ.

Происходило это, думаю, отъ природной сдержанности, но также и отъ особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящіе, болѣзненно стыдящіеся слишкомъ выразительныхъ позъ, жестовъ, мимики и словъ, и этимъ свойствомъ А. П. обладалъ въ высшей степени. Здѣсь-то, можетъ быть, и кроется разгадка его *кажущагося* безразличія къ вопросамъ борьбы и протеста, и равнодушія къ интересамъ злободневнаго характера, волновавшимъ и волнующимъ всю русскую интеллигенцію. Въ немъ жила боязнь пафоса, сильныхъ чувствъ и неразлучныхъ съ ними нѣсколько театральныхъ эффектовъ. Съ однимъ только я могу сравнить такое положеніе: нѣкто любитъ женщину со всѣмъ пыломъ, нѣжностью и глубиной, на которые способенъ человѣкъ огромнаго ума и таланта. Но никогда онъ не рѣшится сказать объ этомъ пышными, выспренними

словами и даже представить себѣ не можетъ, какъ это онъ станетъ на колѣни и прижметъ одну руку къ сердцу, и какъ заговоритъ дрожащимъ голосомъ перваго любовника. И потому онъ любитъ, и молчитъ, и страдаетъ молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всѣмъ правиламъ декламаціи изъясняетъ фатъ средняго пошиба.

VII.

Къ молодымъ, начинающимъ писателямъ Чеховъ былъ неизмѣнно участливъ, внимателенъ и ласковъ. Никто отъ него не уходилъ подавленнымъ его огромнымъ талантомъ и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказалъ онъ: „дѣлайте, какъ я; вотъ, смотрите, какъ я поступаю“. Если кто-нибудь въ отчаяніи жаловался ему: „развѣ стоитъ писать, если на всю жизнь останешься „нашимъ молодымъ“ и „подающимъ надежды“,—онъ отвѣчалъ спокойно и серьезно:

— Не всѣмъ же, батенька, писать, какъ Толстой.

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Одинъ начинающій писатель пріѣхалъ въ Ялту и остановился гдѣ-то за Ауткой, на окраинѣ города, нанявъ комнату въ шумной и многочисленной греческой семьѣ. Какъ-то онъ пожаловался Чехову, что въ такой обстановкѣ трудно писать, и вотъ Чеховъ настоялъ на томъ, чтобы писатель непремѣнно приходилъ къ нему съ утра и занимался у него внизу, рядомъ со столовой. „Вы будете внизу писать, а я вверху,—говорилъ онъ со своей очаровательной улыбкой.—И обѣдать будете также у меня. А когда кончите, непремѣнно прочтите мнѣ, или, если уѣдете, пришлите хотя бы въ корректурѣ“.

Читалъ онъ удивительно много и всегда все помнилъ и никого ни съ кѣмъ не смѣшивалъ. Если ав-

торы спрашивали его мнѣнія, онъ всегда хвалилъ и хвалилъ не для того, чтобы отвязаться, а потому что зналъ, какъ жестоко подрѣзаетъ слабыя крылья рѣзкая, хотя бы и справедливая критика, и какую бодрость и надежду вливаетъ иногда незначительная похвала. „Читалъ вашъ разсказъ. Чудесно написано“, говорилъ онъ въ такихъ случаяхъ грубоватымъ и задушевнымъ голосомъ. Впрочемъ, при нѣкоторомъ довѣріи и болѣе близкомъ знакомствѣ, и въ особенности по убѣдительной просьбѣ автора, онъ высказывался, хотя и съ осторожными оговорками, но опредѣленнѣе, пространнѣе и прямѣе. У меня хранятся два его письма, написанныя одному и тому же беллетристу, по поводу одной и той же вещи. Вотъ выдержка изъ перваго.

„Дорогой NN., повѣсть получилъ и прочелъ, большое Вамъ спасибо. Повѣсть хороша, прочелъ я ее въ одинъ разъ, какъ и предыдущую, и получилъ одинаковое удовольствіе“...

Но, такъ какъ авторъ не удовольствовался одной похвалой, то вскорѣ онъ получилъ отъ А. П. другое письмо.

„Вы хотите, чтобы я говорилъ только о недостаткахъ, и этимъ ставите меня въ затруднительное положеніе. Въ этой повѣсти недостатковъ нѣтъ, и если можно не соглашаться, то лишь съ особенностями ея нѣкоторыми. Напримѣръ, героевъ своихъ, актеровъ, Вы трактуете по старинкѣ, какъ трактовались они уже лѣтъ сто, всѣми, писавшими о нихъ,—ничего новаго. Во-вторыхъ, въ первой главѣ Вы заняты описаніемъ наружностей—опять таки по старинкѣ, описаніемъ, безъ котораго можно обойтись. Пять опредѣленно изображенныхъ наружностей утомляютъ вниманіе и въ концѣ концовъ теряютъ свою цѣнность. Бритые актеры похожи другъ на друга, какъ ксендзы, и остаются похожими, какъ бы старательно Вы ни изображали ихъ. Въ третьихъ, грубоватый тонъ, излишества въ изображе-

ніи пьяныхъ. Вотъ и все, что я могу Вамъ сказать въ отвѣтъ на Вашъ вопросъ о недостаткахъ, больше ужъ ничего придумать не могу".

Къ тѣмъ изъ писателей, съ которыми у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, онъ всегда относился бережно и внимательно. Никогда онъ не упускалъ случая сообщить извѣстіе, которое, онъ зналъ, будетъ пріятно или полезно.

„Дорогой NN.,—писалъ онъ одному знакомому,—симъ извѣщаю Васъ, что Вашу повѣсть читалъ Л. Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку по адресу: Кореизъ, Таврич. губ., и въ заглавіи подчеркните разсказы, которые вы находите лучшими, чтобы онъ, читая, началъ съ нихъ. Или книжку пришлите мнѣ, а я ужъ передамъ ему".

Къ пишущему эти строки онъ также проявилъ однажды милую любезность, сообщивъ письмомъ, что „въ Словарѣ русскаго языка, издаваемомъ Академіей наукъ, въ шестомъ выпускѣ второго тома, который (т. е. выпускъ) я сегодня получилъ, показались наконецъ и Вы. Такъ, на страницѣ 1868 и т. д.

Все это, конечно, мелочи, но въ нихъ сквозитъ такъ много участія и заботливости, что теперь, когда нѣтъ уже больше этого изумительнаго художника и прекраснаго человѣка, его письма пріобрѣтаютъ значеніе какой-то далекой, невозвратимой ласки.

— Пишите, пишите, какъ можно больше, - говорилъ онъ начинающимъ беллетристамъ.—Не бѣда, если у васъ не совсѣмъ выходитъ. Потомъ будетъ выходить лучше. А главное, не тратьте понапрасну молодости и упругости: теперь вамъ только и работать. Смотрите: вотъ вы пишете чудесно, а лексиконъ у васъ маленькій. Нужно набираться словъ и оборотовъ, а для этого необходимо писать каждый день.

И онъ самъ неустанно работалъ надъ собой, обога-

щая свой прелестный, разнообразный языкъ отовсюду: изъ разговоровъ, изъ словарей, изъ каталоговъ, изъ ученыхъ сочиненій, изъ священныхъ книгъ. Запасъ словъ у этого молчаливаго человѣка былъ необычайно громаденъ.

— Слушайте: ѣздите почаще въ III классѣ,—совѣтовалъ онъ.—Я жалѣю, что болѣзнь мѣшаетъ мнѣ теперь ѣздить въ III классѣ. Тамъ иногда услышишь замѣчательно интересныя вещи.

Удивлялся онъ также тѣмъ писателямъ, которые по цѣлымъ годамъ не видятъ ничего, кромѣ сосѣдняго брандмауера изъ оконъ своихъ петербургскихъ кабинетовъ. И часто онъ говорилъ съ оттѣнкомъ нетерпѣнія:

— Не понимаю, отчего вы—молодой, здоровый и свободный, не поѣдете, напримѣръ, въ Австралію (Австралія была почему-то его излюбленной частью свѣта), или въ Сибирь? Какъ только мнѣ станетъ получше, я непремѣнно опять поѣду въ Сибирь. Я тамъ былъ, когда ѣздилъ на Сахалинъ. Вы и представить себѣ не можете, батенька, какая это чудесная страна. Совсѣмъ особое государство. Знаете, я убѣжденъ, что Сибирь когда-нибудь совершенно отдѣлится отъ Россіи, вотъ такъ же, какъ Америка отдѣлилась отъ метрополіи. Поѣзжайте, поѣзжайте туда непремѣнно...

— Отчего вы не напишете пьесу?—спрашивалъ онъ иногда.—Да напишите же, въ самомъ дѣлѣ. Каждый писатель долженъ написать, по крайней мѣрѣ, четыре пьесы.

Но тутъ же онъ соглашался, что драматическій родъ сочиненій теряетъ съ каждымъ днемъ интересъ въ наше время. „Драма должна или выродиться совсѣмъ, или принять совсѣмъ новыя, невиданныя формы,—говорилъ онъ.—Мы себѣ и представить не можемъ, чѣмъ будетъ театръ черезъ сто лѣтъ“.

Бывали у А. П. иногда маленькія противорѣчія, которыя въ немъ казались особенно привлекательными и въ то же время имѣли глубокій внутренній смыслъ.

Такъ было однажды съ вопросомъ о записныхъ книжкахъ. Чеховъ только-что съ увлеченіемъ убѣждалъ насъ не обращаться къ ихъ помощи, полагаясь во всемъ на память и на воображеніе. „Крупное само останется,—доказывалъ онъ,—а мелочи вы всегда изобрѣтете, или отыщете“. Но вотъ, спустя часъ, кто-то изъ присутствующихъ, прослужившій какъ-то годъ на сценѣ, сталъ разсказывать о своихъ театральныхъ впечатлѣніяхъ и, между прочимъ, упомянулъ о такомъ случаѣ. Идетъ дневная репетиція въ садовомъ театрѣ маленькаго провинціальнаго городка. Первый любовникъ въ шляпѣ и въ клѣтчатыхъ панталонахъ, руки въ карманахъ, расхаживаетъ по сценѣ, рисуясь передъ случайной публикой, забредшей въ зрительный залъ. Энженюкомикъ, его „театральная“ жена, тоже находившаяся на сценѣ, обращается къ нему: „Саша, какъ это ты вчера напѣвалъ изъ Паяцевъ? Насвищи пожалуйста“. Первый любовникъ поворачивается къ ней, медленно мѣряетъ ее съ ногъ до головы уничтожающимъ взоромъ и говоритъ жирнымъ актерскимъ голосомъ: „Что-о? Свистать на сценѣ? А въ церкви ты будешь свистать? Такъ знай же, что сцена—тотъ же храмъ!“

Послѣ этого разсказа, А. П. сбросилъ pince-nez, откинулся на спинку кресла и захохоталъ своимъ громкимъ, яснымъ смѣхомъ. И тотчасъ же полѣзъ въ боковой ящикъ стола за записной книжкой. „Постойте, постойте, какъ вы это разсказывали? Сцена это храмъ?..“ И записалъ весь анекдотъ.

Въ сущности, даже и противорѣчія во всемъ этомъ не было, и самъ А. П. потомъ объяснилъ это. „Не надо записывать сравненій, мѣткихъ черточекъ, подробностей картинъ природы—это должно появиться само собой, когда будетъ нужно. Но голый фактъ, рѣдкое имя, техническое названіе надо занести въ книжку—иначе забудется, разсѣется“.

Нерѣдко вспоминалъ Чеховъ тѣ тяжелыя минуты,

которыя ему доставляли редакціи серьезныхъ журналовъ до той поры, пока съ легкой руки „Сѣвернаго Вѣстника“ онъ не завоевалъ ихъ окончательно.

— Въ одномъ отношеніи вы всѣ должны быть мнѣ благодарны,—говорилъ онъ молодымъ писателямъ.— Это я открылъ путь для авторовъ маленькихъ разсказовъ. Прежде, бывало, принесешь въ редакцію рукопись, такъ ее даже читать не хотятъ. Только посмотрятъ съ пренебреженіемъ. „Что? *Это* называется— произведеніемъ? Да вѣдь *это* короче воробьинаго носа. Нѣтъ, намъ такихъ *штучекъ* не надо“. А я вотъ добился и другимъ указалъ дорогу. Да это еще что, такъ ли со мной обращались! Имя мое сдѣлали нарицательнымъ. Такъ и острили, бывало: эхъ вы, Че-хо-вы! Должно быть, это было смѣшно.

Антонъ Павловичъ держался высокаго мнѣнія о современной литературѣ, т. е., собственно говоря, о техникѣ теперешняго письма. „Всѣ нынче стали чудесно писать, плохихъ писателей вовсе нѣтъ,—говорилъ онъ рѣшительнымъ тономъ.—И оттого-то теперь все труднѣе становится выбиться изъ неизвѣстности. И, знаете, кто сдѣлалъ такой переворотъ? Мопассанъ. Онъ, какъ художникъ слова, поставилъ такія огромныя требованія, что писать по старинкѣ сдѣлалось ужъ больше невозможнымъ. Попробуйте-ка вы теперь перечитать нѣкоторыхъ нашихъ классиковъ, ну хоть Писемскаго или Островскаго, нѣтъ, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общія мѣста. За то возьмите, съ другой стороны нашихъ декадентовъ. Это они лишь притворяются больными и безумными,—они всѣ здоровые мужики. Но писать—мастера.“

Въ то же время онъ требовалъ отъ писателей обыкновенныхъ житейскихъ сюжетовъ, простоты изложенія и отсутствія эффектныхъ колѣнецъ. „Зачѣмъ это писать,—недоумѣвалъ онъ,—что кто-то сѣлъ на подводную лодку и поѣхалъ къ сѣверному полюсу искать

какого-то примиренія съ людьми, а въ это время его возлюбленная съ драматическимъ воплемъ бросается съ колокольни? Все это неправда и въ дѣйствительности этого не бываетъ. Надо писать просто: о томъ, какъ Петръ Семеновичъ женился на Марьѣ Ивановнѣ. Вотъ и все. И потомъ, зачѣмъ эти подзаголовки: психическій этюдъ, жанръ, новелла? Все это однѣ претензіи. Поставьте заглавіе попроще,—все-равно, какое придетъ въ голову—и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычекъ, курсивовъ и тире—это манерно".

Еще училъ онъ, чтобы писатель оставался равнодушенъ къ радостямъ и огорченіямъ своихъ героевъ. „Въ одной хорошей повѣсти,—разсказывалъ онъ,—я прочелъ описаніе приморскаго ресторана въ большомъ городѣ. И сразу видно, что автору въ диковинку и эта музыка, и электрическій свѣтъ, и розы въ петлицахъ, и что онъ самъ любуется на нихъ. Такъ—нехорошо. Нужно стоять внѣ этихъ вещей, и хотя знать ихъ хорошо, до мелочи, но глядѣть на нихъ какъ бы съ презрѣніемъ, сверху внизъ. И выйдетъ вѣрно".

VIII.

Сынъ Альфонса Додэ въ своихъ воспоминаніяхъ объ отцѣ упоминаетъ о томъ, что этотъ талантливый французскій писатель, полушутя, называлъ себя „продавцомъ счастья". Къ нему постоянно обращались люди разныхъ положеній за совѣтомъ и за помощью, приходили со своими огорченіями и заботами, и онъ, уже прикованный къ креслу неизлѣчимой, мучительной болѣзнью, находилъ въ себѣ достаточно мужества, терпѣнія и любви къ человѣку, чтобы войти душой въ чужое горе, утѣшить, успокоить и ободрить.

Чеховъ, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращенію ко фразѣ, никогда не сказалъ бы

о себѣ ничего подобнаго, но какъ часто приходилось ему выслушивать тяжелыя исповѣди, помогать словомъ и дѣломъ, протягивать падающему свою нѣжную и твердую руку. Въ своей удивительной объективности, стоя выше частныхъ горестей и радостей, онъ все зналъ и видѣлъ; но ничто личное не мѣшало его проникновенію; онъ могъ быть добрымъ и щедрымъ, не любя, ласковымъ и участливымъ, безъ привязанности, — благодѣтелемъ, не разсчитывая на благодарность. И въ этихъ чертахъ, которыя всегда оставались неясными для его окружающихъ, кроется, можетъ быть, главная разгадка его личности.

Пользуясь позволеніемъ одного моего друга, я приведу коротенькій отрывокъ изъ чеховскаго письма. Дѣло въ томъ, что этотъ человѣкъ переживалъ большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правдѣ сказать, порядочно докучалъ А. П. своей болью. И вотъ, Чеховъ однажды написалъ ему:

„Скажите Вашей женѣ, чтобы не безпокоилась, все обойдется благополучно. Роды будутъ продолжаться часовъ 20, а потомъ наступитъ блаженнѣйшее состояніе, когда она будетъ улыбаться, а Вамъ будетъ хотѣться плакать отъ умиленія. 20 часовъ — это обыкновенный maximum для первыхъ родовъ“.

Какое тонкое вниманіе къ чужой тревогѣ слышится въ этихъ немногихъ, простыхъ строчкахъ. Но еще характернѣе то, что когда впослѣдствіи, уже сдѣлавшись счастливымъ отцомъ, этотъ мой пріятель спросилъ, вспомнивъ о письмѣ, откуда Чеховъ такъ хорошо знаетъ эти чувства, А. П. отвѣтилъ спокойно, даже равнодушно:

— Да вѣдь, когда я жилъ въ деревнѣ, мнѣ постоянно приходилось принимать у бабъ. *Все равно — и тамъ такая же радость.*

Если бы Чеховъ не былъ такимъ замѣчательнымъ писателемъ, онъ былъ бы прекраснымъ врачомъ. Док-

тора, приглашавшіе его изрѣдка на консультаціи, отзывались о немъ, какъ о чрезвычайно вдумчивомъ наблюдателѣ и находчивомъ, проницательномъ діагностѣ. Да и не было бы ничего удивительнаго въ томъ, если бы его діагнозъ оказался совершеннѣе и глубже діагноза, поставленнаго какой-нибудь дутой модной знаменитостью. Онъ видѣлъ и слышалъ въ человѣкѣ — въ его лицѣ, голосѣ и походкѣ—то, что было скрыто отъ другихъ, что не поддавалось, ускользало отъ глаза средняго наблюдателя.

Самъ онъ предпочиталъ совѣтовать, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда къ нему обращались, средства испытанныя, простыя, по преимуществу домашнія. Между прочимъ, чрезвычайно удачно лѣчилъ онъ дѣтей.

Вѣрилъ онъ въ медицину твердо и крѣпко, и ничто не могло пошатнуть этой вѣры. Помню я, какъ однажды онъ разсердился, когда кто-то началъ свысока третировать медицину, по роману Золя — „Докторъ Паскаль“.

— Золя вашъ ничего не понимаетъ и все выдумываетъ у себя въ кабинетѣ, — сказалъ онъ, волнуясь и покашливая. — Пусть бы онъ поѣхалъ и посмотрѣлъ, какъ работаютъ наши земскіе врачи, и что они дѣлаютъ для народа.

И кто же не знаетъ, какими симпатичными чертами, съ какой любовью и какъ часто описывалъ онъ этихъ чудныхъ труженниковъ, этихъ неизвѣстныхъ и незамѣтныхъ героевъ, сознательно осуждающихъ свои имена на забвеніе?

IX.

Есть изреченіе: смерть каждаго человѣка на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о послѣднихъ годахъ жизни Чехова, о послѣднихъ его дняхъ, даже о послѣднихъ минутахъ. Даже въ самыя

его похороны судьба внесла, по какой-то роковой послѣдовательности, много чисто чеховскихъ чертъ.

Боролся онъ съ неумолимой болѣзнью долго, страшно долго, но переносилъ ее мужественно, просто и терпѣливо, безъ раздраженія, безъ жалобъ, почти безъ словъ. За послѣднее время лишь мимоходомъ, небрежно упоминаетъ онъ въ письмахъ о своемъ здоровьѣ. „Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу съ компрессомъ...“ „Только-что перенесъ плевритъ, но теперь мнѣ лучше...“ „Здоровье мое не важно... пишу понемногу“...

Не любилъ онъ говорить о своей болѣзни и сердился, когда его разспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь отъ Арсенія. „Сегодня утромъ очень плохо было—кровь шла“, скажетъ онъ шопотомъ, покачивая головой. Или Евгенія Яковлевна сообщитъ по секрету съ тоской въ голосѣ:

— А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлялъ. Мнѣ черезъ стѣнку все слышно.

Зналъ ли онъ размѣры и значеніе своей болѣзни? Я думаю, зналъ, но безтрепетно, какъ врачъ и мудрецъ, глядѣлъ въ глаза надвигавшейся смерти. Были разныя мелкія обстоятельства, указывавшія на это. Такъ, напримѣръ, одной дамѣ, жаловавшейся ему на безсонницу и нервное разстройство, онъ сказалъ спокойно, съ едва лишь уловимымъ оттѣнкомъ покорной грусти:

— Видите ли: пока у человѣка хороши легкія, все хорошо.

Умеръ онъ просто, трогательно и сознательно. Говорятъ, послѣднія его слова были: „ich sterbe“! И послѣдніе его дни были омрачены глубокой скорбью за Россію, были взволнованы ужасомъ этой кровопролитной, чудовищной войны...

Точно сонъ, припоминаются его похороны. Холодный, сѣренькій Петербургъ, путаница съ телеграммами, маленькая кучка народу на вокзалѣ, „вагонъ для устрицъ“, станціонное начальство, никогда не слыхавшее

о Чеховѣ и видѣвшее въ его тѣлѣ только желѣзнодорожный грузъ. Потомъ, какъ контрастъ, Москва, стихійное горе, тысячи точно осиротѣвшихъ людей, заплаканныя лица. И наконецъ, могила на Новодѣвичьемъ кладбищѣ, вся заваленная цвѣтами, рядомъ со скромной могилой „вдовы казака Ольги Кукаретниковой“.

Вспоминается мнѣ панихида на кладбищѣ на другой день послѣ его похоронъ. Былъ тихій іюльскій вечеръ, и старыя липы надъ могилами, золотыя отъ солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пѣніе нѣжныхъ женскихъ голосовъ. И было тогда у многихъ въ душѣ какое-то растерянное, тяжелое недоумѣніе.

Расходились съ кладбища медленно, въ молчаніи. Я подошелъ къ матери Чехова и безъ словъ поцѣловалъ ея руку. И она сказала усталымъ, слабымъ голосомъ:

— Вотъ, горе-то у насъ какое...

О, эта потрясающая глубина простыхъ, обыкновенныхъ, истинно чеховскихъ словъ! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившагося событія открылась за ними. Нѣтъ, утѣшенія здѣсь были бы безсильны. Развѣ можетъ истощиться, успокоиться горе тѣхъ людей, души которыхъ такъ близко прикасались къ великой душѣ избранника?

Но пусть облегчитъ ихъ неутолимую тоску сознаніе, что ихъ горе—и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о безсмертіи этого прекраснаго, чистаго имени. Въ самомъ дѣлѣ: пройдутъ годы и столѣтія, и время сотретъ даже самую память о тысячахъ тысячъ живущихъ нынѣ людей. Но далекіе грядущіе потомки, о счастьи которыхъ съ такой очаровательной грустью мечталъ Чеховъ, произнесутъ его имя съ признательностью и съ тихой печалью о его судьбѣ.

М. ГОРЬКІЙ.

ДАЧНИКИ.

СЦЕНЫ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

БАСОВЪ, Сергѣй Васильевичъ. Адвокатъ. Подъ 40 лѣтъ.
ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА. Его жена. 27 лѣтъ.
КАЛЕРІЯ. Сестра Басова. 29 лѣтъ.
ВЛАСЪ. Братъ жены Басова. 25 лѣтъ.
СУСЛОВЪ, Петръ Ивановичъ. Инженеръ. 42 года.
ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА. Его жена. 30 лѣтъ.
ДУДАКОВЪ, Кириллъ Акимовичъ. Докторъ. 40 лѣтъ.
ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА. Его жена. 35 лѣтъ.
ШАЛИМОВЪ, Яковъ Петровичъ. Литераторъ. Лѣтъ 40.
РЮМИНЪ, Павелъ Сергѣевичъ. 32 года.
МАРЬЯ ЛЬВОВНА. Врачъ. 37 лѣтъ.
СОНЯ. Дочь ея. 18 лѣтъ.
ДВОЕТОЧІЕ, Семенъ Семеновичъ. Дядя Суслова. 55 лѣтъ.
ЗАМЫСЛОВЪ, Николай Петровичъ. Помощникъ Басова. 28 лѣтъ.
ЗИМИНЪ. Студентъ. 23 года.
ПУСТОВАЙКА. Дачный сторожъ. 50 лѣтъ.
КРОПИЛКИНЪ. Сторожъ.
САША. Горничная Басовыхъ.
ЖЕНЩИНА СЪ ПОДВЯЗАННОЙ ЩЕКОЙ.
ГОСПОДИНЪ СЕМЕНОВЪ.
ДАМА ВЪ ЖЕЛТОМЪ ПЛАТЬѢ.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ ВЪ КЛѢТЧАТОМЪ КОСТЮМѢ.
БАРЫШНЯ ВЪ ГОЛУБОМЪ.
БАРЫШНЯ ВЪ РОЗОВОМЪ.
ЮНКЕРЪ.
ГОСПОДИНЪ ВЪ ЦИЛИНДРѢ.

} Любители драматическаго искусства.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Дача Басовыхъ. Большая комната, одновременно столовая и гостинная. Въ задней стѣнѣ налѣво открытая дверь въ кабинетъ Басова, направо дверь въ комнату его жены. Эти комнаты раздѣлены корридоромъ, входъ въ него завѣшенъ темной портьерой. Въ правой сторонѣ окно и широкая дверь на террасу, въ лѣвой два окна. Посреди комнаты большой обѣденный столъ, противъ двери въ кабинетъ рояль. Мебель плетеная, дачная, только около входа въ корридоръ широкій диванъ, покрытый сѣрымъ чехломъ. Вечеръ. Басовъ сидитъ за столомъ въ кабинетѣ, передъ нимъ рабочая лампа подъ зеленымъ абажуромъ. Онъ пишетъ, сидя бокомъ къ двери, поворачиваетъ голову, присматривается къ чему-то въ полутьмѣ большой комнаты и порой тихо напѣваетъ. Варвара Михайловна безшумно выходитъ изъ своей комнаты, зажигаетъ спичку, держитъ ее передъ лицомъ, осматривается. Огонь гаснетъ. Въ темнотѣ, тихо подвигаясь къ окну, она задѣваетъ стулъ.

БАСОВЪ.

Это кто?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я.

БАСОВЪ.

А...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ты взялъ свѣчу?

БАСОВЪ.

Нѣтъ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Позвони Сашу.

БАСОВЪ.

Власъ пріѣхалъ?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(у двери на террасу).

Не знаю...

БАСОВЪ.

Глупая дача. Устроены электрическіе звонки, а вездѣ щели... полъ скрипитъ... (Напѣваетъ что-то веселое) Варя, ты ушла?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я здѣсь...

БАСОВЪ

(собираетъ бумаги, укладываетъ ихъ).

У тебя въ комнатѣ дуетъ?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Дуетъ...

БАСОВЪ.

Вотъ видишь!

(Саша входитъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Дайте огня, Саша.

БАСОВЪ.

Саша, Власъ Михайловичъ пріѣхалъ?

САША.

Нѣтъ еще...

(Саша выходитъ, возвращается съ лампой, ставитъ ее на столъ около кресла. Вытираетъ пепельницу, на обѣденномъ столѣ поправляетъ скатерть. Варвара Михайловна спускаетъ штору, беретъ съ полки книгу, садится въ кресло)

БАСОВЪ (добродушно).

Онъ сталъ неаккуратенъ, этотъ Власъ... и лѣнивъ... Послѣднее время онъ вообще ведетъ себя... нелѣпо какъ-то. Это—фактъ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ты хочешь чаю?

БАСОВЪ.

Нѣтъ, я уйду къ Сусловымъ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Саша, сходите къ Ольгѣ Алексѣевнѣ... узнайте, не придетъ ли она пить чай ко мнѣ...

(Саша уходитъ)

БАСОВЪ

(запирая бумаги въ столѣ).

Ну, вотъ и кончено! (Выходитъ изъ кабинета, расправляя спину) Ты, Варя, сказала бы ему, разумѣется, въ мягкой формѣ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Что сказать?

БАСОВЪ.

Ну, чтобъ онъ болѣе... внимательно относился къ своимъ обязанностямъ... а?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я скажу. Только, мнѣ кажется, ты напрасно говоришь о немъ... въ этомъ тонѣ при Сашѣ...

БАСОВЪ

(осматриваетъ комнату).

Это—пустяки! Отъ прислуги, все равно, ничего не скроешь... Какъ у насъ пусто! Надо бы, Варя, прикрыть чѣмъ-нибудь эти голыя стѣны... Какія-нибудь рамки... картинки... а то, посмотри, какъ неуютно!.. Ну, я пойду. Дай мнѣ лапку... Какая ты холодная со мной, неразго-

ворчивая... отчего, а? И лицо у тебя такое скучное, отчего? Скажи!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ты очень торопишься къ Суслову?

БАСОВЪ.

Да, надо идти. Давно я съ нимъ не игралъ въ шахматы... и давно не цѣловалъ твою лапку... почему? Вотъ странно!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(скрывая улыбку).

Такъ мы отложимъ бесѣду о моемъ настроеніи до поры... когда у тебя будетъ болѣе свободное время... Вѣдь это не важно?

БАСОВЪ (успокоительно).

Ну, конечно! Вѣдь это я такъ... что можетъ быть? Ты милая женщина... умная, искренняя... и прочее. Если бы ты имѣла что-нибудь противъ меня—ты сказала бы... А отчего у тебя такъ блестятъ глазки?.. Нездоровится?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Нѣтъ, я здорова.

БАСОВЪ.

Знаешь... надо бы тебѣ чѣмъ-нибудь заняться, дорогая моя Варя! Ты вотъ все читаешь... очень много читаешь!.. А вѣдь всякое излишество вредно, это—фактъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Не забудь объ этомъ фактѣ, когда будешь пить красное вино у Суслова...

БАСОВЪ (смѣясь).

Это ты зло сказала! Но, знаешь, всѣ эти модныя, пряныя книжки вреднѣе вина, право! Въ нихъ есть что-то наркотическое... И сочиняютъ ихъ какіе-то нервно-растерзанные господа. (Зѣваетъ) Вотъ скоро явится къ намъ „всамдѣлишный“, какъ дѣти говорятъ, писатель... Интересно, каковъ онъ сталъ... вѣроятно, зазнался немножко... Всѣ эти публичные люди болѣзненно честолюбивы... вообще, ненормальный народъ! Вотъ и Калерія ненормальна, хотя—какая она писательница, строго говоря? Она будетъ рада видѣть Шалимова. Вотъ бы ей выйти замужъ за него, право! Стара она... Н-да! старовата... и ноетъ всегда, точно у нея хронически зубы болятъ... и не очень похожа на красавицу...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Какъ ты много говоришь лишняго, Сергѣй!

БАСОВЪ.

Развѣ? Ну, ничего, вѣдь мы съ тобой одни... Да, люблю я поболтать... (За портьерой слышенъ сухой кашель) Кто это?

СУСЛОВЪ (за портьерой).

Я.

БАСОВЪ

(идетъ ему навстрѣчу).

А я собирался къ тебѣ!

СУСЛОВЪ

(молча здоровается съ Варварой Михайловной).

Идемъ. Я пришелъ за тобой... Ты въ городѣ сегодня не былъ?

БАСОВЪ.

Нѣтъ. А что?

СУСЛОВЪ

(криво усмѣхаясь).

Говорятъ, твой помощникъ выигралъ въ клубѣ двѣ тысячи рублей...

БАСОВЪ.

Ого!

СУСЛОВЪ.

У какого-то сильно пьянаго купца...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Какъ вы всегда говорите...

СУСЛОВЪ.

Какъ?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Да вотъ... выигралъ деньги — и подчеркиваете — у пьянаго.

СУСЛОВЪ (усмѣхаясь).

Я не подчеркиваю.

БАСОВЪ.

Что-жъ тутъ особеннаго? Вотъ если бы онъ сказалъ, что Замысловъ напоилъ купца и обыгралъ его — это, дѣйствительно, скверный жанръ!.. Идемъ, Петръ... Варя, когда придетъ Власъ... ага! вотъ онъ... явился!

ВЛАСЪ

(входитъ, въ рукахъ его старый портфель).

Вы скучали безъ меня, мой патронъ? Пріятно знать

это! (Суслову, дурачливо, какъ-бы съ угрозой) Васъ ищетъ какой-то человѣкъ, очевидно, только-что пріѣхавшій. Онъ ходитъ по дачамъ пѣшкомъ и очень громко спрашиваетъ у всѣхъ—гдѣ вы живете... (Идетъ къ сестрѣ) Здравствуй, Варя.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Здравствуй.

СУСЛОВЪ.

Чортъ возьми! Вѣроятно, это мой дядя...

БАСОВЪ.

Значитъ, неудобно идти къ тебѣ?

СУСЛОВЪ.

Ну, вотъ еще! Ты думаешь, мнѣ будетъ пріятно съ дядей, котораго я почти не знаю? Я не видалъ его лѣтъ десять.

БАСОВЪ (Власу).

Пожалуйте ко мнѣ...

(Уводитъ Власа въ кабинетъ)

СУСЛОВЪ (закуривая).

Вы не хотите пойти къ намъ, Варвара Михайловна?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Нѣтъ... Вашъ дядя—бѣдный?..

СУСЛОВЪ.

Богатый. Очень. Вы думаете, я только бѣдныхъ родственниковъ не люблю?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Не знаю...

СУСЛОВЪ

(желчно покашливая).

А этотъ вашъ Замысловъ въ одинъ подлый день скомпрометируетъ Сергѣя, вы увидите! Онъ—прохвостъ! Не согласны?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (спокойно).

Я не хочу говорить съ вами о немъ.

СУСЛОВЪ.

Ну, что-жъ... Быть по сему. (Помолчавъ.) А вотъ вы—немножко рисуетесь вашей прямотой... Смотрите, роль прямого человѣка — трудная роль... чтобы играть ее только недурно, нужно имѣть много характера, смѣлости, ума... Вы не обижаетесь?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Нѣтъ.

СУСЛОВЪ.

И не хотите спорить? Или вы въ душѣ согласны съ моими словами?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (просто).

Я не умѣю спорить... не умѣю говорить...

СУСЛОВЪ (угрюмо).

Не обижайтесь на меня. Мнѣ трудно допустить существованіе человѣка, который смѣетъ быть самимъ собой.

САША (входитъ).

Ольга Алексѣевна сказали, что они сейчасъ придутъ. Готовить чай?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Да, пожалуйста.

САША.

Николай Петровичъ идутъ къ намъ.

(Уходитъ)

СУСЛОВЪ

(подходя къ двери кабинета)

Сергѣй, ты скоро?.. Я ухожу...

БАСОВЪ.

Сейчасъ, сію минуту!

ЗАМЫСЛОВЪ (входитъ).

Мой привѣтъ, патронесса! Здравствуйте, Петръ Ивановичъ.

СУСЛОВЪ (покашливая).

Мое почтеніе. Какимъ вы... мотылькомъ.

ЗАМЫСЛОВЪ.

Легкій человѣкъ! Легко на сердцѣ и въ карманѣ, и въ головѣ легко!

СУСЛОВЪ

(грубовато, съ иронiей).

По поводу головы и сердца не буду спорить, а

вотъ о карманѣ — говорятъ, вы обыграли кого-то въ клубѣ...

ЗАМЫСЛОВЪ (мягко).

Обо мнѣ слѣдуетъ сказать: выигралъ. Обыгралъ— это говорятъ о шуллерѣ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Про васъ всегда слышишь что-нибудь сенсаціонное. Говорятъ, это участь недюжинныхъ людей.

ЗАМЫСЛОВЪ.

По крайней мѣрѣ, самъ я, слушая сплетни обо мнѣ, постепенно убѣждаюсь въ своей недюжинности... А выигралъ я, къ сожалѣнію, немного—сорокъ два рубля...

(Сусловъ, сухо кашляя, отходитъ налѣво и смотритъ въ окно)

БАСОВЪ (выходя).

Только! Я ужъ мечталъ о шампанскомъ... Ну-съ, вы имѣете что-нибудь сообщить мнѣ? Я тороплюсь...

ЗАМЫСЛОВЪ.

Вы уходите? Такъ я послѣ, это не спѣшно. Варвара Михайловна, какъ жаль, что вы не были на спектаклѣ! Юлія Филипповна восхитительно играла... чудесно!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Мнѣ вообще нравится, какъ она играетъ.

ЗАМЫСЛОВЪ (съ увлеченіемъ).

Она — талантъ! Отрѣжьте мнѣ голову, если я ошибаюсь!

СУСЛОВЪ (усмѣхаясь).

А вдругъ придется отрѣзать? Совсѣмъ безъ головы—неудобно... Ну, идемъ, Сергѣй!.. До свиданья, Варвара Михайловна. Честь имѣю...

(Кланяется Замыслову)

БАСОВЪ

(заглядывая въ кабинетъ, гдѣ Власъ разбираетъ бумаги).

Такъ завтра къ девяти утра вы все это перепишете,—могу надѣяться?

ВЛАСЪ.

Надѣйтесь... И да посѣтитъ васъ безсонница, уважаемый патронъ...

(Сусловъ и Басовъ уходятъ)

ЗАМЫСЛОВЪ.

И я пойду... Вашу ручку, патронесса.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Оставайтесь пить чай!

ЗАМЫСЛОВЪ.

Если позволите, я приду потомъ. А сейчасъ — не могу!

(Быстро уходитъ)

ВЛАСЪ

(являясь изъ кабинета).

Варя! Въ этомъ домѣ будутъ пить чай?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Позови Сашу. (Кладетъ ему руки на плечи) Отчего ты такой измученный?

ВЛАСЪ

(трется щекой объ ея руку).

Усталъ. Съ десяти до трехъ сидѣлъ въ судѣ... Съ трехъ до семи бѣгалъ по городу... Шурочка!.. И не успѣлъ пообѣдать.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Письмоводитель... Это ниже тебя, Власъ!

ВЛАСЪ (дурачливо).

Нужно стараться достигать высотъ и такъ далѣе... я знаю. Но, Варя!—примѣры любя, беру трубочиста на крышѣ: конечно, залѣзъ онъ всѣхъ выше... а развѣ онъ выше себя?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Не дури! Почему ты не хочешь поискать другого труда... болѣе полезнаго, болѣе значительнаго?...

ВЛАСЪ

(комически возмущаясь).

Сударыня! Я принимаю хотя и косвенное, но напряженное участіе въ защитѣ и охранѣ священнаго института собственности—а вы называете это безполезнымъ трудомъ! Какой развратъ мысли!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ты не хочешь говорить серьезно?..

(Саша входитъ)

ВЛАСЪ (Сашѣ).

Многоуважаемая! Будьте великодушны, дайте чаю и закусить.

САША.

Сейчасъ подамъ. Котлетъ угодно?

ВЛАСЪ.

И котлетъ, и всего прочаго, имъ подобнаго... Жду!

(Саша уходитъ)

ВЛАСЪ

(обнимаетъ сестру за талію и ходитъ съ нею по комнатѣ).

Ну, ты что?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Мнѣ почему-то грустно, Власикъ! Знаешь... иногда, вдругъ какъ-то... ни о чемъ не думая, всѣмъ существомъ почувствуешь себя точно въ плѣну... Все кажется чужимъ... скрытно-враждебнымъ тебѣ... все такое ненужное никому... И всѣ какъ-то не серьезно живутъ... Вотъ и ты... балагуришь... шутишь...

ВЛАСЪ

(комически становясь передъ нею въ позу).

Не укоряй меня, мой другъ,
За то, что часто я шучу:
Веселой шуткой мой недугъ
Передъ тобой я скрыть хочу...

Стихи собственной фабрикаціи и гораздо лучше стиховъ Калеріи... Но я не буду читать ихъ до конца... они аршинъ пять длиной... Дорогая сестра моя! Ты

хочешь, чтобы я былъ серьезенъ? Такъ, вѣроятно, кривой хочетъ видѣть всѣхъ ближнихъ своихъ одноглазыми.

(Входитъ Саша съ чайной посудой и ловко суетится около стола. Слышна трещотка ночного сторожа)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Брось, Власъ! Не надо болтать.

ВЛАСЪ.

Хорошо сказалъ онъ—и грустно замолчалъ. Н-да! Ты не великодушна, сестренка! Цѣлый день я молчу, переписывая коніи разныхъ ябедъ и кляузъ... естественно, что вечеромъ мнѣ хочется говорить...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

А мнѣ вотъ хочется уйти куда-то, гдѣ живутъ простые, здоровые люди, гдѣ говорятъ другимъ языкомъ и дѣлаютъ какое-то серьезное, большое, всѣмъ нужное дѣло... Ты понимаешь меня?..

ВЛАСЪ (задумчиво).

Да... понимаю... Но никуда ты не уйдешь, Варя!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

А можетъ быть, уйду. (Пауза. Саша вноситъ самоваръ) Вѣроятно, завтра пріѣдетъ Шалимовъ...

ВЛАСЪ (зѣвая).

Не люблю я его послѣднихъ писаній—пусто, скучно, вяло.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я видѣла его однажды на вечерѣ... я была гимна-

зисткой тогда... Помню, онъ вышелъ на эстраду, такой крѣпкій, твердый... непокорные, густые волосы, лицо — открытое, смѣлое.. лицо человѣка, который знаетъ, что онъ любитъ и что ненавидитъ... знаетъ свою силу... Я смотрѣла на него и дрожала отъ радости, что есть такіе люди... Хорошо было! да! Помню, какъ энергично онъ встряхивалъ головой, его буйные волосы темнымъ вихремъ падали на лобъ.. и вдохновенные глаза его помню... Прошло шесть-семь—нѣтъ, уже восемь лѣтъ...

ВЛАСЪ.

Ты мечтаешь о немъ, какъ институтка о новомъ учителѣ. Берегись, сестра моя! Писатели, какъ я слыхалъ, большіе мастера по части совращенія женщинъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Это нехорошо, Власъ, это—пошло!

ВЛАСЪ

(просто, искренно).

Ну, не сердись, Варя!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ты пойми... я жду его... какъ весну! Мнѣ нехорошо жить...

ВЛАСЪ.

Я понимаю, понимаю. Мнѣ самому нехорошо... совѣстно какъ-то жить... неловко... и не понимаешь, что же будетъ дальше?..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

О да, Власъ, да! Но зачѣмъ ты...

ВЛАСЪ.

Паясничаю?.. Я не люблю, когда другіе видятъ, что мнѣ нехорошо...

КАЛЕГІЯ (входитъ).

Какая чудесная ночь! А вы сидите тутъ—и у васъ пахнетъ угаромъ.

ВЛАСЪ (встряхиваясь).

Мое почтеніе, Абстракція Васильевна!

КАЛЕРІЯ.

Въ лѣсу такъ тихо, задумчиво... славно! Луна—ласковая, тѣни густыя и теплыя... День никогда не можетъ быть красивѣе ночи...

ВЛАСЪ
(въ тонъ ея).

О да! Старушки всегда веселѣе, чѣмъ дѣвушки, и раки летаютъ быстрѣе, чѣмъ ласточки...

КАЛЕРІЯ
(садясь за столъ).

Вы ничего не понимаете! Варя, налей мнѣ чаю... Никто не былъ у насъ?

ВЛАСЪ
(поучительно-дурачливо).

Никто—не можетъ быть или не быть... ибо никто—не существуетъ.

КАЛЕРІЯ.

Пожалуйста, оставьте меня въ покоѣ.

(Власъ молча кланяется ей и уходитъ въ кабинетъ, перебираетъ тамъ бумаги на

столѣ. За окномъ вдали слышна трещотка ночного сторожа и тихій свистъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Къ тебѣ приходила Юлія Филипповна...

КАЛЕРІЯ.

Ко мнѣ? Ахъ, да... по поводу спектакля...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ты была въ лѣсу?

КАЛЕРІЯ.

Да. Я встрѣтила Рюмина... Онъ много говорилъ о тебѣ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Что же онъ говорилъ?

КАЛЕРІЯ.

Ты знаешь...

(Пауза. Власъ напѣваетъ что-то, гнусаво, негромко)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (вздыхая).

Это очень печально.

КАЛЕРІЯ.

Для него?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Однажды онъ сказалъ мнѣ, что любовь къ женщинѣ—трагическая обязанность мужчины...

КАЛЕРІЯ.

Ты раньше относилась къ нему иначе.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ты ставишь это мнѣ въ вину? Да?

КАЛЕРІЯ.

О нѣтъ, Варя, нѣтъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Сначала я старалась разсѣять его печальное настроеніе и, правда, много удѣляла ему вниманія... Потомъ я увидала, къ чему это ведетъ... тогда онъ уѣхалъ.

КАЛЕРІЯ.

Ты объяснилась съ нимъ?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ни словомъ! Ни я, ни онъ...

(Пауза)

КАЛЕРІЯ.

Его женщина должна быть теплой и безсильной... вся—въ красивыхъ словахъ... и безъ радости. А любовь безъ радости для женщины обидна. Тебѣ не кажется, что онъ горбатый?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (удивленно).

Не замѣчала... развѣ? Ты ошибаешься!..

КАЛЕРІЯ.

Въ немъ, въ его душѣ есть что-то нестройное... А

когда я это замѣчаю въ человѣкѣ, мнѣ начинаетъ казаться, что онъ и физически уродъ.

ВЛАСЪ

(выходитъ изъ кабинета, грустно, потрясая пачкой бумаги).

Принимая во вниманіе обиліе сихъ кляузъ и исходя изъ этого факта, честь имѣю заявить вамъ, патронесса, что при всемъ горячемъ желаніи моемъ—не могу я исполнить къ сроку, назначенному патрономъ, возложенную на меня непріятную обязанность!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я помогу тебѣ потомъ. Пей чай.

ВЛАСЪ.

Сестра моя! Воистину ты — сестра моя! Гордись этимъ! Абстракція Васильевна, учитесь любить ближняго, пока жива сестра моя и я самъ!..

КАЛЕРІЯ.

А, знаете,—вы горбатый!

ВЛАСЪ.

Съ какой точки зрѣнія?

КАЛЕРІЯ.

У васъ горбатая душа.

ВЛАСЪ.

Это, надѣюсь, не портитъ моей фигуры?

КАЛЕРІЯ.

Грубость--такое же уродство, какъ горбъ... Глупые люди—похожи на хромыхъ...

ВЛАСЪ

(въ тонъ ей).

Хромые—на ваши афоризмы...

КАЛЕРІЯ.

Люди пошлые кажутся мнѣ рябыми и почти всегда они—блондины...

ВЛАСЪ.

Всѣ брюнеты рано женятся, а метафизики—слѣпы и глухи... очень жаль, что они владѣютъ языкомъ!

КАЛЕРІЯ.

Это не остроумно! И вы, навѣрное, даже не знаете метафизики.

ВЛАСЪ.

Знаю. Табакъ и метафизика суть предметы наслажденія для любителей. Я не курю и о вредѣ табака ничего не знаю, но метафизиковъ читалъ, это вызываетъ тошноту и головокруженіе...

КАЛЕРІЯ.

Слабыя головы кружатся и отъ запаха цвѣтовъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Вы кончите ссорой!

ВЛАСЪ.

Я буду ѣсть—это полезнѣе.

КАЛЕРІЯ.

Я поиграю—это лучше. Какъ душно здѣсь, Варя!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я открою дверь на террасу... Ольга идетъ...

(Пауза. Власъ пьетъ чай. Калерія садится за рояль. За окномъ тихій свистъ сторожа, и, въ отвѣтъ ему, издали доносится еще болѣе тихій свистъ. Калерія тихонько касается клавишъ средняго регистра. Ольга Алексѣевна входитъ, быстро откинувъ портьеру, точно влетаетъ большая, испуганная птица, сбрасываетъ съ головы сѣрую шалъ)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Вотъ и я... едва вырвалась! (Цѣлуетъ Варвару Михайловну) Добрый вечеръ, Калерія Васильевна! О, играйте, играйте! Вѣдь можно и безъ рукопожатій, да? Здравствуйте, Власъ.

ВЛАСЪ.

Добрый вечеръ, мамаша!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ну, садись... Налить чаю? Почему ты такъ долго не шла?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (нервно).

Подожди! Тамъ, на волѣ—жутко... и кажется, что въ лѣсу притаился кто-то... недобрый... Свистятъ сторожа и свистъ такой... насмѣшливо-печальный... Зачѣмъ они свистятъ?

ВЛАСЪ.

Н-да! Подозрительно! Не насъ ли это они освистываютъ?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Мнѣ хотѣлось поскорѣе придти къ тебѣ... а Надя раскапризничалась, должно быть, тоже нездоровится ей... Вѣдь Волька нездоровъ, ты знаешь? Да, жаръ у него... потомъ нужно было выкупать Соню... Миша убѣжалъ въ лѣсъ еще послѣ обѣда, а вернулся только сейчасъ, весь оборванный, грязный и, конечно, голодный... А тутъ пріѣхалъ мужъ изъ города и чѣмъ-то раздраженъ... молчитъ, нахмурился... Я совершенно завертѣлась, право... Эта новая горничная—чистое наказанье! — Стала мыть пузырьки для молока кипяткомъ, и они полопались!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (улыбаясь).

Бѣдная ты моя... славная моя! Устаешь ты...

ВЛАСЪ.

О Марѳа, Марѳа! Ты печешься о многомъ—оттого-то у тебя все перепекается или не допечено... какія мудрыя слова!

КАЛЕРІЯ.

Только звучатъ скверно: перепе—фи!

ВЛАСЪ.

Прошу извинить русскій языкъ сочинилъ не я!

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА
(немного обиженная).

Вамъ, конечно, смѣшно слушать все это... вамъ

скучно... я понимаю! Но, что же! У кого что болитъ, тотъ о томъ и говоритъ... Дѣти... когда я думаю о нихъ, у меня въ груди точно колоколъ звучитъ... дѣти, дѣти! Трудно съ ними, Варя, такъ трудно, если бы ты знала!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ты прости меня—мнѣ все кажется, что ты преувеличиваешь...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (возбужденно).

Нѣтъ, не говори! Ты не можешь судить... Не можешь! Ты не знаешь, какое это тяжелое, гнетущее чувство—отвѣтственность передъ дѣтьми! Вѣдь они будутъ спрашивать меня, какъ надо жить... А что я скажу?

ВЛАСЪ.

Да вы чего же раньше времени безпокоитесь? Можетъ, они не спросятъ? Можетъ быть, сами догадаются, какъ именно надо жить...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Вы же не знаете! Они уже спрашиваютъ, спрашиваютъ! И это страшные вопросы, на которые нѣтъ отвѣтовъ ни у меня, ни у васъ, ни у кого нѣтъ! Какъ мучительно-трудно быть женщиной!..

ВЛАСЪ

(негромко, не серьезно).

Нужно быть человѣкомъ...

(Идетъ въ кабинетъ и садится тамъ за столъ. Пишетъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Перестань, Власъ!

(Встаетъ и медленно отходитъ отъ стола къ двери на террасу)

КАЛЕРІЯ (мечтательно).

Но заря своей улыбкой погасила звѣзды въ небѣ.

(Тоже встаетъ изъ-за рояля, стоитъ въ двери на террасу рядомъ съ Варварой Михайловной)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Я, кажется, на всѣхъ нагнала тоску? Точно сова ночью... о Боже мой! Ну, хорошо, не буду объ этомъ... Зачѣмъ же ты ушла, Варя, иди ко мнѣ... а то я подумаю, что тебѣ тяжело со мной.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(быстро подходитъ).

Какой вздоръ, Ольга! Мнѣ просто стало невыносимо жалко...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Не надо... Знаешь, я сама иногда чувствую себя противной... и жалкой... мнѣ кажется, что душа моя вся сморщилась и стала похожа на старую маленькую собачку... бываютъ такія комнатныя собачки... онѣ злыя, никого не любятъ и всегда хотятъ незамѣтно укусить...

КАЛЕРІЯ.

Восходитъ солнце и заходитъ,—а въ сердцахъ людей всегда сумерки.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Вы что?

КАЛЕРІЯ.

Я?.. Это... такъ я, сама съ собой бесѣдую.

ВЛАСЪ

(въ кабинетѣ гнусаво поетъ на голосъ „вѣчная память").

Семейное счастье... семейное счастье...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Власъ, прошу тебя, молчи!

ВЛАСЪ.

Молчу...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Это я его настроила...

КАЛЕРІЯ.

Изъ лѣса вышли люди. Смотрите, какъ это красиво! И какъ смѣшно размахиваетъ руками Павелъ Сергѣевичъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Кто съ нимъ еще?

КАЛЕРІЯ.

Марья Львовна... Юлія Филипповна... Соня, Зиминъ... и Замысловъ.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА

(кутается въ шаль).

А я такая замухрышка! Эта франтиха Суслова посмѣется надо мной... Вотъ не люблю ее!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Власъ, позвони Сашу.

ВЛАСЪ.

Вы, патронесса, отрываете меня отъ моихъ прямыхъ обязанностей—такъ и знайте!

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Эта великолѣпная барыня... совсѣмъ не занимается дѣтьми, и—странно: они у нея всегда здоровы.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(входитъ въ дверь съ террасы).

Вашъ мужъ сказалъ, что вамъ нездоровится,—правда? Что съ вами, а?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я рада, что вы зашли, но я здорова...

(На террасѣ шумъ, смѣхъ)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Лицо немножко нервное... (Ольгѣ Алексѣевнѣ) И вы здѣсь? Я не видала васъ такъ давно...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Какъ будто вамъ пріятно видѣть меня... всегда такую кислую...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

А если мнѣ нравится кислое? Какъ ваши дѣтки?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА

(входитъ съ террасы).

Вотъ сколько я привела вамъ гостей! Но вы не сердитесь—мы скоро уйдемъ. Здравствуйте, Ольга Алексѣевна... А почему же не входятъ мужчины? Варвара Михайловна, тамъ Павелъ Сергѣевичъ и Замысловъ. Я позову ихъ, можно?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Конечно!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Идемте, Калерія Васильевна.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (Власу).

Вы похудѣли, отчего?

ВЛАСЪ.

Не могу знать!

Вмѣстѣ.

САША

(входя въ комнату).

Подогрѣть самоваръ?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Пожалуйста... и поскорѣе.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (Власу).

А зачѣмъ вы гримасничаете?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Онъ всегда...

ВЛАСЪ.

Такая спеціальность у меня!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Все стараетесь быть остроумнымъ? Да? И все неудачно?.. Дорогая моя Варвара Михайловна, Павелъ Сергѣевичъ вашъ окончательно погружается въ прострацію...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Почему же мой?

(Входитъ Рюминъ. Потомъ Юлія Филипповна и Калерія. Власъ, нахмурившись, идетъ въ кабинетъ и затворяетъ за собою дверь. Ольга Алексѣевна отводитъ Марью Львовну налѣво и что-то неслышно говоритъ ей, указывая на грудь)

РЮМИНЪ.

Вы извините за такое позднее вторженіе...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я рада гостямъ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Дачная жизнь хороша именно своей безцеремонностью... Но если бы вы слышали, какъ они спорили, онъ и Марья Львовна!

РЮМИНЪ.

Я не умѣю говорить спокойно о томъ... что такъ важно, необходимо выяснить...

(Саша вноситъ самоваръ. Варвара Михайловна у столатихо отдаетъ ей какія-то приказанія, готовитъ посуду для чая. Рюминъ, стоя у рояля, смотритъ на нее задумчиво и упорно)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Вы очень нервны, это мѣшаетъ вамъ быть убѣдительнымъ! (Варварѣ Михайловнѣ) Вашъ мужъ сидитъ съ моимъ орудіемъ самоубійства, пьютъ коньякъ, и у меня такое предчувствіе, что они изрядно напьются. Къ мужу неожиданно пріѣхалъ дядя — какой-то мясоторговецъ или маслодѣлъ, вообще, фабрикантъ, хохочетъ, шумитъ, сѣдой и кудрявый... забавный! А гдѣ же Николай Петровичъ? Благоразумный рыцарь мой?..

ЗАМЫСЛОВЪ (съ террасы).

Я здѣсь, Инезилья, стою подъ окномъ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Идите сюда. Что вы тамъ говорили?

ЗАМЫСЛОВЪ (входя).

Развращалъ молодежь... Соня и Зиминъ убѣждали меня, что жизнь дана человѣку для ежедневнаго упражненія въ разрѣшеніи разныхъ соціальныхъ, моральныхъ и иныхъ задачъ, а я доказывалъ имъ, что жизнь—искусство! Вы понимаете, жизнь—искусство смотрѣть на все своими глазами, слышать своими ушами...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Это—вздоръ!

ЗАМЫСЛОВЪ.

Я его сейчасъ только выдумалъ, но чувствую, что это останется моимъ твердымъ убѣжденіемъ! Жизнь—искусство находить во всемъ красоту и радость, даже искусство ѣсть и пить... Они ругаются, какъ вандалы.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Валерія Васильевна... Прекратите болтовню!

ЗАМЫСЛОВЪ.

Валерія Васильевна! Я знаю, вы любите все красивое—почему вы не любите меня? Это ужасное противорѣчіе.

ВАЛЕРІЯ (улыбаясь)

Вы такой... шумный, пестрый...

ЗАМЫСЛОВЪ.

Гм... но, теперь, не въ этомъ дѣло... Мы—я и эта прекрасная дама...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Перестаньте же! Мы пришли...

ЗАМЫСЛОВЪ (кланяясь).

Къ вамъ!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Чтобы просить...

ЗАМЫСЛОВЪ

(кланяясь еще ниже).

Васъ!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Я не могу! Пойдемте въ вашу милую, чистую комнату... я такъ люблю ее..

ЗАМЫСЛОВЪ.

Пойдемте! Здѣсь все мѣшаетъ намъ.

КАЛЕРІЯ (смѣясь).

Идемте!

(Идутъ ко входу въ корридоръ)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Постойте! Вы представьте: фамилія дяди мужа—Двоеточіе!

ЗАМЫСЛОВЪ

(дважды тычетъ пальцемъ въ воздухъ).

Понимаете? Двоеточіе!

(Смѣясь, скрываются за портьерой)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Какая она всегда веселая, а вѣдь я знаю,—живется ей не очень... сладко... Съ мужемъ она...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (сухо).

Это не наше дѣло, Оля, мнѣ кажется...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Развѣ я говорю что-нибудь дурное?

РЮМИНЪ.

Какъ теперь стали часты семейныя драмы...

СОНЯ

(выглядывая въ дверь).

Мамашка! Я ухожу гулять...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Еще гулять?

СОНЯ.

Еще! Тутъ такъ много женщинъ, а съ ними всегда невыносимо скучно...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (шутя).

Ты—осторожнѣе... Твоя мать—тоже женщина...

СОНЯ (вбѣгая).

Мамочка! Неужели? давно?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Что она болтаетъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

И хоть бы поздоровалась!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Сонька! Ты неприлична!

СОНЯ

(Варварѣ Михайловнѣ).

Да вѣдь мы видѣли сегодня другъ друга? Но я съ наслажденіемъ поцѣлую васъ... я добра и великодушна, если это мнѣ доставляетъ удовольствіе... или, по крайней мѣрѣ, ничего не стоитъ...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Сонька! Перестань болтать и убирайся.

СОНЯ.

Нѣтъ, какова моя мамашка! Вдругъ назвала себя женщиной! Я съ ней знакома восемнадцать лѣтъ и первый разъ слышу это! Это знаменательно!

ЗИМИНЪ

(просовывая голову изъ-за портьеры).

Да вы идете, или нѣтъ?

СОНЯ.

Рекомендую--мой рабъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Вы что же не входите?.. Пожалуйста.

СОНЯ.

Онъ невозможенъ въ приличномъ обществѣ.

ЗИМИНЪ.

Она оторвала мнѣ рукавъ у тужурки—вотъ и все!..

СОНЯ.

И только! Этого ему мало, онъ недоволенъ мной... Мамашка, я за тобой зайду, хорошо? А теперь иду слушать, какъ Максъ будетъ говорить мнѣ о вѣчной любви...

ЗИМИНЪ.

Какъ же... Дожидайтесь!

СОНЯ.

Посмотримъ, юноша! До свиданья. Луна еще есть?

ЗИМИНЪ.

И я не юноша... Въ Спартѣ... Позвольте, Соня, зачѣмъ же толкать человѣка, который...

СОНЯ.

Еще не человѣкъ... впередъ—Спарта!

(Ихъ голоса и смѣхъ долго звучатъ гдѣ-то около дома)

РЮМИНЪ.

Славная дочь у васъ, Марья Львовна.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Когда-то и я была похожа на нее...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Мнѣ нравится, какъ вы относитесь другъ къ другу... славно! Садитесь чай пить, господа!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Да, мы друзья.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Друзья... Какъ это достигается?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Что?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Дружба дѣтей.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Да очень просто: нужно быть искренней съ дѣтьми, не скрывать отъ нихъ правды... не обманывать ихъ.

РЮМИНЪ (усмѣхаясь).

Ну, это, знаете, рискованно! Правда груба и холодна,

и въ ней всегда скрытъ тонкій ядъ скептицизма... Вы сразу можете отравить ребенка, открывъ передъ нимъ всегда страшное лицо правды.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

А вы предпочитаете отравлять его постепенно?.. Чтобы и самому не замѣтить, какъ вы изуродуете человѣка?

РЮМИНЪ

(горячо и нервно).

Позвольте! Я этого не говорилъ! Я только противъ этихъ... обнаженій... этихъ неумныхъ, ненужныхъ попытокъ сорвать съ жизни красивыя одежды поэзіи, которая скрываетъ ея грубыя, часто уродливыя формы... Нужно украшать жизнь! Нужно приготовить для нея новыя одежды, прежде чѣмъ сбросить старыя...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

О чемъ вы говорите?—не понимаю!..

РЮМИНЪ.

О правѣ человѣка желать обмана!.. Вы часто говорите—жизнь! Что такое—жизнь? Когда вы говорите о ней, она встаетъ предо мной, какъ огромное, безформенное чудовище, которое вѣчно требуетъ жертвъ ему, жертвъ людьми! Она изо дня въ день пожираетъ мозгъ и мускулы человѣка, жадно пьетъ его кровь. (Все время Варвара Михайловна внимательно слушаетъ Рюмина, и постепенно на лицѣ ея появляется выраженіе недоумѣвающее. Она дѣлаетъ движеніе, какъ бы желая остановить Рюмина) Зачѣмъ это? Я не вижу въ этомъ смысла, но я знаю, что чѣмъ болѣе живетъ человѣкъ, тѣмъ болѣе онъ видитъ вокругъ себя грязи, пошлости, грубаго и гадкаго... и все болѣе жаждетъ красиваго, яркаго, чистаго!.. Онъ

можетъ уничтожить противорѣчій жизни, у него нѣтъ силъ изгнать изъ нея зло и грязь,—такъ не отнимайте же у него права не видѣть того, что убиваетъ душу! Признайте за нимъ право отвернуться въ сторону отъ явленій, оскорбляющихъ его! Человѣкъ хочетъ забвенія, отдыха... мира хочетъ человѣкъ!

(Встрѣчая взглядъ Варвары Михайловны, онъ вздрагиваетъ и останавливается)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (спокойно).

Онъ обанкротился, вашъ человѣкъ? Очень жаль... Только этимъ и объясняете вы его право отдыхать въ мирѣ? Не лестно.

РЮМИНЪ

(Варварѣ Михайловнѣ).

Простите, что я... такъ раскричался! Вамъ, я вижу, непріятно...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Не потому, что вы такъ нервны...

РЮМИНЪ.

А почему же? Почему?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(медленно, очень спокойно).

Я помню, года два тому назадъ, вы говорили совсѣмъ другое... и такъ же искренно... такъ же горячо...

РЮМИНЪ (взволнованно).

Ростетъ человѣкъ и мысль его!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Она мечется, какъ испуганная летучая мышь, эта маленькая, темная мысль!..

РЮМИНЪ

(все такъ же волнуясь).

Она поднимается спиралью, но она поднимается все выше! Вы, Марья Львовна, подозрѣваете меня въ неискренности, да?..

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Я? нѣтъ! Я вижу: вы искренно... кричите... и, хотя для меня истерика не аргументъ, я все же понимаю,— васъ что-то сильно испугало... вы хотѣли бы спрятаться отъ жизни... И я знаю: не одинъ вы хотите этого— людей испуганныхъ не мало...

РЮМИНЪ.

Да, ихъ много, потому что люди все тоньше и острѣе чувствуютъ, какъ ужасна жизнь! Въ ней все строго предопредѣлено... и только бытіе человѣка случайно, безсмысленно... безцѣльно!..

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (спокойно).

А вы постарайтесь возвести случайный фактъ вашего бытія на степень общественной необходимости,— вотъ ваша жизнь и получитъ смыслъ...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Боже мой! Когда при мнѣ говорятъ что-нибудь строгое, обвиняющее... я вся съеживаюсь... точно это про меня говорятъ, меня осуждаютъ! Какъ мало въ жизни ласковаго! Мнѣ пора домой! У тебя хорошо, Варя...

всегда что-нибудь услышишь, вздрогнешь лучшей частью души... Поздно уже, надо идти домой...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Сиди, голубчикъ! Чего ты такъ?.. вдругъ? Если будетъ нужно, пришлютъ за тобой.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Да, пришлютъ... Ну, хорошо, я посижу.

(Идетъ и садится на диванъ съ ногами, сжимаясь въ комокъ. Рюминъ нервно барабанитъ пальцами по стеклу, стоя у двери на террасу)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (задумчиво).

Странно мы живемъ! Говоримъ, говоримъ—и только! Мы накопили множество мнѣній... мы съ такой... нехорошей быстротой принимаемъ ихъ и отвергаемъ... А вотъ желаній, ясныхъ, сильныхъ желаній нѣтъ у насъ... нѣтъ!

РЮМИНЪ.

Это по моему адресу? да?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я говорю о всѣхъ. Не искренно, не красиво, скучно мы живемъ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

(быстро входитъ).

Господа! Помогите мнѣ...

КАЛЕРІЯ.

Право, это лишнее!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Она написала новые стихи и дала мнѣ слово прочитать ихъ на нашемъ вечерѣ въ пользу дѣтской колоніи... Я прошу прочитать сейчасъ, здѣсь! Господа, просите!

РЮМИНЪ.

Прочитайте! Люблю я ваши ласковые стихи...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Послушала бы и я. Въ спорахъ—грубѣешь. Прочитайте, милая.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Что-нибудь новое, Калерія?

КАЛЕРІЯ.

Да. Проза. Скучно.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Ну, дорогая моя, прочитайте! Что вамъ стоитъ? Пойдемте за ними!

(Уходитъ, увлекая Калерію)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

А гдѣ же... Власъ Михайловичъ?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Онъ въ кабинетѣ. У него много работы.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Я съ нимъ немножко рѣзко обошлась... Досадно видѣть его только шутникомъ, право!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Да, обидно это. Знаете, если бы вы немножко мягче съ нимъ!.. Онъ—славный... Его многіе учили, но никто не ласкалъ.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (улыбаясь).

Какъ всѣхъ... какъ всѣхъ насъ... И оттого всѣ мы грубы, рѣзки...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Онъ жилъ съ отцомъ, всегда пьянымъ... Тотъ его билъ...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Пойду къ нему.

(Идетъ къ двери въ кабинетъ, стучитъ и входитъ)

РЮМИНЪ

(Варварѣ Михайловнѣ).

Вы все ближе сходитесь съ Марьей Львовной, да?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Она мнѣ нравится...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (негромко).

Какъ она строго говоритъ обо всемъ... какъ строго

РЮМИНЪ.

Марья Львовна въ высокой степени обладаетъ жестокостью вѣрующихъ... слѣпой и холодной жестокостью... Какъ это можетъ правиться?..

ДУДАКОВЪ

(входитъ изъ корридора).

Мое почтеніе, извините... Ольга, ты здѣсь? Скоро домой?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Хоть сейчасъ. Ты гулялъ?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Стаканъ чая, Кириллъ Акимовичъ?

ДУДАКОВЪ.

Чай? Нѣтъ. На ночь не пью... Павелъ Сергѣевичъ, мнѣ бы васъ надо... можно къ вамъ завтра?

РЮМИНЪ.

Пожалуйста.

ДУДАКОВЪ.

Это насчетъ колоніи малолѣтнихъ преступниковъ. Они опять тамъ накуралесили... чортъ ихъ дери! Бьютъ ихъ тамъ... чортъ побери! Вчера въ газетахъ ругали насъ съ вами...

РЮМИНЪ.

Я, дѣйствительно, давно не былъ въ колоніи... Какъ-то все некогда...

ДУДАКОВЪ.

Д-да... И вообще... некогда всѣмъ... Хлопотъ у всѣхъ много, а дѣла—нѣтъ... почему? Я вотъ... устаю очень. Шлялся сейчасъ по лѣсу — и это успокаиваетъ... нѣсколько... а то—нервы у меня взвинчены...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

У васъ лицо осунулось.

ДУДАКОВЪ.

Возможно. И сегодня непріятность... Этотъ оселъ, голова, упрекаетъ: не экономно! Больные много ѣдятъ, и огромное количество хины...—Болванъ! Во-первыхъ, это не его дѣло... А потомъ, осуши улицы нижней части города, и я не трону твоей хины... Вѣдь не пожираю я эту хину самъ? Терпѣть не могу хины... и нахаловъ...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Стоитъ ли, Кириллъ, раздражаться изъ-за такихъ мелочей? Право, пора привыкнуть.

ДУДАКОВЪ.

А если вся жизнь слагается изъ мелочей? И что значитъ—привыкнуть?.. Къ чему? Къ тому, что каждый идіотъ суется въ твое дѣло и мѣшаетъ тебѣ жить?.. Ты видишь: вотъ... я и привыкаю. Голова говоритъ—нужно экономить... ну, и я буду экономить! Т. е. это не нужно и это вредно для дѣла, но я буду... У меня нѣтъ частной практики и я не могу бросить это дурацкое мѣсто...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (укоризненно).

Потому что большая семья? Да, Кириллъ? я это не однажды слышала отъ тебя... и здѣсь ты могъ бы не говорить объ этомъ... Безтактный, грубый человѣкъ!

(Накинувъ шаль на голову, быстро идетъ къ комнатѣ Варвары Михайловны)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ольга! Что ты?!

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (почти рыдая).

Ахъ, пусти, пусти меня!.. Я это знаю! Я слышала...

(Онѣ обѣ скрываются въ комнатѣ Варвары Михайловны)

ДУДАКОВЪ (растерянно).

Вотъ! И... совершенно не имѣлъ въ виду... Павелъ Сергѣевичъ, вы меня извините... Это совершенно случайно... Я такъ... смущенъ...

(Быстро уходитъ, сталкиваясь въ дверяхъ съ Калеріей и Юліей Филипповной)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Докторъ чуть не опрокинулъ насъ! Что съ нимъ?

РЮМИНЪ.

Нервы... (Варвара Михайловна входитъ) Ольга Алексѣевна ушла?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ушла... да...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Не довѣряю я этому доктору... Онъ такой... нездоровый, заикается, разсѣянный... Засовываетъ въ футляръ очковъ чайныя ложки и мѣшаетъ въ стаканѣ своимъ молоточкомъ... Онъ можетъ напутать въ рецептѣ и дать чего-нибудь вреднаго.

РЮМИНЪ.

Мнѣ кажется, онъ кончитъ тѣмъ, что пуститъ себѣ пулю въ лобъ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Вы говорите это такъ спокойно...

РЮМИНЪ.

Самоубійства часты среди докторовъ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Слова волнуютъ насъ больше, чѣмъ люди... Вы не находите?

РЮМИНЪ (вздрогнувъ).

О Варвара Михайловна!

(Калерія садится за рояль, Замысловъ около нея)

ЗАМЫСЛОВЪ.

Вамъ удобно?

КАЛЕРІЯ.

Спасибо...

ЗАМЫСЛОВЪ.

Господа, вниманіе!

(Входятъ Марья Львовна и Власъ, очень оживленные)

ВЛАСЪ.

Ого! Будутъ читать стихи, да?

КАЛЕРІЯ (съ досадой).

Если вы хотите слушать, вамъ придется перестать шумѣть...

ВЛАСЪ.

Умри, все живое!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Молчимъ... Молчимъ...

КАЛЕРІЯ.

Очень рада. Это стихотвореніе въ прозѣ. Современемъ къ нему напишутъ музыку.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Мелодекламація! Какъ это хорошо! Люблю! Люблю

все оригинальное... Меня, точно ребенка, радуютъ даже такія вещи, какъ открытыя письма съ картинками, автомобили...

ВЛАСЪ (въ тонъ ей).

Землетрясенія, граммофоны, инфлюэнція...

КАЛЕРІЯ

(громко и сухо).

Вы мнѣ позволите начать?

(Всѣ быстро усаживаются. Калерія тихо перебираетъ клавиши)

Это называется--Эдельвейсъ.

„Ледъ и снѣгъ нетлѣннымъ саваномъ вѣчно одѣваютъ вершины Альпъ, и царитъ надъ ними холодное безмолвіе--мудрое молчаніе гордыхъ высотъ.

Безгранична пустыня небесъ надъ вершинами горъ, и безчисленны грустныя очи свѣтилъ надъ снѣгами вершинъ.

У подножія горъ, тамъ, на тѣсныхъ равнинахъ земли, жизнь, тревожно волнуясь, ростетъ, и страдаетъ усталый владыка равнинъ—человѣкъ.

Въ темныхъ ямахъ земли стонъ и смѣхъ, крики ярости, шопотъ любви... многозвучна угрюмая музыка жизни земной!.. Но безмолвія горныхъ вершинъ и безстрастія звѣздъ—не смущаютъ тяжелые вздохи людей.

Ледъ и снѣгъ нетлѣннымъ саваномъ вѣчно одѣваютъ вершины Альпъ, и царитъ надъ ними холодное безмолвіе--мудрое молчаніе гордыхъ высотъ.

Но какъ будто затѣмъ, чтобы кому-то сказать о несчастьяхъ земли и о мукахъ усталыхъ людей,—у подножія льдовъ, въ царствѣ вѣчно-нѣмой тишины, одиноко ростетъ грустный горный цвѣтокъ—Эдельвейсъ...

А надъ нимъ, въ безконечной пустынѣ небесъ, молча гордое солнце плыветъ, грустно свѣтитъ нѣмая луна и безмолвно и трепетно звѣзды горятъ...

И холодный покровъ тишины, опускаясь съ небесъ, обнимаетъ и ночью, и днемъ—одинокій цвѣтокъ—Эдельвейсъ".

(Пауза. Всѣ, задумавшись, молчатъ. Далеко звучатъ трещотка сторожа и тихій свистъ. Калерія, широко открывъ глаза, смотритъ прямо передъ собой)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (негромко).

Какъ это хорошо! Грустно... чисто...

ЗАМЫСЛОВЪ.

Слушайте! Это надо читать въ костюмѣ, бѣломъ... широкомъ... и пушистомъ, какъ Эдельвейсъ! Вы понимаете? Это будетъ безумно-красиво! Великолѣпно!

ВЛАСЪ

(подходя къ роялю).

И мнѣ нравится, право! (Сконфуженно смѣется) Нравится! Хорошо!.. Точно—клюквенный морсъ въ жаркій день!

КАЛЕРІЯ.

Уйдите!

ВЛАСЪ.

Да я вѣдь искренно, вы не сердитесь!

САША.

Господинъ Шалимовъ пріѣхали.

(Общее движеніе. Варвара Михайловна идетъ къ дверямъ и останавливается при видѣ входящаго Шалимова. Онъ лысый)

ШАЛИМОВЪ.

Я имѣю удовольствіе видѣть...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(тихо, не сразу).

Пожалуйста... прошу васъ... Сергѣй сейчасъ придетъ...

ЗАНАВѢСЪ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Поляна передъ террасой дачи Басова, окруженная густымъ кольцомъ сосенъ, елей и березъ. На первомъ планѣ съ лѣвой стороны двѣ сосны, подъ ними круглый столъ, три стула. За ними невысокая терраса, покрытая парусиной. Напротивъ террасы группа деревьевъ, въ ней широкая скамья со спинкой. За нею дорога въ лѣсъ. Дальше, въ глубинѣ правой стороны, небольшая открытая сцена раковиной, отъ нея—справа налѣво—дорога на дачу Суслова. Передъ сценой нѣсколько скамей. Вечеръ, заходитъ солнце. У Басовыхъ Калерія играетъ на роялѣ. Пустобайка медленно и тяжело двигается по полянѣ, разставляя скамьи. Кропилкинъ съ ружьемъ за плечами стоитъ около елей.

КРОПИЛКИНЪ.

А ту дачу—кто нынѣ снялъ?

ПУСТОБАЙКА.

(угрюмо, густымъ голосомъ).

Инженеръ Сусловъ.

КРОПИЛКИНЪ.

Все новые?

ПУСТОБАЙКА.

Чего?

КРОПИЛКИНЪ.

Все новые, молъ. Не тѣ, что въ прошломъ году жили...

ПУСТОБАЙКА.

(вынимая трубку).

Все одно. Такіе же.

КРОПИЛКИНЪ (вздыхаетъ).

Оно конечно... всѣ—господа... эхе-хе!..

ПУСТОБАЙКА.

Дачники--всѣ одинаковые. За пять годовъ я ихъ видалъ—безъ счету. Они для меня—въ родѣ какъ въ ненастье пузыри на лужѣ... вскочитъ и лопнетъ... вскочитъ и лопнетъ... Такъ-то...

(Изъ-за угла дачи Басова, шумя и смѣясь, проходитъ по дорогѣ въ лѣсъ

(группа молодежи съ мандолинами, балалайками и гитарами)

КРОПИЛКИНЪ.

Ишь ты... музыка! Тоже, видно, представлять собираются?..

ПУСТОБАЙКА.

И будутъ... чего имъ? Народъ—сытый...

КРОПИЛКИНЪ.

Вотъ никогда я не видалъ, какъ господа представляютъ... чай, смѣшно? Ты видалъ?

ПУСТОБАЙКА.

Я—видалъ. Я, братъ, все видалъ...

(Справа доносится гулкій хохотъ Двоеточія)

КРОПИЛКИНЪ.

Ну? Какъ же они?

ПУСТОБАЙКА.

Очень просто: нарядятся не въ свою одежу и говорятъ... разныя слова, кому какое пріятно... Кричатъ, суетятся, будто что-то дѣлаютъ... будто сердятся... Ну, обманываютъ другъ дружку. Одинъ представляется—я, дескать, честный, другой—а я умный... или тамъ—я-де несчастный... Кому что кажется подходящимъ... онъ то и представляетъ...

(Кто-то на лѣвой сторонѣ свиститъ собаку и кричитъ: „Баянъ! Баянъ!“ Пустобайка колотитъ по скамьѣ обухомъ топора)

КРОПИЛКИНЪ.

Ахъ ты... сдѣлай милость! Н-да... И пѣсни поютъ?

ПУСТОБАЙКА.

Пѣсенъ они мало поютъ... Инженерова жена верещитъ когда... ну, голосъ у ней—жидкій.

КРОПИЛКИНЪ.

Идутъ господа...

ПУСТОБАЙКА.

Ну, и пускай идутъ....

(Двоеточіе выходитъ съ правой стороны около сцены, за нимъ Сусловъ)

ДВОЕТОЧІЕ (добродушно).

Ты надо мной не смѣйся... куда тебѣ! Тебѣ, понимаешь, едва сорокъ минуло, а ты—лысый, а мнѣ подъ шестьдесятъ—однако, я кудрявый, хоть и сѣдой—что? Хо-хо!

(Пустобайка все время лѣниво и неуклюже возится около сцены со скамьями. Кропилкинъ осторожно отходитъ за сцену)

СУСЛОВЪ.

Ваше счастье... Продолжайте, я слушаю...

ДВОЕТОЧІЕ.

Давай сядемъ. Такъ вотъ—явились, значитъ, нѣмцы... У меня заводишко старый, машины—дрянь, а они, понимаешь, все новенькое поставили, -ну, товаръ у нихъ лучше моего и дешевле... Вижу—дѣло мое швахъ... подумалъ—лучше нѣмца не сдѣлаешь... Ну, и рѣшилъ—продамъ всю музыку нѣмцамъ.

(Задумчиво молчитъ)

СУСЛОВЪ.

Все продали?

ДВОЕТОЧІЕ.

Домъ въ городѣ оставилъ... большой домъ, старый... А дѣла теперь у меня нѣтъ, только одно осталось—деньги считать... хо-хо! хо-хо! Такой старый дуракъ, если говорить правду... Продалъ, знаешь, и сразу почувствовалъ себя сиротой... Стало мнѣ скучно, и не знаю я теперь, куда мнѣ себя дѣвать? Понимаешь: вотъ—руки у меня... Раньше я ихъ не замѣчалъ... а теперь вижу—болтаются ненужные предметы... (Смѣется. Пауза. Варвара Михайловна выходитъ на террасу и, заложивъ руки за спину, медленно, задумавшись, ходитъ). Вонъ, Басова жена вышла. Экая женщина... магнитъ! Кабы я годковъ на десять моложе былъ...

СУСЛОВЪ.

Вѣдь вы... кажется... женаты?

ДВОЕТОЧІЕ.

Былъ. И неоднократно... Но—которыя жены мои померли, которыя сбѣжали отъ меня... И дѣти были... двѣ дѣвочки... обѣ умерли... Мальчонка тоже... утонулъ, знаешь... Насчетъ женщинъ я очень счастливъ былъ... все у васъ, въ Россіи, добывалъ ихъ... очень легко у васъ женъ отбивать! Плохіе вы мужья... Пріѣду, бывало, посмотрю туда-сюда—вижу, понимаешь, женщина достойная всякаго вниманія, а мужъ у нея—какое-то ничтожество въ шляпѣ... Ну, сейчасъ ее и приберешь къ рукамъ... хо-хо! (Власъ выходитъ на террасу изъ комнатъ, стоитъ и смотритъ на сестру) Да, все это было... а теперь—ничего вотъ нѣтъ... ничего и никого... понимаешь...

СУСЛОВЪ.

Какъ же вы... думаете жить?

ДВОЕТОЧІЕ.

Не знаю. Посовѣтуй! А чепуха, братъ, эта твоя ботвинья... и поросенокъ тоже... ѣсть поросенка лѣтомъ— это называется анахронизмъ...

ВЛАСЪ.

Ну, что, Варя?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ничего... такъ... жалкій человѣкъ я... да?

ВЛАСЪ

(обнимаетъ ее за талію).

Хочется сказать тебѣ что-то ласковое... да не знаю, какъ это говорится... не знаю...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Оставь меня, милый...

ДВОЕТОЧІЕ.

Вонъ къ намъ господинъ Черновъ идетъ...

СУСЛОВЪ.

Шутъ гороховый...

ДВОЕТОЧІЕ.

Бойкій паренекъ, а бездѣльникъ, видимо...

ВЛАСЪ (подходя).

Кого это вы?

ДВОЕТОЧІЕ.

А вотъ племянника, хо-хо! Да и вы тоже, видать, не очень дѣловиты, а?

ВЛАСЪ.

Насколько я успѣлъ узнать васъ, почтеннѣйшій Семенъ Семеновичъ, подъ словомъ дѣло вы подразумѣваете выжиманіе соковъ изъ ближнихъ вашихъ? Въ этомъ смыслѣ я еще не дѣловитъ... увы!

ДВОЕТОЧІЕ.

Хо-хо! Вы не горюйте! Въ юности, понимаете, это трудненько: совѣсть еще не окрѣпла, и въ головѣ кисель розовый вмѣсто мозговъ. А созрѣете, и преудобно возсядете на чьей-нибудь шеѣ, хо-хо! На шеѣ ближняго всего скорѣе доѣдешь къ благополучію своему.

ВЛАСЪ.

Вы, несомнѣнно, человѣкъ опытный въ такой ѣздѣ... вѣрю вамъ!

(Клапяется и уходитъ)

ДВОЕТОЧІЕ.

Хо-хо! Отбрилъ и доволенъ! Миляга... Чай, поди-ка, героемъ себя чувствуетъ... Ну, ничего, пускай потѣшится молодая душа.

(Опустивъ голову, сидитъ молча)

КАЛЕРІЯ

(выходитъ на террасу).

Ты все еще не можешь помириться?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (негромко).

Нѣтъ, не могу...

КАЛЕРІЯ.

Кого ты будешь ждать теперь?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (задумчиво).

Не знаю... не знаю.

(Калерія, пожимая плечами, сходитъ съ террасы и идетъ налѣво, скрывается за угломъ дачи)

ДВОЕТОЧІЕ.

Н-да! Ну, такъ что же, Петруха... Какъ же я буду жить-то?

СУСЛОВЪ.

Это не рѣшается сразу... надо подумать...

ДВОЕТОЧІЕ.

Не рѣшается? Хо-хо! Эхъ, ты... Что?

СУСЛОВЪ.

Ничего... Я ничего не говорю.

ДВОЕТОЧІЕ.

Ничего и не скажешь, видно. (Справа изъ лѣсу идутъ Басовъ и Шалимовъ, раскланиваясь проходятъ подъ сосну, садятся у стола, у Басова на шеѣ полотенце) Вотъ—и писатель съ адвокатомъ идутъ... Гуляете?

БАСОВЪ.

Купались.

ДВОЕТОЧІЕ.

Холодно?

БАСОВЪ.

Въ мѣру.

ДВОЕТОЧІЕ.

Пойти и мнѣ поплавать. Пойдемъ, Петръ, можетъ, я утону,—наслѣдство скорѣе получишь, а?

СУСЛОВЪ.

Нѣтъ, я не могу. Мнѣ вотъ съ ними нужно поговорить.

ДВОЕТОЧІЕ.

А я пойду.

(Встаетъ и уходитъ направо въ лѣсъ. Сусловъ смотритъ вслѣдъ ему и, усмѣхаясь, идетъ къ Басову)

БАСОВЪ.

Варя, скажи, чтобы намъ бутылочку пива дали... нѣтъ, лучше три бутылочки... Ну, что, какъ твой дядя?

(Варвара Михайловна уходитъ въ комнаты)

СУСЛОВЪ.

Надоѣдаетъ понемногу...

БАСОВЪ.

Да... эти старики не забавны...

СУСЛОВЪ.

Онъ, должно быть, хочетъ жить со мной...

БАСОВЪ.

Дядя-то? Мм-да... Ну, а ты какъ?

СУСЛОВЪ.

Да... чортъ знаетъ! Вѣроятно, будетъ такъ, какъ онъ хочетъ.

(Саша приноситъ пиво)

БАСОВЪ.

Ты что, Яковъ, молчишь?

ШАЛИМОВЪ.

Раскисъ немного... Забылъ я, какъ зовутъ эту воинственную даму?

БАСОВЪ.

Марья Львовна... Эхъ, Петръ, какая, братъ, сегодня у насъ за обѣдомъ разыгралась словесная война!

СУСЛОВЪ.

Конечно, Марья Львовна—

ШАЛИМОВЪ.

Свирѣпая женщина, скажу вамъ...

(Варвара Михайловна снова выходитъ на террасу)

СУСЛОВЪ.

Не люблю я ее.

ШАЛИМОВЪ.

Я человѣкъ мягкій, но, скажу вамъ по правдѣ, едва не наговорилъ ей дерзостей.

БАСОВЪ (смѣясь).

А она тебѣ наговорила.

ШАЛИМОВЪ (Суслову).

Вы поставьте себя на мое мѣсто: человѣкъ что-то тамъ пишетъ, волнуется... наконецъ, устаетъ, скажу вамъ просто. Пріѣзжаетъ къ пріятелю отдохнуть, пожить на распашку, собраться съ мыслями... и вдругъ—является дама и начинаетъ исповѣдывать: какъ вѣруете, на что надѣетесь, почему не пишете о томъ-то и зачѣмъ молчите объ этомъ? Потомъ она говоритъ, что это у васъ неясно, это невѣрно, это некрасиво... Ахъ, да напишите вы, матушка, сами такъ, чтобы оно было и ясно, и вѣрно, и красиво! Напишите геніально, только дайте мнѣ отдохнуть!.. ф-фу!

БАСОВЪ.

Это надо терпѣть, мой другъ. Проѣзжая по Волгѣ, обязательно ѣдятъ стерляжью уху, а при видѣ писателя—всякій хочетъ показать себя умницей; это надо терпѣть.

ШАЛИМОВЪ.

Неделикатно это... неумно! Она часто бываетъ у тебя?

БАСОВЪ.

Нѣтъ... т. е. да, частенько! Но я вѣдь тоже не очень ее жалую... Она такая прямолинейная, какъ палка... Это жена съ ней въ дружбѣ... и она очень портитъ мнѣ жену. (Оглядывается на террасу и видитъ Варвару Михайловну) Варя... ты здѣсь?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Какъ видишь.

(Замысловъ и Юлія Филипповна быстро идутъ по дорогѣ отъ дачи Суслова. Смѣются. Шалимовъ, усмѣхаясь, смотритъ на смущеннаго Басова)

ЗАМЫСЛОВЪ.

Варвара Михайловна! Мы устраиваемъ пикникъ... Ѣдемъ въ лодкахъ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Дорогая моя, здравствуйте!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Идемте въ комнаты.

(Скрываются въ комнатахъ. Сусловъ всталъ и медленно идетъ за ними)

ЗАМЫСЛОВЪ.

А Калерія Васильевна дома?

ШАЛИМОВЪ (смѣясь).

Ты, кажется, побаиваешься жены-то, Сергѣй?

БАСОВЪ (вздыхаетъ).

Ну, пустяки. Она у меня... хорошій человѣкъ!

ШАЛИМОВЪ (усмѣхаясь).

Почему же ты такъ грустно сказалъ это?

БАСОВЪ

(вполголоса, кивая головой на Суслова).

Ревнуетъ... къ моему помощнику... Понимаешь? А жена у него, — ты обрати вниманіе, — интереснѣйшая женщина!

(Въ глубинѣ поляны проходятъ Соня и Зиминъ)

ШАЛИМОВЪ.

Да? Посмотримъ... Хотя эта Марья Львовна сильно отбиваетъ охоту знакомиться со здѣшними женщинами, скажу тебѣ!

БАСОВЪ.

Эта, братъ, совсѣмъ въ другомъ стилѣ. Эта—о! Ты увидишь... (Пауза) А давно ты ничего не печаталъ, Яковъ. Пишешь что-нибудь большое?

ШАЛИМОВЪ (ворчливо).

Ничего я не пишу... скажу прямо... Да! И какого тутъ чорта напишешь, когда совершенно ничего понять нельзя? Люди какіе-то запутанные, скользкіе, неуловимые...

БАСОВЪ.

А ты такъ и пиши — ничего, молъ, не понимаю! Главное, братъ, въ писателѣ искренность.

ШАЛИМОВЪ.

Спасибо за совѣтъ!.. Искренность... не въ этомъ дѣло, другъ мой! Искренно-то я, можетъ быть, одно могъ бы сдѣлать: бросить перо и, какъ Діоклетіанъ, капусту садить... (Нищіе тихо поютъ за угломъ дачи Басова: „Благодѣтели и кормильцы, милостыньку Христа ради, для праздничка Христова, поминаючи родителей“. Изъ-за сцены появляется Пустобайка—идетъ гнать нищихъ) Но — надо кушать, значитъ,

надо писать. А для кого? Не понимаю... Нужно ясно представить себѣ читателя, какой онъ? Кто онъ? Лѣтъ пять назадъ я былъ увѣренъ, что знаю читателя... и знаю, чего онъ хочетъ отъ меня... И вдругъ, незамѣтно для себя, потерялъ я его... Потерялъ, да. Въ этомъ драма, пойми! Теперь вотъ, говорятъ, родился новый читатель... Кто онъ?

БАСОВЪ.

Я тебя не понимаю... Что это значитъ потерять читателя? А я... а всѣ мы—интеллигенція страны—развѣ мы не читатели? Не понимаю... Какъ же насъ можно потерять? а?

ШАЛИМОВЪ (задумчиво).

Конечно... интеллигенція—я не говорю о ней... да... А вотъ есть еще... этотъ... новый читатель.

БАСОВЪ

(трясетъ головой).

Ну? Не понимаю.

ШАЛИМОВЪ.

И я не понимаю... но чувствую. Иду по улицѣ и вижу какихъ-то людей... У нихъ совершенно особенныя физіономіи... и глаза... Смотрю я на нихъ и чувствую: не будутъ они меня читать... не интересно имъ это... А зимой читалъ я на одномъ вечерѣ и тоже... вижу—смотритъ на меня множество глазъ, внимательно, съ любопытствомъ смотрятъ, но это чужіе мнѣ люди, не любятъ они меня. Не нуженъ я имъ... какъ латинскій языкъ... Старъ я для нихъ... и всѣ мои мысли—стары... И я не понимаю, кто они? Кого они любятъ? Чего имъ надо?

БАСОВЪ.

Н-да... это любопытно! Только, я думаю—первы это, а? Вотъ поживешь здѣсь, отдохнешь, успокоишься,

читатель найдется... Главное въ жизни спокойное, внимательное отношеніе ко всему... вотъ какъ я думаю... Пойдемъ въ комнаты! И того, Яша, попрошу тебя! Ты, знаешь, такъ какъ-нибудь... эдакъ—павлиномъ!

ШАЛИМОВЪ (изумленно).

Что-о? Какъ это павлиномъ? Зачѣмъ это?

БАСОВЪ (таинственно).

Такъ, знаешь, распусти хвостъ на всѣ перья! Передъ Варей... передъ женой моей... развлеки ее... заинтересуй, по дружбѣ...

ШАЛИМОВЪ (не сразу).

Нужно, значитъ, сыграть роль громоотвода. Ты... чудакъ! Ну, что же, ладно!

БАСОВЪ.

Да, нѣтъ, ты не думай... она милая! Только, знаешь, такъ какъ-то, скучаетъ о чемъ-то... Теперь всѣ скучаютъ... все какія-то настроенія... странные разговоры, вообще, канитель! Кстати, ты женатъ? т. е. я слышалъ, что ты развелся съ женой.

ШАЛИМОВЪ.

И снова былъ женатъ, и снова развелся... Трудно, скажу тебѣ, найти въ женщинѣ товарища.

БАСОВЪ.

Н-да! Это вѣрно! Это, другъ мой, вѣрно...

(Уходятъ въ комнаты. Дама въ желтомъ платьѣ и молодой человѣкъ въ клѣтчатомъ костюмѣ выходятъ изъ лѣса)

ДАМА.

Еще никого нѣтъ? А назначено въ шесть часовъ... Какъ это вамъ нравится?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

Собственно говоря, я—герой...

ДАМА.

Представьте! Я такъ и думала...

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

Да, я герой... А онъ даетъ мнѣ комическія роли. Нелѣпо же, согласитесь!

ДАМА.

Они все хорошенькое—для себя...

(Проходятъ направо въ лѣсъ. Съ другой стороны являются Соня и Зиминъ. Въ глубинѣ сцены Сусловъ медленно идетъ по направленію къ своей дачѣ)

ЗИМИНЪ (вполголоса).

Ну, я туда не пойду, Соня... Такъ вотъ... завтра, значитъ, я ѣду...

СОНЯ

(въ тонъ ему).

Хорошо... поѣзжай. Будь остороженъ, Максъ, я прошу тебя!

ЗИМИНЪ

(беретъ ея руку).

И ты... пожалуйста.

СОНЯ.

Ну, до свиданья! Недѣли черезъ три увидимся... не раньше?

ЗИМИНЪ.

Нѣтъ, не раньше... до свиданья, милая Соня! Ты безъ меня...

(Смущается, молчитъ)

СОНЯ

Что?

ЗИМИНЪ.

Такъ... Глупость. До свиданья, Соня...

СОНЯ.

(удерживая его за руку).

Нѣтъ, скажи... ты безъ меня—что?

ЗИМИНЪ.

(негромко, опустивъ голову).

Не выйдешь замужъ?

СОНЯ.

Не смѣй такъ говорить, Максимъ... И думать не смѣй! Слышишь? Это — глупо... а, пожалуй, и гадко, Максимъ... понимаешь?

ЗИМИНЪ

Не надо... Не обижайся. Прости... невольно какъ-то приходятъ въ голову разныя дикія мысли... Говорятъ, человѣкъ не хозяинъ своего чувства...

СОНЯ (горячо).

Это—неправда! Это—ложь, Максимъ! Я хочу, чтобы ты зналъ: это ложь!.. Ее выдумали для оправданія слабости,—помни, Максимъ, я не вѣрю въ это! Иди!..

ЗИМИНЪ (жметъ ея руку).

Хорошо! Я буду помнить это, Соня... буду! Ну, до свиданья, славная моя!

(Зиминъ быстро уходитъ за уголъ дачи. Соня смотритъ ему вслѣдъ и медленно идетъ на террасу, потомъ въ комнаты. Дудаковъ, Власъ и Марья Львовна идутъ справа изъ лѣсу, потомъ за ними

Двоеточіе. Марья Львовна садится на скамью, Двоеточіе рядомъ съ нею. Зѣваетъ)

ДУДАКОВЪ.

Люди—легкомысленны, а жизнь тяжела... почему?

ВЛАСЪ.

Это мнѣ неизвѣстно, докторъ! Продолжаю: ну-съ, такъ вотъ—отецъ мой былъ поваръ и человѣкъ съ фантазіей, любилъ онъ меня жестоко и всюду таскалъ за собою, какъ свою трубку. Я нѣсколько разъ бѣгалъ отъ него къ матери, но онъ являлся къ ней въ прачешную, избивалъ всѣхъ, попадавшихъ ему подъ руку и снова бралъ меня въ плѣнъ. Роковая мысль—заняться моимъ образованіемъ пришла ему въ голову, когда онъ служилъ у архіерея... Поэтому я попалъ въ духовное училище. Но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отецъ ушелъ къ инженеру, а я очутился въ желѣзнодорожной школѣ... а черезъ годъ я уже былъ въ земледѣльческомъ училищѣ, потому что отецъ поступилъ къ предсѣдателю земской управы. Школа живописи и коммерческое училище тоже имѣли честь видѣть меня въ своихъ стѣнахъ. Кратко говоря—въ семнадцать лѣтъ отвращеніе къ наукамъ наполняло меня до совершенной невозможности чему-нибудь учиться, хотя бы даже игрѣ въ карты и куренію табака. Что вы на меня такъ смотрите, Марья Львовна?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (задумчиво).

Грустно это все...

ВЛАСЪ.

Грустно? Но—вѣдь это прошлое!

ЖЕНЩИНА СЪ ПОДВЯЗАННОЙ ЩЕКОЙ.

Господа, — не видали Женичку? Мальчикъ такой... не пробѣгалъ? Въ соломенной шляпочкѣ... Бѣленькій.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Не видали.

ЖЕНЩИНА.

Ахъ ты... грѣхъ какой... Мальчикъ-то господъ Розовыхъ! Бойкенькій такой... а?

ВЛАСЪ.

Не видали, тетенька...

(Женщина бормочетъ что-то и бѣжитъ въ лѣсъ)

ДВОЕТОЧІЕ.

А вы, того, господинъ Черновъ... понимаете...

ВЛАСЪ.

Чего? Не понимаю.

ДВОЕТОЧІЕ.

Нравитесь мнѣ...

ВЛАСЪ.

Ну?

ДВОЕТОЧІЕ.

Право...

ВЛАСЪ.

Я радъ... за васъ!..

(Двоеточіе хохочетъ)

ДУДАКОВЪ.

Скверно вамъ будетъ, Власъ!..

ВЛАСЪ.

Когда?

ДУДАКОВЪ.

Вообще... всегда...

ДВОЕТОЧІЕ.

Конечно, будетъ скверно... потому — человѣкъ пря-

мой... и всякому, понимаете, забавно попробовать, а ну-ка, не согнется ли?

ВЛАСЪ.

Увидимъ! А пока идемте чай пить, а? У насъ, вѣроятно, пьютъ уже...

ДУДАКОВЪ.

Это—хорошее дѣло.

ДВОЕТОЧІЕ.

Я бы пошелъ... Ловко ли?

ВЛАСЪ.

Очень ловко, дѣдушка. Я иду впередъ...

(Убѣгаетъ на дачу, всѣ медленно идутъ за нимъ)

ДВОЕТОЧІЕ.

Пріятный паренекъ...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Да, славный, только вотъ—кривляется...

ДВОЕТОЧІЕ.

Ничего! Это пройдетъ. Въ немъ есть внутренняя честность, знаете... Обыкновенно честность у людей гдѣ-то снаружи прицѣплена, въ родѣ галстуха, что ли... Человѣкъ больше самъ про себя кричитъ: я честный, честный! Но когда, понимаете, дѣвица часто про себя говоритъ: ахъ, я дѣвушка! ахъ, я дѣвушка!—для меня это вѣрный признакъ, что она въ дамки прошла... Хохо! Вы меня простите, Марья Львовна...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Что съ васъ возьмешь...

(Входятъ на террасу и въ комнаты. Сусловъ выходитъ имъ навстрѣчу)

ДВОЕТОЧІЕ.

Ты куда, Петръ?

СУСЛОВЪ.

Такъ... покурить на воздухъ...

(Сусловъ медленно идетъ къ своей дачѣ. Навстрѣчу ему выбѣгаетъ Женщина съ подвязанной щекой. Изъ лѣса выходитъ Господинъ въ цилиндрѣ, останавливается, пожимаетъ плечами)

ЖЕНЩИНА.

Господинъ, не видали вы мальчика? Колечка... то бишь, Женичка... Въ курточкѣ!

СУСЛОВЪ (негромко).

Нѣтъ... уйди прочь!

(Женщина убѣгаетъ)

ГОСПОДИНЪ

(элегантно кланяясь).

М. г., извините... вы не меня ищете?

СУСЛОВЪ (недоумѣвая).

Это не я ищу, это баба ищетъ.

ГОСПОДИНЪ.

Видите ли что.... я приглашенъ играть первую роль въ пьесѣ.

СУСЛОВЪ (идетъ).

Это меня не касается.

ГОСПОДИНЪ (обиженно).

Но, позвольте... кого же это касается? Гдѣ, наконецъ, режиссеръ? Я два часа хожу, ищу... Ушелъ... невѣжа!..

(Идетъ къ сценѣ и скрывается за ней. Ольга Алексѣевна идетъ по дорогѣ съ дачи Суслова)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Здравствуйте, Петръ Ивановичъ!

СУСЛОВЪ.

А... добрый вечеръ!.. Какъ душно!..

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Душно? Мнѣ не кажется...

СУСЛОВЪ (закуривая).

А я вотъ—задыхаюсь... Ходятъ тутъ какіе-то полоумные, ищутъ мальчиковъ, режиссеровъ...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Да, да... Вы что—устали? У васъ трясутся руки.

СУСЛОВЪ

(идетъ съ нею обратно къ дачѣ Басова).

Это... оттого, что я много выпилъ вчера и плохо спалъ...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Зачѣмъ вы пьете?

СУСЛОВЪ.

Чтобъ веселѣе жить...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Вы мужа не встрѣчали?

СУСЛОВЪ.

Онъ у Басовыхъ пьетъ чай...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(появляясь на террасѣ).

Ты ко мнѣ, Оля?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Я гуляю...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

А вы почему ушли, Петръ Ивановичъ?

СУСЛОВЪ (усмѣхаясь).

По землѣ, какъ всегда хожу... Надоѣло слушать рѣчи господина писателя и почтенной Маріи Львовны.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Да? Вамъ не интересно? А вотъ я слушаю.

СУСЛОВЪ

(пожимая плечами).

На здоровье... До свиданья пока...

(Идетъ къ своей дачѣ)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (негромко).

Ты понимаешь, почему онъ такой?..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Нѣтъ... Мнѣ не хочется понимать это. Идемъ въ комнаты?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Посиди со мной, тамъ обойдутся и безъ тебя.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Несомнѣнно. А ты опять разстроена?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Могу ли я быть спокойной, Варя? Онъ пріѣхалъ изъ города, заглянулъ на минутку домой и исчезъ... Меня это не можетъ радовать, согласись...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Онъ у насъ сидитъ.

(Онѣ медленно идутъ къ группѣ елей)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (раздраженно).

Онъ бѣгаетъ отъ меня и дѣтей... Я понимаю, онъ заработался, ему надо отдохнуть... Но вѣдь и я тоже устала... О, какъ я устала! Я ничего не могу дѣлать, у меня все не ладится... это злитъ меня. Онъ долженъ помнить, что молодость мою, всѣ мои силы я отдала ему.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (мягко).

Милая Оля... Мнѣ кажется, что тебѣ нравится жаловаться... нѣтъ? я ошибаюсь?

(Изъ комнатъ доносится глухой шумъ спора, онъ все возрастаетъ)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Не знаю... можетъ быть! Я хочу сказать ему—пусть лучше я уѣду... и дѣти...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Вотъ это такъ! Просто вамъ нужно отдохнуть другъ отъ друга... Поѣзжай, я достану тебѣ денегъ.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Ахъ, я такъ много должна тебѣ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Пустяки это! Успокойся, сядемъ здѣсь.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Я ненавижу себя за то, что не могу жить безъ твоей помощи... ненавижу! Ты думаешь, мнѣ легко брать у тебя деньги... деньги твоего мужа?.. Нельзя уважать себя, если не умѣешь жить... если всю жизнь нужно, чтобы кто-то помогалъ тебѣ, кто-то поддерживалъ тебя... Ты знаешь? Иногда я не люблю и тебя... ненавижу! За то, что вотъ ты такая спокойная, и все только разсуждаешь, а не живешь, не чувствуешь...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Голубчикъ мой, я только умѣю молчать... Я не могу себѣ позволить жалобъ—вотъ и все!..

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Тѣ, которые помогаютъ, должны въ душѣ презирать людей... Я сама хочу помогать.

(На дачу Басовыхъ быстро проходитъ Рюминъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Чтобы презирать людей?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Да! да! Я—не люблю ихъ! Не люблю Марью Львовну,—зачѣмъ она всѣхъ такъ строго судитъ? Не люблю Рюмина,—онъ все философствуетъ и ничего не смѣетъ, не можетъ. И мужа твоего не люблю: онъ сталъ мягкій, какъ тѣсто, онъ боится тебя, развѣ это хорошо? А твой братъ... влюбленъ въ эту резонерку, въ эту злую Марью Львовну...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(удивленно, съ упрекомъ).

Ольга! Что съ тобой? Это нехорошо! послушай...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Да! да! Пускай не хорошо! А эта гордая Калерія!.. Говоритъ о красотѣ... а самой просто хочется замужъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(строго и холодно).

Ольга! Ты не должна давать воли этому чувству... оно тебя заведетъ въ такой темный уголъ...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА

(негромко, но сильно и со злостью).

Мнѣ все равно!.. Все равно, куда я приду, лишь бы

выйти изъ этой скучной муки! Я жить хочу! Я не хуже другихъ! Я все вижу, я не глупая... Я вижу, что ты тоже... о, я понимаю!.. Тебѣ хорошо жить. Да, твой мужъ богатъ... онъ не очень щепетиленъ въ дѣлахъ, твой мужъ... это всѣ говорятъ про него. Ты должна знать это!.. Ты сама тоже... Ты устроилась какъ-то такъ, чтобы не имѣть дѣтей...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(медленно встаетъ и смотритъ въ лицо Ольги изумленными глазами).

Устроилась? Ты... что ты хочешь сказать?..

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (смущенно).

Я ничего не говорю особеннаго... я только хотѣла сказать... мнѣ мужъ говорилъ, что многія женщины не хотятъ дѣтей...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я не понимаю тебя, но я чувствую,—ты подозрѣваешь меня въ чемъ-то гадкомъ... Я не хочу знать, въ чемъ именно...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Варя, не говори такъ, не смотри на меня... Вѣдь это правда. твой мужъ... о немъ дурно говорятъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(вздрагивая, задумчиво).

Ты, Ольга, была мнѣ, какъ родная... Если бы я не знала, какъ тяжело тебѣ жить... если бы не помнила, что когда-то мы обѣ съ тобой мечтали не о такой жизни...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (искренно).

Ну, прости меня... прости. Я—злая...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Мечтали о хорошей, яркой жизни и вмѣстѣ оплакали эти мечты... Мнѣ очень больно, Ольга... Ты хотѣла этого? Мнѣ больно!

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Не говори... не говори такъ, Варя!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я уйду... (Ольга Алексѣевна встаетъ) Нѣтъ! не ходи за мной... не надо...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Ты... навсегда... Варя?.. Ты—навсегда?..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Молчи... Подожди... Я не понимаю, за что ты меня?..

(Двоеточіе быстро сходитъ съ террасы, хохочетъ и, подойдя къ Варварѣ Михайловнѣ, беретъ ее за руку)

ДВОЕТОЧІЕ.

Сбѣжалъ я, сударыня! Красивенькій философъ—господинъ Рюминъ—загонялъ меня до полнаго конфуза! Въ премудростяхъ я не смышленъ и противиться ему никакъ не могу... Такъ и увязъ я въ рѣчахъ его... точно тараканъ въ патокѣ... Сбѣжалъ, ну его!.. Лучше съ вами потолкую... ужъ очень вы мнѣ, старому лѣшему, нравитесь, право! А что у васъ личико эдакое... какъ бы опрокинутое?

(Смотритъ на Ольгу Алексѣевну. Смущенно крякаетъ)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (кротко).

Мнѣ уйти, Варя?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (твердо).

Да... (Ольга Алексѣевна быстро идетъ въ глубину сцены. Варвара Михайловна смотритъ ей вслѣдъ, обращается къ Двоеточію) Вы говорите... что такое? Простите... я...

ДВОЕТОЧІЕ

(дружески, просто).

Эхъ, сударыня! Смотрю я на васъ: нехорошо вамъ тутъ, понимаете? Нехорошо, правда?

(Хохочетъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(оглядывая его съ головы до ногъ, спокойно, ровно).

Послушайте, Семенъ Семеновичъ, вы не можете объяснить мнѣ, кто далъ вамъ право говорить со мной... въ этомъ странномъ тонѣ?

ДВОЕТОЧІЕ.

Хо-хо-хо! Э! бросьте! Право это даетъ мнѣ старость моя и—опытъ мой...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Извините меня... но мнѣ кажется... этого слишкомъ мало, чтобы такъ безцеремонно вторгаться...

ДВОЕТОЧІЕ (добродушно).

Никуда я не вторгаюсь, а вижу я—чужая вы всѣмъ тутъ... и я чужой... ну вотъ, и того... понимаете... захотѣлось мнѣ сказать вамъ что-то... ну, видно, не сумѣлъ... извините, коли такъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (усмѣхаясь).

Простите и вы меня... я, кажется, грубо сказала вамъ... но, право, мнѣ странно, я не привыкла къ такому отношенію.

ДВОЕТОЧІЕ.

Понимаю... Вижу, что не привыкли... гдѣ тутъ привыкнуть! Пойдемте, погуляемъ, а! Уважьте старика!..

(Семеновъ влетаетъ на велосипедѣ и подкатывается прямо къ ногамъ Двоеточія).

ДВОЕТОЧІЕ (испуганно).

Куда вы, сударь мой? Что вы?

СЕМЕНОВЪ (задыхаясь).

Извините... уже кончилась?..

ДВОЕТОЧІЕ.

Что кончилось?.. Богъ съ вами!

СЕМЕНОВЪ.

Такая досада!.. Лопнула шина!.. Я, видите, сегодня на двухъ репетиціяхъ...

ДВОЕТОЧІЕ.

Да мнѣ-то какое дѣло до этого?..

СЕМЕНОВЪ.

Вы не участвуете? Извините! Я думалъ, вы въ гримѣ...

ДВОЕТОЧІЕ

(Варварѣ Михайловнѣ).

Что такое?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (Семенову).

Вы на репетицію?

СЕМЕНОВЪ.

Да, и вотъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Еще не начинали.

СЕМЕНОВЪ (радостно).

О, благодарю васъ! Это очень досадно... я всегда такъ аккуратенъ!

ДВОЕТОЧІЕ.

Чего же вамъ досадно?

СЕМЕНОВЪ (любезно).

Т. е. было бы досадно, если бы я опоздалъ... Извиняюсь.

(Отходитъ, раскланиваясь, къ сценѣ)

ДВОЕТОЧІЕ.

Вотъ чудовищное насѣкомое! Наѣхалъ... Извольте радоваться! Уйдемте прочь отсюда, Варвара Михайловна, а то еще наскочитъ какой-нибудь, эдакій... брандахлыстъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (разсѣянно).

Пойдемте... я возьму платокъ... я сейчасъ.

(Уходитъ на дачу, Семеновъ подходитъ къ Двоеточію)

СЕМЕНОВЪ.

Тамъ еще ѣдутъ... двѣ барышни и юнкеръ...

ДВОЕТОЧІЕ.

Ага? Ѣдутъ? Пріятно мнѣ слышать это...

СЕМЕНОВЪ.

Они должны сейчасъ явиться... Знаете, это тотъ юнкеръ, у котораго сестра застрѣлилась...

ДВОЕТОЧІЕ.

Тотъ самый... Скажите!..

СЕМЕНОВЪ.

Неправда ли, какой сенсаціонный случай... барышня и вдругъ—стрѣляется?

ДВОЕТОЧІЕ.

М-да... Дѣйствительно... случай...

СЕМЕНОВЪ.

А я подумалъ, что вы въ гримѣ... У васъ такіе волосы и лицо, точно гримъ.

ДВОЕТОЧІЕ.

Покорно васъ благодарю...

СЕМЕНОВЪ.

Я не льщу вамъ... повѣрьте...

ДВОЕТОЧІЕ.

Я—вѣрю... Только не понимаю... чѣмъ тутъ... польстить можно?

СЕМЕНОВЪ.

Какъ же! Въ гримѣ человѣкъ всегда красивѣе, чѣмъ въ натурѣ. А скажите, вы не декораторъ, нѣтъ?

(Изъ лѣса выходитъ Сусловъ, въ глубинѣ сцены является Дама въ желтомъ и молодой человѣкъ въ клѣтчатомъ костюмѣ)

ДВОЕТОЧІЕ.

Нѣтъ... я просто дядя вонъ этого господина...

ДАМА ВЪ ЖЕЛТОМЪ.

Господинъ Сазановъ!

СЕМЕНОВЪ.

Это меня зовутъ. Вотъ, знаете, странно... у меня такая простая фамилія, а никто не запоминаетъ... До свиданья!

(Идетъ на зовъ, оживленно кланяясь дамѣ)

СУСЛОВЪ (подходитъ).

Жену не видали? (Двоеточіе отрицательно киваетъ головой и облегченно вздыхаетъ) На дачѣ собрались эти... артисты...

ДВОЕТОЧІЕ.

Ко мнѣ вотъ этотъ репей присталъ... декораторомъ меня назвалъ... Спиноза тонконогая! Тоже мѣсто на землѣ занимаетъ!.. Опять спорятъ! Ну!

(Изъ комнатъ дачи выходятъ: Калерія, Шалимовъ, Рюминъ, Варвара Михайловна. Двоеточіе идетъ имъ навстрѣчу, внимательно слушаетъ споръ. Сусловъ садится на его мѣсто, угрюмо глядя на спорящихъ)

ШАЛИМОВЪ (утомленно).

Нѣтъ, я готовъ бѣжать отъ нея на сѣверный полюсъ... невыносимо горяча она!

РЮМИНЪ.

Меня положительно возмущаетъ ея деспотизмъ. Люди этого типа преступно нетерпимы... Почему они полагаютъ, что всѣ должны принимать ихъ вѣрованія!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(пристально смотритъ на всѣхъ).

Укажите имъ что-нибудь болѣе великое и красивое, чѣмъ эти вѣрованія!

КАЛЕРІЯ.

Ты называешь великимъ и красивымъ эти холодныя, лишенныя поэзіи мечты о всеобщей сытости?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (волнуясь).

А я не знаю... Я не вижу ничего болѣе яркаго... (Шалимовъ внимательно прислушивается къ словамъ Варвары Михайловны) Я не умѣю говорить... Но, господа, я сердцемъ чувствую: надо, необходимо пробудить въ людяхъ сознаніе своего достоинства во всѣхъ людяхъ... во всѣхъ! Тогда никто изъ насъ не будетъ оскорблять другого... Вѣдь мы не умѣемъ уважать человѣка, и это такъ больно... обидно...

КАЛЕРІЯ.

Ахъ, Боже мой! Да не Марья же Львовна можетъ научить этому!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Вы всѣ относитесь къ ней такъ враждебно... Зачѣмъ?

РЮМИНЪ.

Она сама—прежде всѣхъ!.. Она раздражаетъ... Когда я слышу, какѣ люди опредѣляютъ смыслъ жизни, мнѣ кажется, что кто-то грубый, сильный обнимаетъ меня жесткими объятіями и давитъ, хочетъ изуродовать...

КАЛЕРІЯ.

Какъ тяжело, тѣсно жить среди такихъ людей!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

А среди людей, которые все только жалуются на жизнь, — весело, легко, Калерія? Будемъ справедливы... развѣ легко и свободно жить среди людей, которые все только стонутъ, все кричатъ о себѣ, насыщаютъ жизнь жалобами и ничего, ничего больше не вносятъ въ нее?.. Что вносимъ въ жизнь всѣ мы... вы, я, ты?

РЮМИНЪ.

А она?.. А Марья Львовна? Вражду?

КАЛЕРІЯ.

Забытыя слова—забыты и прекрасно! Живые люди не могутъ жить завѣтами покойниковъ.

(Около сцены собираются любители. Пустобайка на сценѣ разставляетъ стулья)

ДВОЕТОЧІЕ.

А вамъ бы, Варвара Михайловна, не волноваться такъ, а? Прекратить бы разговорецъ-то? Пойдемте гулять... вы обѣщали.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Да... я пойду! Я не умѣю сказать, что чувствую... что хочу... не умѣю! Какъ это обидно... быть умственно-нѣмой...

ШАЛИМОВЪ.

Свидѣтельствую, что это неправда... Вы позволите идти съ вами?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Пожалуйста, идите...

ДВОЕТОЧІЕ.

Пойдемте къ рѣчкѣ... въ бесѣдку. Чего вы горячитесь, сударыня моя?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ахъ... я чувствую какое-то тяжелое недоразумѣніе.

(Уходятъ по дорогѣ въ лѣсъ. Сусловъ смотритъ вслѣдъ имъ и усмѣхается)

РЮМИНЪ

(смотритъ имъ вслѣдъ).

Какъ она оживилась... когда пріѣхалъ этотъ... Шалимовъ... Какъ она говоритъ! А что такое онъ? Вѣдь

она видитъ,—онъ исписался, потерялъ почву подъ собой... и когда онъ говоритъ увѣренно, онъ лжетъ себѣ, обманываетъ другихъ.

КАЛЕРІЯ.

Она это знаетъ; вчера вечеромъ, послѣ разговора съ нимъ, она плакала, какъ разочарованное дитя... Да... Издали онъ казался ей сильнымъ, смѣлымъ, она ожидала, что онъ внесетъ въ ея пустую жизнь что-то новое, интересное...

(Изъ-за угла дачи Басова идутъ Замысловъ и Юлія Филипповна. Онъ что-то шепчетъ ей, она смѣется. Сусловъ это видитъ)

РЮМИНЪ.

Пойдемте въ комнаты. Сыграйте что-нибудь, пожалуйста... хочется музыки...

КАЛЕРІЯ.

Пойдемте... Да, грустно жить, когда кругомъ тебя все такъ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Смотрите: артисты наши уже пришли. Репетиція въ шесть, а теперь?

ЗАМЫСЛОВЪ.

А теперь семь съ половиной. Но раньше опаздывали только вы, а теперь—всѣ. Плоды вашего вліянія.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Это—дерзость?..

ЗАМЫСЛОВЪ.

Это — комплиментъ. Я на секунду забѣгу къ патрону, вы позволите?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Скорѣе!

(Замысловъ уходитъ на дачу Басовыхъ. Юлія Филипповна — къ группѣ деревьевъ, напѣвая, видитъ мужа)

СУСЛОВЪ.

А, гдѣ была?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Тамъ... И тамъ...

(Около сцены дама въ желтомъ, молодой человѣкъ, Семеновъ, юнкеръ и двѣ барышни. На сценѣ Пустобайка съ грохотомъ ставитъ столъ. Смѣхъ, отдѣльныя восклицанія: „Господа!“ — „Гдѣ режиссеръ?“—„Г. Степановъ!“—„Онъ здѣсь, я видѣлъ“. —„Опоздаемъ мы“. —„Въ городъ!“—„Извините Семеновъ, а не Степановъ!“)

СУСЛОВЪ.

Все съ нимъ?.. Съ этимъ... такъ открыто... чѣмъ ты рисуешься, Юлія? Надо мной уже смѣются. Ты понимаешь?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Уже смѣются?... Это скверно...

СУСЛОВЪ.

Намъ нужно объясниться... Я не могу позволить тебѣ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Мнѣ не улыбается роль жены человѣка, надъ которымъ смѣются...

СУСЛОВЪ.

Берегись, Юлія!.. Я способенъ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Быть грубымъ, какъ извозчикъ?—я знаю...

СУСЛОВЪ.

Не смѣй говорить такъ! Развратная!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА

(негромко, спокойно).

Мы кончимъ эту сцену дома. Сюда идутъ... Ты ушелъ бы... У тебя такое лицо...

(Брезгливо вздрагиваетъ. Сусловъ дѣлаетъ шагъ къ ней, но быстро отступаетъ и, сказавъ сквозь зубы свою фразу, исчезаетъ въ лѣсу)

СУСЛОВЪ.

Когда-нибудь... я застрѣлю тебя!..

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА

(вслѣдъ ему).

Это—не сегодня? да? (Напѣваетъ) „Уже утомившійся день“... (Голосъ у нея дрожитъ) „Склонился въ багряныя воды“...

(Смотритъ широко открытыми глазами впередъ и медленно опускаетъ голову. Съ дачи Басова выходятъ: Марья Львовна, очень взволнованная, Дудаковъ и Басовъ съ удочками)

БАСОВЪ

(распутывая лесу).

Уважаемая... Надо быть мягче, надо быть добрѣе... всѣ мы—люди... Чортъ бы взялъ того, кто спуталъ мои удочки!..

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Позвольте!

ДУДАКОВЪ.

Видите ли, человѣкъ устаетъ...

БАСОВЪ.

Нельзя же такъ, уважаемая! По вашему выходитъ

что если писатель, такъ ужъ это непремѣнно какой-то эдакій... герой, что ли? Вѣдь это, знаете, не всякому писателю удобно.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Мы должны всегда повышать наши требованія къ жизни и людямъ.

БАСОВЪ.

Это такъ... Повышать —да! Но въ предѣлахъ возможнаго... Все совершается постепенно... Эволюція! Эволюція! Вотъ чего не надо забывать!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Я не требую... невозможнаго... Но мы живемъ въ странѣ, гдѣ только писатель можетъ быть глашатаемъ правды, безпристрастнымъ судьею пороковъ своего народа и борцомъ за его интересы... Только онъ можетъ быть такимъ, и такимъ долженъ быть русскій писатель...

БАСОВЪ.

Ну, да, конечно... однако...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(сходитъ съ террасы).

Я этого не вижу въ вашемъ другѣ, не вижу, нѣтъ! Чего онъ хочетъ? Чего ищетъ? Гдѣ его ненависть? Его любовь? Его правда? Кто онъ: другъ мой? врагъ? Я этого не понимаю...

(Быстро уходитъ за уголъ дачи)

БАСОВЪ

(распутывая удочки).

Уважаю я васъ, Марья Львовна, за эту... кипучесть... Исчезла?.. Нѣтъ! Вы скажите мнѣ, чего она горячится? Вѣдь даже гимназистамъ извѣстно, что писатель дол-

женъ быть честенъ... ну, и тамъ... дѣйствовать насчетъ народа и прочее, а солдатъ долженъ быть храбръ, адвокатъ же уменъ... Такъ нѣтъ, эта неукротимая женщина все-таки долбитъ зады... Пойдемте, милый докторъ, поймаемъ окуня... Кто это спуталъ удочки? Чортъ!

ДУДАКОВЪ.

Д-да... много она говоритъ, — по умному... Очень просто жить ей... Практика у нея есть, потребности небольшія.

БАСОВЪ.

А этотъ Яшка—шельмецъ! Вы замѣтили, какъ онъ ловко выскальзывалъ, когда она припирала его въ уголъ? (Смѣется) Красиво говоритъ онъ, когда въ ударѣ! А хоть и красиво, однако, послѣ своей первой жены, съ которой, кстати сказать, онъ и жилъ всего полгода... а потомъ бросилъ ее...

ДУДАКОВЪ.

Т. е. разошелся, говорятъ въ этихъ случаяхъ.

БАСОВЪ.

Ну, скажемъ, разошелся... а теперь вотъ, когда она умерла, хочетъ ея имѣньишко къ своимъ рукамъ прибрать. Ловко?

ДУДАКОВЪ.

Н-но! Очень неловко. Это лишнее!..

БАСОВЪ.

А онъ вотъ находитъ, что нелишнее... дорогой мой докторъ! Идемъ на рѣку...

ДУДАКОВЪ.

А, знаете, что...

БАСОВЪ.

Что именно?

ДУДАКОВЪ

(задумчиво, медленно).

Вамъ не странно, т. е. васъ не удивляетъ, что мы не опротивѣли другъ другу, а?

БАСОВЪ (останавливается).

Что-о? Вы это серьезно?

ДУДАКОВЪ.

Вполнѣ серьезно... Вѣдь ужасно пустые люди всѣ мы... вамъ не кажется это?

БАСОВЪ (идетъ).

Нѣтъ, не кажется... Я здоровъ... Я, вообще, нормальный человѣкъ, извините...

ДУДАКОВЪ.

Нѣтъ... вы безъ шутокъ...

БАСОВЪ.

Шутки? Послушайте... вы, того, докторъ... однимъ словомъ: врачу, исцѣлися самъ! Кстати спрошу васъ— вы меня въ воду не столкнете, а?

ДУДАКОВЪ

(серьезно, пожимая плечами).

Зачѣмъ же?

БАСОВЪ (идетъ).

А такъ... вообще... странное у васъ... настроеніе.

ДУДАКОВЪ (угрюмо).

Трудно говорить серьезно съ вами...

БАСОВЪ.

[redacted]не говорите... не надо! А то вы очень ужъ ори-

гинально понимаете серьезный разговоръ... Не будемъ говорить серьезно!

(Басовъ и Дудаковъ уходятъ. Справа выходятъ Соня и Власъ. Изъ дачи Басова—Замысловъ, онъ торопливо бѣжитъ къ сценѣ, его встрѣчаютъ шумомъ. Около него собирается тѣсная группа, онъ что-то объясняетъ)

СОНЯ.

Не вѣрю я въ ваши стихи.

ВЛАСЪ.

И напрасно... у меня есть талантливыя вещицы, напримѣръ:

Какъ персикъ, такъ и ананасъ
Природой созданъ не для насъ.
О Власъ! Не пяль напрасно глазъ
На персикъ и на ананасъ!

СОНЯ (смѣясь).

Зачѣмъ вы тратите себя на пустяки? Почему бы вамъ не попробовать отнестись къ себѣ болѣе серьезно?

ВЛАСЪ

(тихо, таинственно).

Премудрая Софія, я пробовалъ! У меня даже есть стихотвореніе, написанное по поводу этихъ пробъ:

(Напѣваетъ гнусаво и негромко на мотивъ „Подъ вечеръ осенью ненастной“)

Великъ для маленькаго дѣла,
Для дѣла крупнаго я—малъ!

СОНЯ (серьезно).

Бросьте это! Вѣдь я чувствую, вамъ совсѣмъ не хочется дурить... Скажите мнѣ, какъ бы вы хотѣли жить? —

ВЛАСЪ (съ жаромъ).

Хорошо! Очень хорошо хочу я жить!

СОНЯ.

Что же вы дѣлаете для этого?

ВЛАСЪ (уныло).

Ничего! совершенно ничего не дѣлаю я!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (изъ лѣса).

Соня!

СОНЯ.

Я—здѣсь. Ты что?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Иди домой... Къ тебѣ пріѣхали гости...

СОНЯ.

Иду... (Марья Львовна подходитъ) Поручаю тебѣ этого римасника. Онъ городитъ чепуху и требуетъ, чтобы го хорошенько отчитали за это.

(Убѣгаетъ)

ВЛАСЪ (покорно).

Ну, начинайте... Дщерь ваша піявила меня всю дорогу отъ станціи до сего пункта, но я еще дышу.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (ласково).

Голубчикъ! Зачѣмъ дѣлать изъ себя шута? Зачѣмъ нижать себя... Кому это нужно?

ВЛАСЪ

(не глядя на нее).

Не нужно, говорите вы... Но—никто не смѣется, а чу, чтобы смѣялись!.. (Вдругъ—горячо, просто, искренно) [redacted]ѣ, Марья Львовна, нелѣпо мнѣ... Всѣ эти

люди... я ихъ не люблю... не уважаю: они жалкіе, они маленькіе, въ родѣ комаровъ... Я не могу серьезно говорить съ ними... они возбуждаютъ во мнѣ скверное желаніе кривляться, но кривляться болѣе открыто, чѣмъ они... У меня голова засорена какимъ-то хламомъ... Мнѣ хочется стонать, ругаться, жаловаться... Я, кажется, начну пить водку, чортъ побери! Я не могу, не умѣю жить среди нихъ иначе, чѣмъ они живутъ... и это меня уродуетъ... И я отравлюсь пошлостью. Вотъ они... Слышите?—идутъ! Иногда я смотрю на нихъ съ ужасомъ... Уйдемте! Я хочу, такъ жадно хочу говорить съ вами!..

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(беретъ его подъ руку).

Если бы вы знали, какъ я рада видѣть васъ такимъ...

ВЛАСЪ.

Вы не повѣрите—порой такъ хочется крикнуть всѣмъ что-то злое, рѣзкое, оскорбительное...

(Уходятъ въ лѣсъ. Шалимовъ, Юлія Филипповна и Варвара Михайловна выходятъ съ правой стороны)

ШАЛИМОВЪ.

Ай, опять серьезныя слова — пощадите! Я усталъ быть серьезнымъ... Я не хочу философіи—сытъ. Дайте мнѣ пожить растительной жизнью, укрѣпить нервы... я хочу гулять, ухаживать за дамами...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Вы ухаживаете за дамами, не безпокоя своихъ нервовъ? Это, должно быть, оригинально... Почему же вы не ухаживаете за мной?

ШАЛИМОВЪ.

Не премину воспользоваться вашимъ любезнымъ разрѣшеніемъ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Я не разрѣшаю, а спрашиваю...

ШАЛИМОВЪ.

Но, все-таки, я буду смотрѣть на вопросъ вашъ, какъ на любезное разрѣшеніе.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Ну, хорошо, оставимъ это... Отвѣчайте на мой вопросъ... Но правдиво!

ШАЛИМОВЪ.

Извольте: я допускаю дружбу съ женщиной, но не считаю ее устойчивой... природу не обманешь!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Иначе — вы допускаете дружбу, только какъ предисловіе любви?

ШАЛИМОВЪ.

Любовь! — Я смотрю на нее серьезно... Когда я люблю женщину, я хочу поднять ее выше надъ землей.. Я хочу украсить ея жизнь всѣми цвѣтами чувства и мысли моей..

ЗАМЫСЛОВЪ.

Юлія Филипповна, пожалуйте!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Иду! Пока до свиданья, господинъ цвѣтоводъ! Приведите въ порядокъ вашу оранжерею...

(Идетъ къ сценѣ)

ШАЛИМОВЪ.

Немедленно! Какая милая, веселая... Вы что такъ странно смотрите на меня, Варвара Михайловна?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Къ вамъ удивительно идутъ ваши усы...

ШАЛИМОВЪ (улыбаясь).

Да? Благодарю васъ. Вамъ не нравится мой тонъ? Вы строги... Но—право же, съ ней какъ-то неловко говорить въ иномъ тонѣ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я, кажется, теряю способность удивляться...

ШАЛИМОВЪ.

Я понимаю—вамъ странно видѣть меня такимъ? да? Но вѣдь нельзя же быть столь крикливо-откровеннымъ, какъ истеричный господинъ Рюминъ... О, простите!—это, кажется... вашъ... другъ?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(отрицательно качаетъ головой).

У меня нѣтъ друзей...

ШАЛИМОВЪ.

Я слишкомъ уважаю жизнь своей души для того, чтобы открывать ее предъ... каждымъ любопытнымъ человѣкомъ. Пиѳагорейцы сообщали свои тайны только избраннымъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Вотъ, ваши усы становятся лишними на вашемъ лицѣ!

ШАЛИМОВЪ.

Э! Что усы! Оставимъ ихъ въ покоѣ. Вы знаете пословицу: съ волками жить — по волчьи выть? Это, скажу вамъ, недурная пословица. Особенно для того, кто выпилъ до дна горькую чашу одиночества... Вы, должно быть, еще не вполнѣ насладились имъ... и

вамъ трудно понять человѣка, который... Впрочемъ, не смѣю задерживать васъ...

(Кланяется и идетъ къ сценѣ, гдѣ собравшаяся публика молча смотритъ, какъ Замысловъ, съ книгой въ рукѣ, тоже молча крадется по сценѣ, показывая Семенову, какъ надо играть. Изъ дачи поспѣшно идетъ Басовъ съ удочками)

БАСОВЪ.

Варя! Какой клевъ! Изумительно! Докторъ, при всей его неспособности, и то — сразу — бацъ! Вотъ какого окуня!.. Дядя—трехъ... (Оглядывается) Ты знаешь, сейчасъ иду сюда и вдругъ—представь себѣ! Тамъ, около бесѣдки, у сухой сосны, Власъ на колѣняхъ передъ Марьей Львовной! И цѣлуетъ руки!.. Каково? Голубчикъ мой, скажи ты ему—вѣдь онъ же мальчишка! Вѣдь она ему въ матери годится!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (негромко).

Сергѣй, послушай: пожалуйста, молчи объ этомъ... ни слова никому! Ты не понимаешь!.. Ты невѣрно понялъ... Я боюсь, ты разскажешь всѣмъ... и это будетъ нехорошо—пойми.

БАСОВЪ.

Что ты волнуешься такъ? Ну, не надо говорить и не надо! Но, какъ это глупо, а? И Марья Львовна...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Дай мнѣ честное слово, что ты забудешь объ этомъ Дай!

БАСОВЪ.

Честное слово?.. Даю... Чортъ съ ними! Но объясни мнѣ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я ничего не могу объяснить... но я знаю, что это не то, о чемъ ты думаешь... это—не романъ!..

БАСОВЪ.

Ага! М-да! Не романъ? Гмъ! А что же, Варя? Ну, ну, молчу, не волнуйся! Я иду ловить окуней и—ничего не видалъ! Ахъ, да, постой! Ты знаешь, этотъ Яшка,—вотъ скотина, а?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (испуганно).

Что такое, Сергѣй? Что еще?

БАСОВЪ.

Да что ты такъ... курьезно относишься ко всему? Эта исторія совсѣмъ въ другомъ родѣ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА
(негромко, брезгливо).

Послушай... Я ничего не хочу знать... пойми меня! Не хочу, Сергѣй!

БАСОВЪ
(удивленно, быстро).

Да ничего особеннаго нѣтъ, чудачка ты... Что съ тобой? Просто онъ хочетъ оттягать землю у сестры своей покойной жены, съ которой онъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА
(брезгливо, съ болью).

Прошу тебя—молчи!.. прошу тебя! Неужели ты не понимаешь... не говори, Сергѣй!

БАСОВЪ (обиженно).

Тебѣ надо лѣчить нервы, Варя! Извини, но—странно ты ведешь себя... И даже обидно!.. да!

(Басовъ быстро уходитъ, Варвара Ми-

Хайловна тихо идетъ по террасѣ. Около стѣны шумъ, смѣхъ.

ЗАМЫСЛОВЪ.

Сторожъ! Гдѣ фонарь?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Господинъ Сомовъ! Гдѣ моя роль?

СЕМЕНОВЪ.

Семеновъ, если позволите!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Пожалуйста!

ЗАМЫСЛОВЪ.

Вниманіе, господа! Мы начинаемъ!

ЗАНАВѢСЪ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Поляна въ лѣсу. Въ глубинѣ ея, подъ деревьями, вокругъ ковра, уставленнаго закусками и бутылками, расположились: Басовъ, Двоеточіе, Шалимовъ, Сусловъ, Замысловъ; направо отъ нихъ, въ сторонѣ, большой самоваръ; около него Саша моетъ посуду, лежитъ Пустобайка и куритъ трубку, около него—весла, корзины, желѣзное ведро. На первомъ планѣ съ лѣвой стороны—разбитая копна сѣна и большой пень, съ корнемъ вывороченный изъ земли. На сѣнѣ сидятъ: Калерія, Варвара Михайловна и Юлія Филипповна. Басовъ разсказываетъ что-то вполголоса, мужчины внимательно слушаютъ его. Съ правой стороны иногда доносится голосъ Сони, брепчитъ балалайка, кто-то играетъ на гитарѣ. Вечеретъ.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Скученъ нашъ пикникъ.

КАЛЕРІЯ.

Какъ наша жизнь.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Мужчинамъ—весело.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Они много выпили и теперь, вѣроятно, разсказываютъ другъ другу неприличные анекдоты.

(Пауза. Соня: „Не такъ... Медленнѣе!"—Звучитъ гитара. Двоеточіе хохочетъ)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Я тоже выпила... но это меня не веселитъ: напротивъ... когда я выпью рюмку крѣпкаго вина, я чувствую себя болѣе серьезной... жить мнѣ хуже... и хочется сдѣлать что-то безумное.

КАЛЕРІЯ (задумчиво).

Все—спутано... неясно... и пугаетъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Что пугаетъ?

КАЛЕРІЯ.

Люди... Ненадежные они всѣ... Никому не вѣришь...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Да. Именно ненадежны. Я понимаю тебя.

(Басовъ съ армянскимъ акцентомъ: „Зачѣмъ, душа моя? мнѣ и такъ очень превосходно".— Общій смѣхъ мужчинъ)

КАЛЕРІЯ.

Нѣтъ, не понимаешь! И я тебя не понимаю. И никто никого не понимаетъ... не хочетъ понять... Люди блуждаютъ, какъ льдины въ холодномъ морѣ сѣвера... сталкиваются другъ съ другомъ...

(Двоеточіе встаетъ и уходитъ направо)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА

(тихо поетъ).

„Уже утомившійся день
Склонился въ багряныя воды"...

(Когда Варвара Михайловна начинаетъ говорить, Юлія Филипповна перестаетъ пѣть и пристально смотритъ ей въ лицо)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Жизнь—точно какой-то базаръ. Всѣ хотятъ обмануть другъ друга: дать меньше, взять больше.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

„Темнѣютъ лазурные своды,
Прозрачная стелется тѣнь".

КАЛЕРІЯ.

Каковы должны быть люди... чтобы смотрѣть на нихъ было не такъ... скучно?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Честные [illegible] быть!.. и смѣлѣе..

КАЛЕРІЯ.

Опредѣленнѣе они должны быть, Варя! Во всякомъ случаѣ, во всѣхъ отношеніяхъ опредѣленнѣе они должны быть.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Бросьте разсуждать! Это не забавно. Давайте пѣть...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Славный дуэтъ пѣли вы, Юлія Филипповна.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Да, хорошій... Чистый!.. Я люблю все чистое... вы не вѣрите? Люблю, да... Смотрѣть люблю на чистое... слушать...

(Смѣется)

КАЛЕРІЯ.

У меня въ душѣ ростетъ какая-то сѣрая злоба... сѣрая, какъ облако осени... Тяжелое облако злобы давитъ мнѣ душу, Варя... Я никого не люблю, не хочу любить!.. И умру смѣшной старой дѣвой.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Перестань, милая! Такъ тоскливо...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Быть замужемъ — тоже сомнительное удовольствіе... На вашемъ мѣстѣ я вышла бы замужъ за Рюмина... Онъ немножко кисленькій, но...

(Соня: „Подождите! Ну, начинайте! Нѣтъ, начинаетъ мандолина". Дуэтъ мандолины и гитары)

КАЛЕРІЯ.

Онъ резиновый...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Почему-то мнѣ вспомнилась одна грустная пѣсенка... Ее, бывало, пѣли прачки въ заведеніи моей матери... Я тогда была маленькая, училась въ гимназіи. Помню, придешь домой, прачешная полна сѣраго, удушливаго пара... въ немъ качаются полуодѣтыя женщины и негромко, устало поютъ:

Ты, родная моя матушка,
Пожалѣй меня, несчастную,—
Тяжело мнѣ у чужихъ людей,
Въ злой неволѣ сердце высохло.

И я плакала, слушая эту пѣсню... (Басовъ: „Саша! дайте-ка пива... и портвейна“...) Хорошо я жила тогда! Эти женщины любили меня... Помню, вечерами, кончивъ работать, онѣ садились пить чай за большой, чисто вымытый столъ... и сажали меня съ собою, какъ равную.

КАЛЕРІЯ.

Ты скучно говоришь, Варя! Скучно, какъ Марья Львовна...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Милыя мои женщины, плохо мы живемъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (задумчиво).

Да, плохо... И не знаемъ, какъ надо жить лучше. Моя мать всю жизнь работала... Какая она добрая была... какая веселая! Ее всѣ любили. Она сдѣлала меня образованной... Какъ она радовалась, когда я кончила гимназію! Въ то время она уже не могла ходить — у нея былъ ревматизмъ... Умирала она спокойно... и говорила мнѣ: „не плачь, Варя, ничего! Мнѣ — пора... пожила, поработала, будетъ!“ Въ ея жизни было больше смысла, чѣмъ въ моей. А вотъ мнѣ — неловко жить... Мнѣ кажет[redacted] я зашла въ чужую сторону, къ чужимъ

людямъ и не понимаю ихъ жизни!... Не понимаю я этой нашей жизни, жизни культурныхъ людей. Она кажется мнѣ непрочной, неустойчивой, поспѣшно сдѣланной на время, какъ дѣлаются на ярмаркахъ балаганы... Эта жизнь—точно ледъ надъ живыми волнами рѣки... онъ крѣпокъ, онъ блеститъ, но въ немъ много грязи... много постыднаго... нехорошаго... Когда я читаю честныя, смѣлыя книги, мнѣ кажется—восходитъ горячее солнце правды... ледъ таетъ, обнажая грязь внутри себя, и волны рѣки скоро сломаютъ его, раздробятъ, унесутъ куда-то...

КАЛЕРІЯ

(брезгливо, съ досадой).

Почему ты не бросишь мужа? Это такой пошлякъ, онъ тебѣ совершенно лишній...

(Варвара Михайловна съ недоумѣніемъ смотритъ на Калерію)

КАЛЕРІЯ (настойчиво).

Брось его и уходи куда-нибудь... учиться иди... влюбись... только уйди!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(встаетъ съ досадой).

Какъ это грубо...

КАЛЕРІЯ.

Ты можешь: у тебя нѣтъ отвращенія къ грязному, тебѣ нравятся прачки... ты вездѣ можешь жить...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Вы очень мило говорите о своемъ братѣ...

КАЛЕРІЯ (спокойно).

Да! Хотите, я скажу вамъ что-нибудь такое же о вашемъ мужѣ?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (усмѣхаясь).

Скажите! Вѣроятно, я не обижусь. Я сама часто говорю ему кое-что, отъ чего онъ бѣсится... Онъ мнѣ платитъ тѣмъ же... Еще недавно онъ сказалъ въ лицо мнѣ, что я—развратна...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

И вы... Что же вы?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Я не возражала. Не знаю... не знаю я, что такое развратъ, но я очень любопытна. Скверное такое, острое любопытство къ мужчинѣ есть у меня. (Варвара Михайловна встаетъ, отходитъ шага на три въ сторону) Я красива—вотъ мое несчастіе. Уже въ шестомъ классѣ гимназіи учителя смотрѣли на меня такими глазами, что я чего-то стыдилась и краснѣла, а имъ это доставляло удовольствіе, и они вкусно улыбались, какъ обжоры передъ гастрономической лавкой.

КАЛЕРІЯ (вздрагивая).

Брр... Какая гадость!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Да. Потомъ меня просвѣщали замужнія подруги... Но больше всѣхъ—я обязана мужу. Это онъ изуродовалъ мое воображеніе... онъ привилъ мнѣ чувство любопытства къ мужчинѣ. (Смѣется. Отъ группы мужчинъ отдѣляется Шалимовъ и медленно идетъ къ женщинамъ) А я уродую ему жизнь. Есть такая пословица: взявши лычко—отдай ремешокъ.

ШАЛИМОВЪ (подходя).

Славная пословица! Несомнѣнно, ее создалъ щедрый и добрый человѣкъ... Варвара Михайловна, не хотите ли пройтись къ рѣкѣ?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Пожалуй... пойдемте...

ШАЛИМОВЪ.

Позволите предложить вамъ руку?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Нѣтъ, спасибо... я не люблю.

ШАЛИМОВЪ.

Какое у васъ грустное лицо. Вы не похожи на вашего брата... онъ весельчакъ. Забавный юноша...

(Уходятъ направо)

КАЛЕРІЯ.

Среди насъ—нѣтъ людей, довольныхъ жизнью. Вотъ вы... такая всегда веселая, а, между тѣмъ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Вамъ нравится этотъ господинъ? Въ немъ для меня есть что-то нечистое! Должно быть, холодный, какъ лягушка... Пойдемте и мы къ рѣкѣ.

КАЛЕРІЯ (вставая).

Пойдемте! все равно.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Онъ, должно быть, немножко увлекается ею... А дѣйствительно, какая она чужая всѣмъ! И такъ странно-пытливо смотритъ на всѣхъ... Что она хочетъ видѣть? Я ее люблю... но боюсь... Она—строгая... чистая...

(Уходятъ. Съ правой стороны раздаются громкіе крики и смѣхъ. Кричатъ: „Лодку! Скорѣе! Гдѣ весла? Весла!“ Пустобайка медленно встаетъ и, положивъ весла на плечо, хочетъ идти. Сусловъ и Басовъ бѣгутъ на шумъ. Замысловъ подскаки-

ваетъ къ Пустобайкѣ и вырываетъ у него весло)

ЗАМЫСЛОВЪ.

Живѣе, чортъ тебя возьми! Слышишь- должно быть несчастіе, а ты... рожа!

(Убѣгаетъ)

ПУСТОБАЙКА

(идетъ вслѣдъ ему и ворчитъ).

Кабы несчастье, небойсь, не такъ бы завопили... Тоже... герой!... Поскакалъ...

(Нѣсколько секундъ сцена пуста. Слышны крики: „Не бросайте камнями! Держите! Весломъ!“ Смѣхъ. Съ лѣвой стороны быстро входятъ Марья Львовна и Власъ, оба взволнованные)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(возбужденно, но не громко).

Оставьте это, слышите? Я не хочу. Не смѣйте говорить со мной такъ! Развѣ я дала вамъ право?..

ВЛАСЪ.

Я буду говорить! Буду!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(протягивая руки впередъ, какъ бы желая оттолкнуть Власа).

Я требую уваженія къ себѣ!

ВЛАСЪ.

Я васъ люблю... люблю васъ! Безумно, всей душой люблю ваше сердце... вашъ умъ люблю... и эту строгую прядь сѣдыхъ волосъ... ваши глаза и рѣчь...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Молчите! Не смѣйте!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Пожалуй... пойдемте...

ШАЛИМОВЪ.

Позволите предложить вамъ руку?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Нѣтъ, спасибо... я не люблю.

ШАЛИМОВЪ.

Какое у васъ грустное лицо. Вы не похожи на вашего брата... онъ весельчакъ. Забавный юноша...

(Уходятъ направо)

КАЛЕРІЯ.

Среди насъ—нѣтъ людей, довольныхъ жизнью. Вотъ вы... такая всегда веселая, а, между тѣмъ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Вамъ нравится этотъ господинъ? Въ немъ для меня есть что-то нечистое! Должно быть, холодный, какъ лягушка... Пойдемте и мы къ рѣкѣ.

КАЛЕРІЯ (вставая).

Пойдемте! все равно.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Онъ, должно быть, немножко увлекается ею... А дѣйствительно, какая она чужая всѣмъ! И такъ странно-пытливо смотритъ на всѣхъ... Что она хочетъ видѣть? Я ее люблю... но боюсь... Она—строгая... чистая...

(Уходятъ. Съ правой стороны раздаются громкіе крики и смѣхъ. Кричатъ: „Лодку! Скорѣе! Гдѣ весла? Весла!“ Пустобайка медленно встаетъ и, положивъ весла на плечо, хочетъ идти. Сусловъ и Басовъ бѣгутъ на шумъ. Замысловъ подскачи-

ВЛАСЪ.

Хорошо!.. Я ухожу... Но потомъ, послѣ—вы скажете мнѣ...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Да... да... потомъ... идите!

(Власъ быстро идетъ въ лѣсъ направо и сталкивается съ сестрой)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Тише!.. Что съ тобой?..

ВЛАСЪ.

Это... ты?.. Прости!..

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(протягивая руки навстрѣчу Варварѣ Михайловнѣ).

Дорогая моя! Идите ко мнѣ!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Что съ вами? Онъ васъ оскорбилъ?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Нѣтъ... т. е. да... оскорбилъ?.. я ничего, ничего не понимаю!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Вы сядьте... Что случилось?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Онъ. сказалъ мнѣ... (Смѣется, растерянно глядя въ лицо Варварѣ Михайловнѣ) онъ... сказалъ мнѣ... что любитъ меня! А у меня сѣдые волосы... и зубы вставлены... три зуба! О другъ мой, я старуха! Развѣ онъ не видитъ этого? Моей дочери восемнадцать лѣтъ! Это невозможно!.. Это не нужно!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (волнуясь).

Милая моя! Славная! Вы не волнуйтесь!.. разскажите... вы такая...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Я никакая! Какъ всѣ мы... Я несчастная баба! Помогите мнѣ! Его надо оттолкнуть отъ меня... Я не могу этого сдѣлать... я—уѣду!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я васъ понимаю... Вамъ жалко его... онъ вамъ не нравится... Бѣдный Власикъ!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Ахъ! Я все лгу вамъ! Мнѣ не его жалко... Мнѣ себя жалко!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (быстро).

Нѣтъ... Почему?

(Соня выходитъ изъ лѣса и стоитъ нѣсколько секундъ за копной. Въ рукахъ у нея цвѣты, она хочетъ осыпать ими мать и Варвару Михайловну. Слышитъ слова матери, дѣлаетъ движеніе къ ней и, повернувшись, неслышно уходитъ)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Я его люблю!.. Вамъ это смѣшно? Ну, да... я люблю... Волосы сѣдые... а жить хочется! Вѣдь я—голодная! Я не жила еще... Мое замужество было трехлѣтней пыткой... Я не любила никогда! И вотъ теперь... мнѣ стыдно сознаться... я такъ хочу ласки! нѣжной, сильной ласки,— я знаю — поздно! Поздно! Я прошу васъ, родная моя, помогите мнѣ! Убѣдите его, что онъ ошибается, не любитъ!.. Я уже была несчастна... я много страдала... довольно!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Славная вы моя! Я не понимаю вашего страха! Если вы любите его и онъ любитъ васъ—что же? Вы боитесь будущаго страданія, но вѣдь, можетъ быть, это страданіе далеко впереди!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Вы думаете, это возможно? А моя дочь? Соня моя? А годы? Проклятые годы мои? И эти сѣдые волосы? Вѣдь онъ страшно молодъ! Пройдетъ годъ—и онъ броситъ меня... о, нѣтъ, я не хочу униженій...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Зачѣмъ взвѣшивать... разсчитывать!.. Какъ мы всѣ боимся жить! Что это значитъ, скажите, что это значитъ? Какъ мы всѣ жалѣемъ себя! Я не знаю, что говорю... Можетъ быть, это дурно и нужно не такъ говорить... Но я... я не понимаю!.. Я бьюсь, какъ большая, глупая муха бьется о стекло... желая свободы... Мнѣ больно за васъ... Я хотѣла бы хоть немножко радости вамъ... И мнѣ жалко брата! Вы могли бы сдѣлать ему много добраго! У него не было матери.... Онъ такъ много видѣлъ горя, униженій... вы были бы матерью ему...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(опуская голову).

Матерью... да! Только матерью... я понимаю васъ... Спасибо!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (торопливо).

Нѣтъ... вы не поняли... я не говорила...

(Рюминъ выходитъ изъ лѣса съ правой стороны, видитъ женщинъ, останавливается, кашляетъ. Онѣ его не слышатъ—онъ подходитъ ближе)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Вы не хотѣли сказать—и невольно сказали простую, трезвую правду... Матерью я должна быть для него... да! Другомъ! Хорошая вы моя... мнѣ плакать хочется... я уйду! Вонъ, смотрите, стоитъ Рюминъ. У меня, должно быть, глупое лицо... растерялась старушка!

(Тихо, устало идетъ въ лѣсъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я иду съ вами.

РЮМИНЪ (быстро).

Варвара Михайловна! Могу я попросить васъ остаться? Я не задержу васъ долго!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я догоню васъ, Марья Львовна, идите къ сторожкѣ. Что вы хотите сказать, Павелъ Сергѣевичъ?

РЮМИНЪ (оглядываясь).

Сейчасъ... я скажу...

(Опускаетъ голову и молчитъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Почему вы такъ таинственно оглядываетесь? Что такое?

(Въ глубинѣ сцены проходитъ Сусловъ съ правой стороны на лѣвую, поетъ что-то напѣваетъ. Слышенъ голосъ Басова: „Власъ, вы хотѣли читать стихи. Куда же вы?")

РЮМИНЪ.

Я... начну сразу... Вы давно знаете меня...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Четыре года. Но что съ вами?

РЮМИНЪ.

Я волнуюсь немножко... мнѣ страшно! Я не могу рѣшиться сказать эти слова... Я хотѣлъ бы... чтобы вы...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Не понимаю! Что мнѣ нужно сдѣлать?

РЮМИНЪ.

Догадаться... Только догадаться!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

О чемъ? вы говорите проще...

РЮМИНЪ (тихо).

О томъ, что я давно уже... давно хочу сказать вамъ... Теперь... вы поняли?

(Пауза. Варвара Михайловна, сдвинувъ брови, сурово смотритъ на Рюмина и медленно отходитъ въ сторону отъ него)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (невольно).

Какой странный день!

РЮМИНЪ (негромко).

Мнѣ кажется, всю жизнь я любилъ васъ... не видя еще, не зная—любилъ! Вы были женщиной моей мечты... тѣмъ дивнымъ образомъ, который создается въ юности... потомъ его ищутъ всю жизнь иногда—и не находятъ... А я вотъ встрѣтилъ васъ... мечту мою...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (спокойно).

Павелъ Сергѣевичъ! Не надо объ этомъ говорить: я не люблю васъ, нѣтъ!

РЮМИНЪ.

Но... можетъ быть... Позвольте мнѣ сказать...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Что? Зачѣмъ?

РЮМИНЪ.

Ну, что же дѣлать? Что дѣлать? (Тихо смѣется) Вотъ и кончено! Какъ это просто все... Я собирался такъ долго... сказать вамъ это... и мнѣ было пріятно и жутко думать о часѣ, когда я скажу вамъ, что люблю... И вотъ—сказалъ!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Но, Павелъ Сергѣевичъ... что же я могу сдѣлать?

РЮМИНЪ.

Да... да... конечно... я понимаю! Знаете, на васъ, на ваше отношеніе ко мнѣ я возложилъ всѣ мои надежды... а вотъ теперь нѣтъ ихъ—и нѣтъ жизни для меня...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Не надо говорить такъ! Не надо дѣлать мнѣ больно... Развѣ я виновата?

РЮМИНЪ.

А мнѣ какъ больно! Надо мной тяготѣетъ и давитъ меня неисполненное обѣщаніе... Въ юности моей я далъ клятву себѣ и другимъ... я поклялся, что всю жизнь мою посвящу борьбѣ за все, что тогда казалось мнѣ хорошимъ, честнымъ. И вотъ, я прожилъ лучшіе годы мои—и ничего не сдѣлалъ, ничего! Сначала я все собирался, выжидалъ, примѣривался—и, незамѣтно для себя, привыкъ жить покойно, сталъ цѣнить этотъ покой, бояться за него... Вы видите, какъ искренно я говорю? Не лишайте меня радости быть искреннимъ! Мнѣ стыдно говорить... но въ этомъ стыдѣ есть острая сладость... исповѣди...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Но что же... что я могу сдѣлать для васъ?

РЮМИНЪ.

Не любви прошу—жалости! Жизнь пугаетъ меня настойчивостью своихъ требованій, а я осторожно обхожу ихъ и прячусь за ширмы разныхъ теорій, вы понимаете это, я знаю... Я встрѣтилъ васъ,—и вдругъ сердце мое вспыхнуло прекрасной, яркой надеждой, что... вы поможете мнѣ исполнить мои обѣщанія, вы дадите мнѣ силу и желаніе работать... для блага жизни!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(горячо, съ тоской и досадой).

Я не могу! Поймите вы—я не могу! Я сама—нищая... Я сама въ недоумѣніи передъ жизнью... Я ищу смысла въ ней—и не нахожу! Развѣ это жизнь? Развѣ можно такъ жить, какъ мы живемъ? Яркой, красивой жизни хочетъ душа, а вокругъ насъ—проклятая суета бездѣлья... Противно, тошно, стыдно жить такъ! Всѣ боятся чего-то и хватаются другъ за друга, и просятъ помощи, стонутъ, кричатъ...

РЮМИНЪ.

И я прошу помощи! Теперь я слабый, нерѣшительный человѣкъ. Но, если бы вы захотѣли!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (сильно).

Неправда! Не вѣрю я вамъ! Все это только жалобныя слова! Вѣдь не могу же я переложить свое сердце въ вашу грудь... если я сильный человѣкъ! Я не вѣрю, что гдѣ-то внѣ человѣка существуетъ сила, которая можетъ перерождать его. Или она въ немъ, или ея нѣтъ! Я не буду больше говорить... въ душѣ моей растетъ вражда...

РЮМИНЪ.

Ко мнѣ? За что!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

О, нѣтъ, не къ вамъ... ко всѣмъ! Мы живемъ на

землѣ чужіе всему... мы не умѣемъ быть нужными для жизни людьми. И мнѣ кажется, что скоро, завтра, придутъ какіе-то другіе, сильные, смѣлые люди и сметутъ насъ съ земли, какъ соръ... Въ душѣ моей ростетъ вражда ко лжи, къ обманамъ...

РЮМИНЪ.

А я хочу быть обманутымъ, да! Вотъ я узналъ правду—и мнѣ нечѣмъ жить!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(почти брезгливо).

Не обнажайте передо мной вашей души. Мнѣ жалко нищаго, если это человѣкъ, котораго ограбили, но если онъ прожился или рожденъ нищимъ,—я не могу его жалѣть!..

РЮМИНЪ (оскорбленный).

Не будьте такъ жестоки! Вѣдь вы тоже больной, раненый человѣкъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(сильно, почти съ гордостью).

Раненый—не боленъ, у него только разорвано тѣло. Боленъ тотъ, кто отравленъ.

РЮМИНЪ.

Да пощадите! Вѣдь человѣкъ же я!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

А я? А я развѣ не человѣкъ? Я только что-то нужное для того, чтобы вамъ лучше жилось? да? А это не жестоко? Я вижу, знаю: вы не одинъ давали въ юности клятвы и обѣщанія, васъ, можетъ быть, тысячи измѣнившихъ своимъ клятвамъ.

РЮМИНЪ (внѣ себя).

Прощайте! Я понимаю! Я опоздалъ! Да! Конечно...

Только вѣдь и Шалимовъ тоже... Вы посмотрите на него... вы посмотрите, вѣдь и онъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (холодно).

Шалимовъ? Вы не имѣете права...

РЮМИНЪ.

Прощайте! Я не могу... прощайте!

(Быстро уходитъ въ лѣсъ налѣво. Варвара Михайловна дѣлаетъ движеніе, какъ бы желая идти за нимъ, но тотчасъ же, отрицательно качнувъ головой, опускается на пень. Въ глубинѣ сцены, около ковра съ закусками, является Сусловъ, пьетъ вино. Варвара Михайловна встаетъ, уходитъ въ лѣсъ налѣво. Съ правой стороны быстро входитъ Рюминъ, оглядывается и съ жестомъ досады опускается на сѣно. Сусловъ, немного выпивши, идетъ къ Рюмину, насвистывая)

СУСЛОВЪ.

Вы слышали?

РЮМИНЪ.

Что?

СУСЛОВЪ (садится).

Споръ.

РЮМИНЪ.

Нѣтъ. Какой?

СУСЛОВЪ (закуривая).

Власа съ писателемъ и Замысловымъ?

РЮМИНЪ.

Нѣтъ...

СУСЛОВЪ.

Жаль!

РЮМИНЪ.

Не подожгите сѣно!

СУСЛОВЪ.

Чортъ съ нимъ!.. Да, они тутъ спорили... Но все это одно кривляньe... Я знаю. Я самъ когда-то философствовалъ... Я сказалъ въ свое время всѣ модныя слова и знаю имъ цѣну. Консерватизмъ, интеллигенція, демократія... и что еще тамъ? Все это — мертвое... все— ложь! Человѣкъ прежде всего — зоологическій типъ, вотъ истина. Вы это знаете? И какъ вы ни кривляйтесь, вамъ не скрыть того, что вы хотите пить, ѣсть... и имѣть женщину... Вотъ и все истинное ваше... Д-да! Когда говоритъ Шалимовъ, я понимаю: онъ литераторъ, игра словами — его ремесло, и когда говоритъ Власъ, понимаю: онъ молодъ и глупъ... Но когда говоритъ Замысловъ, этотъ жуликъ, это хищное животное,—мнѣ хочется заткнуть ему глотку кулакомъ!.. Вы слышали? Въ хорошенькую исторію онъ всадилъ Басова! Грязная исторія... Они сцапаютъ тысячъ пятьдесятъ... Басовъ и этотъ жуликъ, да!.. Но уже никто послѣ этой исторіи не назоветъ ихъ порядочными людьми! И эта гордая Варвара, которая все не рѣшается выбрать себѣ любовника...

РЮМИНЪ.

Вы говорите гадости!

(Быстро уходитъ прочь)

СУСЛОВЪ.

Дурацкій кисель!

(Справа выходитъ Пустобайка, онъ вынимаетъ изо рта трубку и въ упоръ смотритъ на Суслова)

Ну, чего ты уставился? Не видалъ людей? Ступай прочь!

ПУСТОБАЙКА.

И уйду!..

(Медленно уходитъ)

СУСЛОВЪ

(разваливаясь на сѣнѣ).

„На землѣ весь родъ людской...“ (Кашляетъ) Всѣ вы—скрытые мерзавцы... „Люди гибнутъ за металлъ“... Ерунда... Деньги ничто... когда онѣ есть... (Дремлетъ) а боязнь чужого мнѣнія—нѣчто... если человѣкъ... трезвъ... и всѣ вы—скрытые мерзавцы, говорю вамъ...

(Засыпаетъ. Дудаковъ и Ольга тихо идутъ подъ руку. Она крѣпко прижалась къ его плечу и смотритъ въ лицо его)

ДУДАКОВЪ.

И... конечно — не правы мы оба... Завертѣлись, засуетились... и потеряли уваженіе другъ къ другу. Да и за что тебѣ уважать меня? Что я такое?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Милый мой Кириллъ... ты отецъ моихъ дѣтей... Я уважаю... я люблю тебя...

ДУДАКОВЪ.

Я устаю и... распускаюсь, и не могу удерживать мои нервы... а ты все такъ близко принимаешь къ сердцу... и вотъ создается это адское положеніе...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Ты у меня одинъ въ цѣломъ свѣтѣ... Ты и наши дѣтки! Вѣдь у меня—никого...

ДУДАКОВЪ.

Ты вспомни, Ольга... когда-то мы съ тобой... развѣ о такой жизни мечтали мы? (Юлія Филипповна и Замысловъ являются за деревьями съ лѣвой стороны) Да...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Но что же дѣлать? Что дѣлать? Вѣдь у насъ—дѣти! Они требуютъ вниманія...

ДУДАКОВЪ.

Да... дѣти... я понимаю. Но порой задумаешься...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Милый мой!... Что же дѣлать?

(Уходятъ въ лѣсъ)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА

(выходя, смѣется).

Торжественно и трогательно! Какой урокъ мнѣ!

ЗАМЫСЛОВЪ.

Это предисловіе къ пятому ребенку... или къ шестому уже?—Ну, милая Юлька, такъ я жду?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (насмѣшливо).

Ужъ я не знаю, какъ теперь... они были такъ милы... не вернуться ли и мнѣ на стезю добродѣтели, глупенькій мой?

ЗАМЫСЛОВЪ.

Это потомъ, Юлька...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Да, это потомъ, я рѣшаю остаться на пути порока, и пусть мой дачный романъ умретъ естественною смертью. О чемъ вы такъ кричали съ Власомъ и писателемъ?

ЗАМЫСЛОВЪ.

Сегодня этотъ Власъ какой-то полоумный... Разговоръ зашелъ о вѣрѣ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

И—во что же ты вѣришь?

ЗАМЫСЛОВЪ.

Я? Только въ себя, Юлька... Вѣрю только въ мое право жить такъ, какъ я хочу!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

А вотъ я ни во что не вѣрю...

ЗАМЫСЛОВЪ.

У меня въ прошломъ голодное дѣтство... и такая же юность, полная униженій... суровое прошлое у меня, дорогая моя Юлька! Я много видѣлъ тяжелаго и сквернаго... я много перенесъ. Теперь—я самъ судья и хозяинъ своей жизни — вотъ и все!.. Ну, я ухожу... до свиданья, моя радость!.. Намъ все-таки нужно держаться поосторожнѣе... подальше другъ отъ друга...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (съ пафосомъ).

Вдали, вблизи—не все-ль равно, о мой рыцарь? Кого бояться намъ, столь безумно влюбленнымъ?

ЗАМЫСЛОВЪ.

Исчезаю! Роскошь моя...

(Уходитъ въ лѣсъ. Юлія Филипповна смотритъ вслѣдъ ему, оглядываетъ поляну, свободно и глубоко вздыхаетъ. Идетъ къ сѣну, негромко напѣвая:

„Томимую душу тоской,
Какъ матерь дитя, упокой".

Видитъ мужа. Останавливается, вздрагиваетъ, нѣсколько секундъ стоитъ неподвижно и смотритъ. Хочетъ идти прочь, но повертывается и съ улыбкой садится рядомъ съ мужемъ. Щекочетъ лицо ему стеблемъ травы, Сусловъ мычитъ)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Очень музыкально...

СУСЛОВЪ.

А... чортъ! Это ты?...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Какъ отъ тебя пахнетъ виномъ! Цѣлый стогъ сѣна не можетъ заглушить этого запаха. Ты разоришься на дорогомъ винѣ, мой другъ!

СУСЛОВЪ

(протягивая къ ней руки).

Ты... такъ близко... Я уже забылъ, Юлія, когда это было...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

И безполезно вспоминать эти счастливые моменты, мой другъ... Слушай, хочешь сдѣлать мнѣ удовольствіе?

СУСЛОВЪ.

Какое? Говори—я готовъ! Повѣрь мнѣ, Юлія... я на все готовъ для тебя...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Именно такимъ и долженъ быть любящій мужъ!

СУСЛОВЪ

(цѣлуя ея руку).

Ну, скажи мнѣ... чего ты хочешь?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА

(вынимая изъ кармана маленькій револьверъ).

Давай застрѣлимся, другъ мой! Сначала ты... потомъ я!

СУСЛОВЪ.

Какая тяжелая шутка, Юлія... Брось эту гадость... ну, брось, *прошу тебя*!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Подожди... убери прочь твою руку! Тебѣ не нравится мое предложеніе? Но ты же собираешься застрѣлить меня?.. Я застрѣлилась бы первой. но, боюсь, ты меня обманешь и останешься жить, а мнѣ не хочется быть обманутой еще разъ и не хочу разлучаться съ тобой... я буду жить съ тобой долго-долго... ты радъ?

СУСЛОВЪ (подавленно).

Слушай, Юлія, такъ нельзя... нельзя!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Можно—ты видишь! Ну, хочешь, я сама застрѣлю тебя?

СУСЛОВЪ

(закрываясь отъ нея рукой).

Не смотри на меня такъ! Это чортъ знаетъ что! Я—уйду... я не могу!..

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (весело).

Иди... Я выстрѣлю тебѣ въ спину... Ахъ—нельзя... вотъ шествуетъ Марья Львовна... славная женщина! Отчего бы тебѣ, Петръ, не влюбиться въ нее? У нея такіе красивые волосы!

СУСЛОВЪ (негромко).

Ты сводишь меня съ ума! За что? За что ты ненавидишь меня?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (пренебрежительно).

Тебя нельзя ненавидѣть...

СУСЛОВЪ

(тихо, задыхаясь).

Ты такъ мучаешь меня, но—за что? Скажи!

(Марья Львовна задумчиво идетъ, наклонивъ голову, согнувшись. Сусловъ

стоитъ противъ жены, упорно слѣдя за револьверомъ въ ея рукѣ)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Марья Львовна! Идите сюда... Ты, Петръ, сдѣлалъ изъ меня мерзкую женщину... Ступай, иди! Марья Львовна, мы скоро ѣдемъ домой?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Не знаю, право! Всѣ куда-то разбрелись... Вы не видали Варвару Михайловну?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Она, вѣроятно, съ этимъ писателемъ. Ты, кажется, хотѣлъ идти на рѣку? Иди, намъ безъ тебя не будетъ скучно...

(Сусловъ молча уходитъ)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (разсѣянно).

Какъ вы строго.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Это не вредно. Какой-то философъ, говорили мнѣ, совѣтуетъ мужчинѣ: когда идешь къ женщинѣ—бери съ собой плеть...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Это Ницше...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Да? Онъ, кажется, былъ полоумнымъ? Я не знаю философовъ—ни умныхъ, ни полоумныхъ... но если бы я была философомъ, я сказала бы женщинѣ: подходя къ мужчинѣ, моя милая, бери съ собой хорошее полѣно. (Съ лѣвой стороны, въ глубинѣ поляны, являются Ольга Алексѣевна и Калерія, онѣ садятся около ковра съ закусками) Говорили мнѣ также, что у одного племени дикарей существуетъ *такой* милый обычай: мужчина, передъ

тѣмъ какъ сорвать цвѣты удовольствія, бьетъ женщину дубиной по головѣ. У насъ, людей культурныхъ, это дѣлаютъ послѣ свадьбы. Васъ по головѣ дубиной били?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Да-а!..

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (съ улыбкой).

Дикари честнѣе—неправда ли? А почему вы такая хмурая?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Не спрашивайте... Вамъ тяжело жить?

(Справа идетъ Двоеточіе безъ шляпы, съ удочкой въ рукахъ)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (смѣясь).

Кто слышалъ мои стоны?.. Я всегда веселая... А вотъ дядюшка... Вамъ нравится онъ? Мнѣ—очень.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Да, онъ славный...

ДВОЕТОЧІЕ (подходя).

А шляпа моя такъ и уплыла... Поѣхала молодежь спасать ее и окончательно утопила! Нѣтъ ли у кого лишняго платочка, голову повязать? А то, понимаете, комары лысину кусаютъ.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (встаетъ).

Подождите, сейчасъ принесу.

(Отходитъ въ глубину сцены)

ДВОЕТОЧІЕ.

А тамъ сейчасъ господинъ Черновъ всѣхъ потѣшалъ... славный паренекъ!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Онъ... веселый?

ДВОЕТОЧІЕ.

Удивительно! Такъ и сверкаетъ весь!.. Стихи свои все читалъ. Попросила его какая-то барыня стихи въ альбомъ ей написать; онъ, понимаете, и написалъ. Вы, говоритъ, смѣясь, въ глаза мнѣ поглядѣли, но попалъ, говоритъ, мнѣ въ сердце этотъ взоръ и, увы, вотъ слишкомъ двѣ недѣли я, говоритъ, не сплю, сударыня, съ тѣхъ поръ... понимаете! А дальше...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (торопливо).

Не надо, Семенъ Семеновичъ, дальше... Я знаю эти стихи... Скажите... вы долго здѣсь проживете?

ДВОЕТОЧІЕ.

Да я думалъ, понимаете, у племянника до конца дней основаться... а съ его стороны не вижу охоты поддержать меня въ этомъ намѣреніи. А дѣваться мнѣ некуда... никого у меня нѣтъ... деньги есть... а больше ничего нѣтъ!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(разсѣянно, не глядя на него).

Вы въ самомъ дѣлѣ—богатый?

ДВОЕТОЧІЕ.

Около милліона у меня, понимаете. Хо-хо! около милліона. Умру—все Петру останется.. но его это, повидимому, не прельщаетъ. Не ласковъ онъ со мной, да. Вообще, онъ какой-то не желающій... ничего не нужно ему... не понимаю я его! Положимъ, онъ знаетъ, что, все равно, его деньги будутъ—чего же ему безпокоиться? Хо-хо!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(съ большимъ интересомъ).

Эхъ вы, бѣдный!.. Вы бы употребили ихъ на какое-нибудь общественное дѣло—все лучше, больше смысла!

ДВОЕТОЧІЕ.

Н-да! Мнѣ это совѣтовалъ одинъ моншеръ, да не люблю я его, понимаете. Жуликъ онъ рыжій, хоть и притворяется либераломъ. А, по совѣсти говоря, жалко мнѣ эти деньги Петру оставлять. На что ему? Онъ и теперь сильно зазнался. (Марья Львовна смѣется, Двоеточіе внимательно смотритъ на нее) Чего вы смѣетесь? Глупымъ кажусь? Нѣтъ, я не глупый... а просто—не привыкъ жить одинъ. Э-эхма! Вздохнешь да охнешь, объ одной сохнешь, а раздумаешься—всѣхъ жалко! А... хорошій вы человѣкъ, между прочимъ...

(Смѣется)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Спасибо!

ДВОЕТОЧІЕ.

Не на чемъ. Вамъ спасибо! Вотъ вы говорите мнѣ—бѣдный—хо-хо! Этого я никогда не слыхалъ... всѣ говорили—богатый! Хо-хо! И самъ я думалъ—богатый... А оказалось: бѣдный я...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА

(подходитъ, въ рукахъ у нея платокъ).

Вы, дядя, объясняетесь въ любви?

ДВОЕТОЧІЕ.

Куда мнѣ, къ лѣшему! Я теперь только на уваженіе способенъ... Повяжи-ка покрасивѣе... И пойду закушу чего-нибудь на дорогу-то...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Вотъ... очень идетъ къ вамъ!

ДВОЕТОЧІЕ.

Ну, и врешь! У меня лицо мужественное. Идемъ за-

кусывать. Я все хочу спросить тебя,—ты мужа-то не любишь?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

А, по вашему, его можно любить?

ДВОЕТОЧІЕ.

А на что замужъ за него вышла?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

А онъ интереснымъ прикинулся...

ДВОЕТОЧІЕ (хохочетъ).

Э, ну тебя къ Богу!..

(Всѣ трое уходятъ въ глубину сцены. Тамъ начинается шумъ и смѣхъ негромкій, но непрерывный. Съ лѣвой стороны выходятъ: Басовъ, выпившій, Шалимовъ, Дудаковъ, и Власъ. Послѣдній идетъ въ глубину сцены, а первые трое—на сѣно)

ЗАМЫСЛОВЪ

(кричитъ въ лѣсу).

Господа! Пора домой!

БАСОВЪ.

Чудныя здѣсь мѣста, Яша? Хорошая прогулка, а?

ШАЛИМОВЪ.

Ты же все сидѣлъ, какъ сычъ. Сидѣлъ и пилъ... и размокъ...

(Въ глубинѣ сцены Соня повязываетъ платокъ на головѣ Двоеточія. Смѣхъ. Изъ лѣса, около ковра съ закусками, выходитъ Замысловъ, беретъ бутылку вина и стаканы и идетъ къ Басову, за нимъ идетъ Двоеточіе, отмахиваясь руками отъ Сони)

БАСОВЪ

(опускаясь на сѣно).

Я и опять сяду... Наслаждаться природой надо сидя... Природа, лѣса, деревья... сѣно... люблю природу! (Почему-грустнымъ голосомъ) И людей люблю... Люблю мою бѣдную, огромную, нелѣпую страну... Россію мою! Все и всѣхъ я люблю!.. У меня душа нѣжная, какъ персикъ! Яковъ, ты воспользуйся, это хорошее сравненіе: душа нѣжная, какъ персикъ...

ШАЛИМОВЪ.

Хорошо, я воспользуюсь!

СОНЯ.

Семенъ Семеновичъ, позвольте!

ДВОЕТОЧІЕ.

Будетъ! Насмѣялись надъ старикомъ... Обидѣлся я... Хо-хо!

БАСОВЪ.

А, вино! Налейте мнѣ. Какъ хорошо! Какъ весело, милые мои люди! Славное это занятіе—жизнь... для того, кто смотритъ на нее дружески, просто... Къ жизни надо относиться дружески, господа, довѣрчиво... Надо смотрѣть ей въ лицо простыми, дѣтскими глазами, и все будетъ превосходно. (Двоеточіе стоитъ около пня и хохочетъ, слушая болтовню Басова) Господа! Посмотримъ ясными, дѣтскими глазами въ сердца другу другу—и больше ничего не нужно. А дядя—смѣется... Онъ поймалъ молодого, веселаго окуня... а я взялъ окуня и пустилъ его назадъ, въ родную стихію. Потому что я—пантеистъ, это фактъ! Я и окуня люблю... а дядя утопилъ свою шляпу—вотъ!

ШАЛИМОВЪ.

Заболтался ты, Сергѣй!

БАСОВЪ.

Не суди — да не судимъ будеши... А говорю я не хуже тебя... ты человѣкъ красиваго слова, и я человѣкъ красиваго слова! Вотъ я слышу голосъ Марьи Львовны... Превосходная женщина... достойна глубокаго уваженія!

ШАЛИМОВЪ.

А мнѣ не нравится эта митральеза... Я, вообще, не поклонникъ женщинъ, достойныхъ уваженія...

БАСОВЪ (радостно).

И это — вѣрно! Недостойныя уваженія женщины— лучше достойныхъ, онѣ лучше, это фактъ!

ДВОЕТОЧІЕ.

И что говоритъ!.. Будучи женатъ на такой, можно сказать, королевѣ...

БАСОВЪ.

Моя жена? Варя? О! Это пуристка! Пуританка! Это удивительная женщина, святая! Но — съ ней скучно! Она много читаетъ и всегда говоритъ отъ какого-нибудь апостола. Выпьемъ за ея здоровье!

ШАЛИМОВЪ.

Заключеніе весьма неожиданное! А все-таки, Марья Львовна...

БАСОВЪ (перебивая).

Ты знаешь,—у нея романъ съ моимъ письмоводителемъ, это фактъ! Я видѣлъ, какъ онъ объяснялся ей въ любви!

ДВОЕТОЧІЕ.

Мм... объ этомъ, пожалуй, лучше бы не говорить.

(Идетъ прочь)

БАСОВЪ.

О да! Это секретъ!

КАЛЕРІЯ (подходитъ).

Сергѣй! Ты Варю не видалъ?

БАСОВЪ.

Вотъ моя сестра! Моя милая поэтесса... Яковъ, она читала тебѣ свои стихи? О, ты послушай—очень мило! Такъ высоко все! Облака... горы... звѣзды...

КАЛЕРІЯ.

Ты, кажется, выпилъ? да?

БАСОВЪ.

Всего одинъ стаканъ.

ЗАМЫСЛОВЪ.

Изъ этой бутылки.

ШАЛИМОВЪ.

Меня весьма интересуютъ ваши поэтическіе опыты, Калерія Васильевна.

КАЛЕРІЯ.

Вдругъ я приму слова ваши, какъ правду, и принесу вамъ четыре толстѣйшихъ тетради!

ШАЛИМОВЪ.

Не пугайте... я не робкій...

КАЛЕРІЯ.

Увидимъ.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА

(въ лѣсу поетъ).

Пора домой... домой!..

КАЛЕРІЯ.

Собираемся домой?

СОНЯ.

Да, всѣ устали...

(Калерія отходитъ въ правую сторону, встрѣчается съ Соней. Замысловъ идетъ на голосъ Юліи Филипповны. Басовъ подмигиваетъ вслѣдъ ему и, наклонясь къ Шалимову, что-то шепчетъ ему. Шалимовъ, слушая его, смѣется)

КАЛЕРІЯ.

Когда я выхожу куда-нибудь изъ дома, вмѣстѣ со мной всегда идетъ какая-то смутная надежда... а возвращаюсь домой—я одна... Съ вами этого не бываетъ—да?

СОНЯ.

Не бываетъ.

КАЛЕРІЯ.

Будетъ.

СОНЯ (смѣясь).

Мнѣ почему-то кажется, что вы говорите грустныя вещи съ удовольствіемъ.

КАЛЕРІЯ.

Да? Мнѣ хочется покрыть тревожною тѣнью думы ваши ясные глаза. Я часто вижу около васъ какихъ-то грубыхъ, оборванныхъ людей — и удивляюсь вашему безстрашію передъ грязью жизни... Вамъ не противно быть съ ними?

СОНЯ (смѣясь).

Вѣдь грязь у нихъ на кожѣ—она легко смывается мыломъ.

(Уходятъ въ глубину, разговоръ становится неясенъ)

ШАЛИМОВЪ (вставая).

Ты—злоязыченъ, Сергѣй... Смотри—самъ мужъ...

БАСОВЪ.

Я?

ШАЛИМОВЪ.

Природа—прекрасна, но зачѣмъ существуютъ комары? Гдѣ-то тутъ я бросилъ мой плэдъ?

(Идетъ направо. Басовъ потягивается и мурлычетъ пѣсенку. Въ глубинѣ сцены Саша, Соня и Пустобайка собираютъ вещи. На лѣвой сторонѣ, около копны сѣна, появляется Варвара Михайловна, въ рукахъ у нея букетъ)

ВЛАСЪ (въ лѣсу).

Кто ѣдетъ въ лодкѣ, господа?

БАСОВЪ.

Варя! Ты гуляешь? А я одинъ. Всѣ ушли.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ты снова много выпилъ, Сергѣй...

БАСОВЪ.

Развѣ много?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Вѣдь тебѣ вреденъ коньякъ. Потомъ будешь жаловаться на сердце.

БАСОВЪ.

Но я преимущественно портвейнъ... Не осуждай меня, Варя! Ты всегда говоришь со мной такъ жестко и строго, а я... я человѣкъ мягкій... я все люблю нѣжной любовью ребенка... дорогая моя, сядь здѣсь!.. И поговоримъ, наконецъ, по душѣ. Намъ нужно поговорить...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Перестань! Уже собираются домой... Вставай и иди къ лодкѣ... ну, иди, Сергѣй!

БАСОВЪ.

Хорошо—иду! Куда идти? Туда? Иду...

(Идетъ, слишкомъ твердо ступая ногами. Варвара Михайловна смотритъ вслѣдъ ему. Лицо у нея суровое. Оглянувшись направо, она видитъ Шалимова, который тихо подходитъ къ ней и ласково улыбается)

ШАЛИМОВЪ.

Лицо у васъ утомленное, глазки грустные... Вы устали?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Немножко.

ШАЛИМОВЪ.

А я сильно усталъ... Усталъ смотрѣть на людей... И мнѣ больно видѣть васъ среди нихъ. Простите!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

За что?

ШАЛИМОВЪ.

Вамъ, можетъ быть, непріятны мои слова?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я сказала бы вамъ это...

ШАЛИМОВЪ.

Я смотрю на васъ, какъ вы молча ходите въ этой шумной толпѣ, и глаза ваши безмолвно спрашиваютъ... И ваше молчаніе—для меня краснорѣчивѣе словъ... Я вѣдь тоже испыталъ холодъ и тяжесть одиночества...

СОНЯ (кричитъ).

Мама! Ты въ лодкѣ?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (изъ лѣса).

Нѣтъ, я пѣшкомъ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(протягиваетъ Шалимову цвѣтокъ).

Хотите взять?

ШАЛИМОВЪ

(съ поклономъ и улыбкой).

Благодарю васъ. Я ревниво храню цвѣты, когда мнѣ даютъ ихъ такъ дружески-просто.

(Власъ въ лѣсу направо: „Эй, сторожъ, гдѣ вторыя весла?“)

Онъ будетъ лежать, вашъ цвѣтокъ, гдѣ-нибудь въ книгѣ у меня... Однажды я возьму эту книгу — увижу цвѣтокъ — и вспомню васъ... Это смѣшно? Сантиментально?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(негромко, опустивъ голову).

Говорите...

ШАЛИМОВЪ

(пытливо заглядывая ей въ лицо).

А должно быть, вамъ очень тоскливо среди этихъ людей, которые такъ трагически не умѣютъ жить.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Научите ихъ жить лучше!

ШАЛИМОВЪ.

Во мнѣ нѣтъ самонадѣянности учителей... Я — чужой человѣкъ, одинокій созерцатель жизни... Я не умѣю говорить громко, и мои слова не пробудятъ смѣлости въ этихъ людяхъ. О чемъ вы думаете?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я? Есть такія мысли... онѣ отталкиваютъ отъ людей... ихъ надо убивать въ зародышѣ...

ШАЛИМОВЪ.

И тогда ваша душа будетъ кладбищемъ... Нѣтъ, не надо бояться, что отойдешь отъ людей... Повѣрьте мнѣ, въ сторонѣ отъ нихъ—воздухъ болѣе чистъ и прозраченъ, все яснѣе, все опредѣленнѣе...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я понимаю васъ... и мнѣ такъ грустно... какъ будто кто-то очень близкій мнѣ—неизлѣчимо заболѣлъ.

(На правой сторонѣ шумятъ)

ШАЛИМОВЪ

(не вслушиваясь въ ея слова).

Если бы вы поняли... какъ искренно я сейчасъ говорю!.. Вы не повѣрите мнѣ, можетъ быть, но я все же скажу вамъ: передъ вами мнѣ хочется быть искреннимъ, быть лучше, умнѣе...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Спасибо вамъ...

ШАЛИМОВЪ

(цѣлуя ея руку, волнуясь).

Мнѣ кажется, что, когда я рядомъ съ вами... я стою у преддверія невѣдомаго, глубокаго, какъ море, счастья... что вы обладаете волшебной силой, которой могли бы насытить другого человѣка, какъ магнитъ насыщаетъ желѣзо... И у меня рождается дерзкая, безумная мысль... Мнѣ кажется, что если бы вы...

(Онъ прерываетъ свою рѣчь, оглядывается. Варвара Михайловна слѣдитъ за нимъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Если бы я?.. Что?

ШАЛИМОВЪ.

Варвара Михайловна... Вы... не посмѣетесь надо мной? Вы хотите, чтобы я сказалъ?..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Нѣтъ... Я поняла... Вы не очень ловкій соблазнитель...

ШАЛИМОВЪ (смущенно).

Нѣтъ, вы не поняли меня!.. вы...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(просто, грустно, тихо).

Какъ я любила васъ, когда читала ваши книги... какъ я ждала васъ! Вы мнѣ казались такимъ... свѣтлымъ, все понимающимъ... Такимъ вы показались мнѣ, когда однажды читали на литературномъ вечерѣ... мнѣ было тогда семнадцать лѣтъ... и съ той поры до встрѣчи съ вами вашъ образъ жилъ въ памяти моей, какъ звѣзда, яркій... какъ звѣзда!

ШАЛИМОВЪ

(глухо, опустивъ голову).

Послушайте... не надо! Я извиняюсь...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Задыхаясь отъ пошлости, я представляла себѣ васъ— и мнѣ было легче... была какая-то надежда...

ШАЛИМОВЪ.

Надо быть великодушной... надо понимать...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

И вотъ вы явились... такой же, какъ всѣ! Такой

же... Это больно! Скажите, что̀ съ вами случилось? Неужели невозможно сохранить силу своей души?

ШАЛИМОВЪ (возбужденно).

Позвольте! Почему вы примѣняете ко мнѣ иныя требованія... иныя мѣрки, чѣмъ вообще къ людямъ?.. Вы всѣ... живете такъ, какъ вамъ нравится, а я, потому что я писатель, долженъ жить, какъ вы хотите!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Не надо такъ говорить! Не надо! Бросьте мой цвѣтокъ!.. Я дала его вамъ—прежнему, тому, котораго считала лучше, выше людей! Бросьте мой цвѣтокъ...

(Быстро уходитъ)

ШАЛИМОВЪ

(глядя вслѣдъ).

Чортъ возьми!.. (Мнетъ цвѣтокъ) Ехидна.

(Нервно вытирая лицо платкомъ, идетъ туда же, куда прошла Варвара Михайловна. Дудаковъ и Ольга быстро идутъ изъ лѣса съ лѣвой стороны)

ЗАМЫСЛОВЪ

(въ лѣсу поетъ).

О ночь, поскорѣе укрой...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (вторитъ).

Прозрачнымъ твоимъ покрываломъ...

ВЛАСЪ (въ лѣсу).

Да садитесь же!

ДУДАКОВЪ.

И вотъ... мы едва не опоздали...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Я такъ устала! Милый мой Кириллъ.. ты не долженъ забывать этотъ день...

ДУДАКОВЪ.

А ты... своихъ обѣщаній... быть болѣе сдержанной...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Другъ мой!.. Я такъ рада... теперь наша жизнь будетъ свѣтлѣе...

(Проходятъ. Пустобайка съ корзиной выходитъ съ правой стороны и ищетъ чего-то глазами на землѣ)

ПУСТОБАЙКА.

Ишь, какъ нахламили вездѣ... Только хламъ да сорье и остается послѣ васъ... Только землю портите!..

(Уходитъ налѣво)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (въ лѣсу).

Кого еще нѣтъ?

СОНЯ.

Мама, ау!

БАСОВЪ.

Ау, мамаша!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(выходитъ съ лѣвой стороны, лицо у нея усталое, растерянный взглядъ).

Я здѣсь, Соня!

СОНЯ (выбѣгаетъ).

Ѣдемъ, мамашка, ѣдемъ!.. Но что съ тобой?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Ничего... Я пойду пѣшкомъ... Иди, скажи, чтобы не ждали меня. Иди...

СОНЯ

(отбѣгая въ сторону и приставляя руки ко рту, кричитъ).

Не ждите насъ, поѣзжайте! Мы пѣшкомъ... Что? До свиданья!

ДВОЕТОЧІЕ (изъ лѣса).

Устанете!

СОНЯ.

Прощайте!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Почему ты не поѣхала съ ними?

СОНЯ.

Потому, что осталась съ тобой...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Ну, идемъ...

СОНЯ.

Нѣтъ, мы посидимъ... Ты въ меланхоліи, мамашка? Милая моя мамашка! Садись... вотъ такъ. Дай мнѣ обнять тебя... вотъ такъ... Ну, говори теперь, что съ тобой?

(Изъ лѣса доносятся шумъ, смѣхъ , вы дѣляются громкіе возгласы)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (изъ лѣса).

Не качайте лодку!

ЗАМЫСЛОВЪ.

Нѣтъ, не надо пѣть!.. Пускай играютъ.

БАСОВЪ (оттуда же).

Музыка, впередъ!

(Слышно, какъ настраиваютъ гитару и мандолину)

ВЛАСЪ (изъ лѣса).

Отчалили!..

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Соня!.. Дочка моя! Если бы ты знала!..

СОНЯ (просто).

А я знаю!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Ты ничего не знаешь!..

СОНЯ.

Мамочка моя! Помнишь,—когда я, маленькая, не понимала урока и ревѣла, какъ дурочка, ты приходила ко мнѣ, брала мою голову на грудь себѣ, вотъ такъ, и баюкала меня. (Поетъ)

Баю, баюшки баю,
Баю, мамочку мою...

Мнѣ кажется, что теперь ты не понимаешь урока, моя мама... Если ты его любишь...

(Двоеточіе хохочетъ)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Соня! Молчи... Какъ ты знаешь?

(Играютъ на гитарѣ и на мандолинѣ)

СОНЯ.

Ш-ш! Лежи спокойно...

Баю, баюшки баю,
Баю, мамочку мою...

У меня мама умница, она научила меня думать просто, ясно... Онъ славный парень, мама,—не отталкивай его! Въ твоихъ рукахъ онъ будетъ еще лучше. Ты уже создала одного хорошаго человѣка—вѣдь я не дурной человѣчишка, мама? И вотъ ты теперь воспитаешь другого...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Родная моя! Это невозможно!

СОНЯ.

Ш-ш! Онъ будетъ братомъ мнѣ... Онъ грубъ, ты сдѣлаешь его мягче, у тебя такъ много нѣжности... Ты научишь его работать съ любовью, какъ работаешь сама, какъ научила меня. Онъ будетъ хорошимъ товарищемъ мнѣ... и мы заживемъ прекрасно... сначала трое... а потомъ насъ будетъ четверо... потому что, родная моя, я выйду замужъ за этого смѣшного Максима... Я люблю его, мама, онъ такой славный!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Соня, дѣтка моя, ты будешь счастлива! Ты будешь!.

СОНЯ.

Лежи и слушай! Кончимъ мы съ нимъ наши науки и будемъ жить дружно, ярко, хорошо! Насъ будетъ четверо, мама, четверо смѣлыхъ, честныхъ людей!..

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Радость моя! Счастье мое! Насъ будетъ трое: ты, твой мужъ и я. А онъ... если онъ—съ нами... только какъ братъ твой... какъ сынъ мой.

СОНЯ.

И мы хорошо проживемъ нашу жизнь! Мы хорошо и сдѣлаемъ! А пока—отдохни мама. Не надо плакать!..

Баю, баюшки баю,
Баю, мамочку мою!

(Въ голосѣ Сони дрожатъ слезы. Вдали чуть слышны гитара и мандолина)

ЗАНАВѢСЪ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Декорація второго дѣйствія. Вечеръ, уже зашло солнце. Подъ соснами Басовъ и Сусловъ играютъ въ шахматы. На террасѣ Саша накрываетъ на столъ къ ужину. Съ правой стороны изъ лѣса доносятся хриплые звуки граммофона; въ комнатахъ Калерія играетъ на роялѣ что-то грустное.

БАСОВЪ.

Наша страна прежде всего нуждается въ людяхъ благожелательно-настроенныхъ. Благожелательный человѣкъ—эволюціонистъ, онъ не торопится...

СУСЛОВЪ.

Беру офицера...

БАСОВЪ.

Возьми офицера... Благожелательный человѣкъ... измѣняетъ формы жизни незамѣтно, потихоньку, но его работа есть единственно прочная...

(Изъ-за угла дачи спѣшно выходитъ Дудаковъ)

ДУДАКОВЪ.

Э... жены у васъ нѣтъ?

БАСОВЪ.

Вашей—нѣтъ! Присаживайтесь, докторъ...

ДУДАКОВЪ.

Не могу... Тороплюсь... надо учительскій отчетъ приготовить къ печати...

БАСОВЪ.

Это вы его второй годъ готовите, кажется?

ДУДАКОВЪ (уходя).

Если, кромѣ меня, никто не работаетъ! Людей много, а работниковъ нѣтъ—почему?

БАСОВЪ.

Нелѣпая фигура—этотъ докторъ.

СУСЛОВЪ.

Ходи...

БАСОВЪ.

Н-да-съ... хожу! Такъ я говорю,—надо чувствовать благожелательно... Мизантропія, мой другъ, излишняя роскошь... Одиннадцать лѣтъ тому назадъ явился я въ эти мѣста... и было у меня всего имущества портфель да коверъ. Портфель былъ пустъ, а коверъ—худъ. И я тоже былъ худъ...

СУСЛОВЪ.

Шахъ королевѣ.

БАСОВЪ.

Ахъ, чортъ побери! Какъ же это я прозѣвалъ твой ходъ конемъ?

СУСЛОВЪ.

Если человѣкъ философствуетъ—онъ проигрываетъ...

БАСОВЪ.

Фактъ, фактъ—какъ говорятъ утки.

(Они углубляются въ игру. На правой сторонѣ изъ лѣса выходятъ Власъ и Марья Львовна, имъ не видно играющихъ)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (негромко).

Милый, хорошій мой юноша! Повѣрьте... это скоро

пройдетъ у васъ... это пройдетъ. И тогда въ душѣ вы скажете мнѣ—спасибо!

ВЛАСЪ (громко).

Тяжело мнѣ, очень тяжело!

(Басовъ прислушивается, дѣлая Суслову знакъ молчать)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Уѣзжайте... уѣзжайте скорѣе, голубчикъ! Я обѣщаю писать вамъ... Работайте, ищите себѣ мѣста въ жизни... будьте смѣлымъ, не уступайте никогда силѣ житейскихъ мелочей. Вы—славный, и я—люблю васъ. Да, да, я люблю васъ. (Басовъ таращитъ глаза. Сусловъ съ улыбкой смотритъ на него) Но это не нужно вамъ и страшно мнѣ... я не стыжусь сознаться—это страшно! Вы быстро переживете ваше увлеченіе, а я... чѣмъ дальше, все больше, все крѣпче стала бы любить васъ... И это кончилось бы очень смѣшно, даже пошло,—во всякомъ случаѣ грустно для меня...

ВЛАСЪ.

Нѣтъ, клянусь вамъ...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Да и не нужно клятвъ...

ВЛАСЪ.

Пройдетъ любовь—останется уваженіе...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Этого мало для женщины, которая любитъ... И вотъ еще что, голубчикъ: мнѣ стыдно жить личной жизнью... можетъ быть, это смѣшно, уродливо, но въ наши дни стыдно жить личной жизнью. Идите, другъ мой, идите! И знайте: въ трудную минуту, когда вамъ нуженъ бу-

детъ другъ,—приходите ко мнѣ... я встрѣчу васъ, какъ любимаго, нѣжно любимаго сына... Прощайте!

ВЛАСЪ.

Дайте вашу руку... Мнѣ хочется встать передъ вами на колѣни... Какъ я люблю васъ! И хочется плакать... Прощайте!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Прощайте, хорошій, милый мой! И помните мой совѣтъ—не нужно ничего бояться... Не подчиняйтесь ничему, никогда... никогда!

ВЛАСЪ.

Я ухожу... Любовь моя! Чистая, первая любовь моя! Благодарю... (Марья Львовна быстро уходитъ въ лѣсъ направо. Власъ идетъ на дачу, видитъ Басова и Суслова, понимаетъ, что они слышали, онъ останавливается. Басовъ встаетъ и кланяется, хочетъ что-то сказать. Власъ идетъ къ нему) Молчать! Молчать! Ни слова! Не смѣйте,—ни слова!

(Уходитъ на дачу)

БАСОВЪ (смущенно).

С-строго!

СУСЛОВЪ (смѣясь).

Что? Испугался?

БАСОВЪ.

Нѣтъ, каковъ? Я зналъ это, но такое... эдакое благородство... ахъ, комики!

(Хохочетъ. Юлія Филипповна и Замысловъ идутъ по дорогѣ отъ дачи Суслова. Юлія идетъ къ мужу, Замысловъ на дачу)

СУСЛОВЪ.

А вѣдь она нарочно, для того, чтобы крѣпче парня въ руки взять...

БАСОВЪ.

Ахъ, чортъ возьми! а? Уморительно!

СУСЛОВЪ (хмуро).

Хитрая она... здоровую свинью подложила мнѣ. Ты знаешь, дядя, по ея совѣту, всѣ свои деньги отдалъ...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Петръ, къ тебѣ тамъ пріѣхалъ...

БАСОВЪ (перебивая).

Нѣтъ, вы спросите, что случилось!

СУСЛОВЪ.

Кто пріѣхалъ?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Что такое? (Мужу) Какой-то подрядчикъ... говоритъ, спѣшное дѣло: гдѣ-то, что-то провалилось...

СУСЛОВЪ

(быстро уходитъ).

Что за вздоръ!

БАСОВЪ.

Вы представьте, дорогая... Сидимъ мы—я и вашъ мужъ, вдругъ, Марья Львовна... (Хохочетъ) оказывается, они—у нихъ романъ!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

У кого? У мужа съ Марьей Львовной?

(Смѣется)

БАСОВЪ.

Власа! У комика съ этой...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Ахъ, вотъ что! Но это всѣмъ давно уже, благодаря вашему языку, извѣстно...

БАСОВЪ.

Да тутъ, видите, дѣло... въ подробностяхъ...

(Изъ-за угла дома выходятъ Двоеточіе, со свертками въ рукахъ, и Рюминъ)

ДВОЕТОЧІЕ.

Миръ бесѣдѣ! Что, Варвара Михайловна дома? Вонъ я кого привезъ.

БАСОВЪ.

Ба! Изъ дальнихъ странствій возвратясь... Здравствуйте! Похорошѣлъ, загорѣлъ, хотя похудѣлъ, да... Откуда вы?

РЮМИНЪ.

Съ юга. Первый разъ видѣлъ море... Здравствуйте, Юлія Филипповна!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Въ самомъ дѣлѣ, вы похорошѣли, Павелъ Сергѣевичъ,—пожалуй, и я поѣду къ морю.

ДВОЕТОЧІЕ.

Пойду въ комнаты... (Идетъ) Племянница, а я тебѣ на прощанье конфектъ привезъ.

БАСОВЪ.

Я видѣлъ море... Я его
Очами жадными измѣрилъ
И силы духа моего
Передъ лицомъ его провѣрилъ...

Такъ? Идите въ домъ, жена будетъ очень рада!

РЮМИНЪ.

Тамъ хорошо! Развѣ только музыка способна изобразить красоту и величіе моря. Передъ лицомъ его человѣкъ чувствуетъ себя маленькимъ—ничтожной пылинкой, какъ передъ лицомъ вѣчности.

(Изъ-за угла дома выходитъ Варвара Михайловна)

БАСОВЪ.

Я соберу шахматы. Варя, пріѣхалъ Павелъ Сергѣевичъ, знаешь?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Онъ у насъ?

БАСОВЪ

(подходя къ ней).

Да. И кажется, очень пополнилъ свой запасъ красивыхъ словъ... Варюша, если бы ты знала! Сижу я съ Сусловымъ, играю, вдругъ Марья Львовна и Власъ... понимаешь—у нихъ романъ! (Смѣется) Вотъ ты говорила, это не то. То самое, самое оно! Фактъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Сергѣй, перестань! Я боюсь, ты скажешь пошлость...

БАСОВЪ.

Варя! да вѣдь я еще не сказалъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я просила тебя не касаться отношеній Марьи Львовны къ моему брату, а ты разболталъ всѣмъ... Неужели ты не понимаешь... какъ это нехорошо?

БАСОВЪ.

Ну, пошла! Право, съ тобой лучше не говорить ни о чемъ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Да, тебѣ, вообще, надо меньше говорить и хоть однажды подумать о томъ, что ты дѣлаешь, и хоть однажды прислушаться къ тому, что о тебѣ говорятъ, Сергѣй...

БАСОВЪ.

Обо мнѣ? Я—выше сплетенъ... Пускай говорятъ все, что угодно! Но меня удивляетъ, что ты, Варя, ты, моя жена...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Честь быть твоей женой... не такъ высока, какъ ты думаешь... и она очень тяжела, эта честь...

БАСОВЪ (возмущаясь).

Варвара, что ты говоришь! Какъ ты говоришь?

(На террасу выходятъ Двоеточіе и Власъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я говорю то, что думаю... и какъ чувствую.

БАСОВЪ.

Я, однако, попрошу тебя объяснить мнѣ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Хорошо, я объясню послѣ.

(Басовъ, фыркая, уходитъ на дачу. Власъ провожаетъ его недружелюбнымъ взглядомъ, садится на нижнюю ступеньку лѣстницы на террасѣ)

ДВОЕТОЧІЕ.

Варвара Михайловна, а я вамъ конфектъ привезъ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Спасибо!

ДВОЕТОЧІЕ

(садится тоже на ступеньку террасы).

Я всѣмъ дамамъ конфектъ привезъ... чтобы не поминали лихомъ,—задобрить хочу, понимаете. Портретикъ-то вашъ дайте мнѣ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Ахъ, да! Сейчасъ.

(Уходитъ въ комнаты)

ДВОЕТОЧІЕ.

Ну, что, дядя Власъ, поѣхали мы?

ВЛАСЪ.

Скорѣе бы!

ДВОЕТОЧІЕ.

Меньше сутокъ осталось. Н-да! Вотъ бы еще сестру вашу сманить... Нечего ей тутъ дѣлать...

ВЛАСЪ (угрюмо).

Здѣсь всѣмъ нечего дѣлать.

ДВОЕТОЧІЕ.

А я радъ, что вы со мной ѣдете. Городишко у насъ маленькій, красивый; кругомъ лѣсъ, рѣка... Домъ у меня огромный—десять комнатъ. Въ одной кашлянешь, по всѣмъ гулъ идетъ. Зимой, когда вьюга воетъ, очень гулко въ комнатахъ. Н-да! (Соня быстро идетъ съ правой стороны) Въ юности, понимаете, одиночество полезно человѣку... а вотъ подъ старость лучше вдвоемъ, хо-хо! А, озорница!.. Прощайте! Завтра я уѣзжаю, а послѣ-завтра вы забудете старика, точно его и нѣтъ на свѣтѣ...

СОНЯ.

Нѣтъ, не забуду. У васъ такая смѣшная фамилія.

ДВОЕТОЧІЕ.

Только-то? Ну, и на томъ спасибо!

СОНЯ.

Нѣтъ, милый дядюшка, право, я не забуду васъ! Вы такой простой, хорошій! А я такъ люблю простыхъ людей! Но... вы не видали маму мою?

ДВОЕТОЧІЕ.

Не имѣлъ удовольствія.

ВЛАСЪ.

На дачѣ ея нѣтъ. Пойдемте, поищемъ... Можетъ быть, она въ бесѣдкѣ надъ рѣкой.

КАЛЕРІЯ.

И я иду, вы ничего не имѣете противъ?

СОНЯ.

Пожалуйста!

(Втроемъ идутъ въ лѣсъ. Двоеточіе смотритъ вслѣдъ имъ, вздыхаетъ, мурлычетъ пѣсенку. Варвара Михайловна выходитъ съ фотографической карточкой въ рукахъ, за ней Рюминъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Вотъ вамъ карточка моя. Когда вы ѣдете?

ДВОЕТОЧІЕ.

Завтра. Спасибо за надпись! Эхъ, милая барыня, полюбилъ я васъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

За что любить меня?

ДВОЕТОЧІЕ.

Да развѣ любятъ за что-нибудь? Любятъ такъ, просто!.. Настоящая любовь она, какъ солнце въ небѣ, неизвѣстно, на чемъ держится.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Не знаю я этого...

ДВОЕТОЧІЕ.

Вижу, что не знаете... Ѣхали бы вы ко мнѣ. Вотъ братишка вашъ ѣдетъ. Нашли бы себѣ какое-нибудь дѣло.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Что же я могу дѣлать? Ничего я не умѣю!

ДВОЕТОЧІЕ.

Не учились, оттого и не умѣете. А вы поучитесь! Вотъ будемъ мы съ Власіемъ гимназіи строить... мужскую и женскую...

РЮМИНЪ (разсѣянно).

Чтобы жизнь имѣла смыслъ, нужно дѣлать какое-то огромное, важное дѣло... слѣды котораго остались бы въ вѣкахъ... Нужно строить какіе-то храмы...

ДВОЕТОЧІЕ.

Ну, это—премудрость, для меня недоступная! Я и до гимназіи-то не самъ дошелъ, а добрый человѣкъ надоумилъ, да...

РЮМИНЪ.

Даже высшія школы даютъ намъ только рядъ противорѣчивыхъ теорій, только догадки о тайнахъ жизни...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (съ досадой).

Господи! Какъ это скучно! Какъ избито... затрепано...

РЮМИНЪ

(смотритъ на всѣхъ и странно, тихо смѣется).

Да, я знаю: это мертвыя слова, какъ осенніе листья... Я говорю ихъ такъ, по привычкѣ... не знаю, зачѣмъ... можетъ быть потому, что осень настала... Съ той поры, какъ я увидѣлъ море—въ моей душѣ звучитъ, не умолкая, задумчивый шумъ зеленыхъ волнъ, и въ этой музыкѣ тонутъ всѣ слова людей... точно капли дождя въ морѣ...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Вы странный какой-то... Что съ вами?

(Калерія и Власъ идутъ изъ лѣса съ правой стороны)

РЮМИНЪ (смѣясь).

Ничего... Увѣряю васъ.

КАЛЕРІЯ.

Твердо стоять на ногахъ—это значитъ стоять по колѣни въ грязи.

ВЛАСЪ.

А вы бы желали утвердиться на воздухѣ? Вамъ бы все только чистоту шлейфа и души сохранить? Но кому, зачѣмъ нужны вы, чистенькіе, холодненькіе?

КАЛЕРІЯ.

Я себѣ нужна!..

ВЛАСЪ.

Заблужденіе! И себѣ вы не нужны...

КАЛЕРІЯ.

Я не хочу говорить съ вами—вы грубы.

(Быстро уходитъ въ комнаты)

ДВОЕТОЧІЕ.

Ну, что, дядя Власъ? Разберединлъ барышню и доволенъ?

ВЛАСЪ

(садится на нижнюю ступеньку у ногъ сестры).

Надоѣла она мнѣ. (Передразниваетъ) Ахъ, я умираю съ тоски... Я сказалъ ей: жить надо съ людьми, умирать въ одиночествѣ...

РЮМИНЪ (быстро).

Вотъ! Это жестоко, но—вы правы... да! Такъ!

(Басовъ и Юлія Филипповна выходятъ на террасу)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(какъ бы про себя).

Жизнь проходитъ въ сторонѣ отъ насъ и не трогаетъ сердца... а только волнуетъ нашу мысль...

БАСОВЪ.

Варя, я распорядился, чтобы Саша накрывала для ужина здѣсь. (Сусловъ быстро идетъ отъ своей дачи) Семенъ Семеновичъ, мы устроимъ вамъ маленькіе проводы... Выпьемъ шипучаго! Предлогъ законный.

ДВОЕТОЧІЕ.

Очень тронутъ...

СУСЛОВЪ.

Юлія, на минутку...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Что такое?

(Сусловъ отводитъ жену и по дорогѣ что-то шепчетъ ей. Она отшатнулась отъ него, остановилась. Онъ беретъ ее подъ

руку и ведетъ направо, гдѣ они нѣсколько минутъ тихо разговариваютъ и возвращаются къ террасѣ послѣ того, какъ Басовъ уходитъ)

БАСОВЪ.

Я предложу вамъ, господа, колбасы... такая, знаете, колбаса! Мнѣ прислалъ ее одинъ кліентъ изъ Украйны... А гдѣ же мой помощникъ? (Негромко) Онъ же помощникъ мужа Юліи Филипповны...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(возмущенно, тихо).

Сергѣй! Какъ это гадко!

БАСОВЪ (задорно).

Но вѣдь это всѣ знаютъ, Варя! И ты напрасно такъ рѣзко... Саша!..

(Идетъ въ комнаты)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (злорадно).

Дядя! А у Петра стѣна въ тюрьмѣ упала... раздавило двухъ рабочихъ!

СУСЛОВЪ (усмѣхаясь).

Обрадовалась!..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (пугливо).

Что вы? Гдѣ это?

СУСЛОВЪ.

Въ уѣздѣ.

ДВОЕТОЧІЕ.

Поздравляю! Эхъ... чадо! Ты на постройкѣ-то бы валъ?

СУСЛОВЪ.

Былъ... Это подрядчикъ, мерзавецъ.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Вретъ! Не былъ ни разу... ему некогда!

ДВОЕТОЧІЕ.

Пороть бы вашего брата!.. Экіе люди! Живутъ безъ дѣйствія...

СУСЛОВЪ (усмѣхаясь).

А вотъ я застрѣлюсь... и будетъ дѣйствіе.

РЮМИНЪ

(отрицательно качая головой).

Вы—не застрѣлитесь.

СУСЛОВЪ.

А вдругъ?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Какъ же, Петръ Ивановичъ... что же тѣ, которыхъ задавило... умерли?

СУСЛОВЪ (хмуро).

Не знаю... завтра съѣзжу туда.

(Идетъ Ольга Алексѣевна)

ВЛАСЪ

(громко ворчитъ).

Экая мерзость!

СУСЛОВЪ

(оскаливъ зубы).

Тише, юнопа, тише!

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (подходя).

Добрый вечеръ! Какъ вы сидите... точно птицы осенью... Я всѣхъ видѣла сегодня. Ахъ, Павелъ Сергѣевичъ!.. Давно ли?

(Сусловъ снова отходитъ съ женой въ сторону и что-то говоритъ ей. Лицо у него

злое. Юлія Филипповна насмѣшливо кланяется ему, идетъ обратно къ террасѣ. Сусловъ, громко насвистывая, идетъ къ своей дачѣ. Двоеточіе, посмотрѣвъ на Юлію Филипповну, идетъ за Сусловымъ)

РЮМИНЪ.

Только сегодня.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

И уже здѣсь? Вы хорошій другъ. Душно какъ! Скоро осень... Переѣдемъ мы въ городъ и тамъ, среди каменныхъ стѣнъ, будемъ еще болѣе далеки и чужды другъ другу...

ВЛАСЪ (ворчитъ).

Начинается нытье...

БАСОВЪ

(изъ двери на террасу).

Павелъ Сергѣевичъ, на моментикъ!

(Рюминъ идетъ на зовъ. Навстрѣчу ему Калерія и Шалимовъ. Власъ, не отвѣчая Ольгѣ Алексѣевнѣ, встаетъ со ступеньки и идетъ къ соснамъ)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (Власу).

Развѣ это неправда?

ШАЛИМОВЪ

(скучно, лѣниво).

Ждутъ обновленія жизни отъ демократіи, но, спрошу васъ, кто знаетъ, что это за звѣрь—демократъ?

КАЛЕРІЯ (взволнованно).

Да, да! Вы тысячу разъ правы... Это еще звѣрь, варваръ! Его сознательное желаніе одно—быть сытымъ.

ШАЛИМОВЪ.

И носить сапоги со скрипомъ.

КАЛЕРІЯ.

Во что онъ вѣруетъ? Въ чемъ его культъ?

ВЛАСЪ (раздраженно).

А вы? Вы во что вѣруете? Въ чемъ вашъ культъ?

КАЛЕРІЯ

(не отвѣчая Власу).

Жизнь обновляется людьми вѣрующими... аристократіей духа...

ВЛАСЪ.

Кто эта аристократія? Гдѣ она?

КАЛЕРІЯ.

Я не хочу говорить съ вами, Власъ! Яковъ Петровичъ, идемте туда...

(Сходятъ съ террасы, идутъ къ елкамъ и тамъ садятся, негромко разговаривая Калерія нервничаетъ, Шалимовъ спокоенъ, движенія лѣнивы, медленны, точно онъ сильно усталъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(подходя ко Власу).

Ты сегодня страшно нервенъ, Власъ...

ВЛАСЪ (глухо).

Мнѣ тяжело, Варя...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Власъ Михайловичъ, пойдемте къ рѣкѣ...

ВЛАСЪ.

Нѣтъ... извините... не хочется...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Ну, пожалуйста! Мнѣ нужно что-то сказать вамъ...

ВЛАСЪ (нехотя).

Хорошо, идемте. Что такое?

(Юлія Филипповна беретъ его подъ руку и что-то тихо говоритъ ему, идя въ глубину сцены. Варвара Михайловна идетъ на террасу)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА

(ловя руку Варвары Михайловны).

Варя! Ты все еще сердишься?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (задумчиво).

Сержусь? Нѣтъ.

ВЛАСЪ

(въ глубинѣ сцены, громко).

Пошлякъ! Если бы онъ не былъ мужемъ сестры моей...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Ш-ш!

(Увлекаетъ его въ лѣсъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (испуганно).

Боже мой! Что такое?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Вѣроятно, инженерша сплетничаетъ. Варя, я вѣдь вижу — ты сердишься! Вѣдь слово, сорвавшееся съ языка въ минуту раздраженія...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (задумчиво).

Прошу тебя — оставь это! Я не люблю ничего заштопаного... и заштопанной дружбы...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (встаетъ).

Какъ ты злопамятна! Неужели нельзя забыть? Простить, наконецъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(твердо, холодно).

Мы слишкомъ много прощаемъ... Это слабость... Она убиваетъ уваженіе другъ къ другу... Есть человѣкъ, которому я очень много прощала... теперь я потеряла всякое значеніе въ его глазахъ...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА

(послѣ паузы).

Ты говоришь о Сергѣѣ Васильевичѣ? (Варвара Михайловна не отвѣчаетъ, тихо покачивая головой и глядя куда-то впередъ) Какъ быстро мѣняются люди! Я помню его студентомъ... какой онъ тогда былъ хорошій! Безпечный, веселый бѣднякъ... рубаха-парень—звали его товарищи... А ты мало измѣнилась: все такая же задумчивая, серьезная, строгая... Когда стало извѣстно, что ты выходишь за него замужъ, я помню, Кириллъ сказалъ мнѣ: съ такой женой Басовъ не пропадетъ. Онъ легкомысленъ и склоненъ къ пошлости, но она...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (просто).

Зачѣмъ ты это говоришь, Ольга? Чтобы показать мнѣ, что я сама—ничтожество?

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Варя! Какъ ты можешь думать это? Я просто такъ... я вспомнила...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(негромко, очень ясно, какъ приговоръ себѣ).

Да, я тоже безсильный, жалкій человѣкъ. Это ты хотѣла сказать? Я это знаю, Ольга, давно знаю!

САША (на террасѣ).

Варвара Михайловна, баринъ проситъ васъ.

(Варвара Михайловна молча идетъ въ комнаты)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА

(Идетъ вслѣдъ за Варварой Михайловной).

Варя, послушай, ты не поняла!

КАЛЕРІЯ (негромко).

Человѣкъ, который думаетъ, что истина открыта,— для меня умеръ! (Пауза. Шалимовъ куритъ) Скажите, вамъ грустно жить?

ШАЛИМОВЪ.

Порою—очень.

КАЛЕРІЯ.

Часто?

ШАЛИМОВЪ.

Весело—никогда не живется. Я уже слишкомъ много видѣлъ, для того, чтобы веселиться. Да и время невеселое, скажу прямо.

КАЛЕРІЯ (тихо).

Жизнь каждаго думающаго человѣка — тяжелая драма.

ШАЛИМОВЪ.

Да... Скажите...

КАЛЕРІЯ.

Что?

ШАЛИМОВЪ (встаетъ).

Скажите откровенно: вамъ нравятся мои разсказы?

КАЛЕРІЯ (живо).

Очень! Особенно послѣдніе... Они менѣе реальны,

въ нихъ меньше грубой плоти! Они полны той мягкой, теплой грустью, которая окутываетъ душу, какъ облако окутываетъ солнце въ часъ заката. Немногіе умѣютъ цѣнить ихъ, но эти немногіе горячо любятъ васъ.

ШАЛИМОВЪ (съ улыбкой).

Благодарю васъ. Вы говорили о новыхъ стихахъ... Не прочитаете ли?

КАЛЕРІЯ.

Хорошо. Потомъ какъ-нибудь. (Пауза. Шалимовъ молча наклоняетъ голову, соглашаясь съ Калеріей. Власъ и Юлія Филипповна задумчиво идутъ изъ лѣса съ правой стороны, приходятъ къ соснамъ. Власъ садится, облокотясь на столъ, и тихо свиститъ. Юлія Филипповна идетъ въ комнаты) Хотите—сейчасъ?

ШАЛИМОВЪ.

Что—сейчасъ?

КАЛЕРІЯ

(печально улыбаясь).

Забыли уже?.. Какъ скоро!

ШАЛИМОВЪ

(хмуритъ брови).

Позвольте... это...

КАЛЕРІЯ (встаетъ).

Вы просили прочитать стихи... Хотите, сейчасъ прочитаю?

ШАЛИМОВЪ (быстро).

О да, прошу! Такой чудесный вечеръ... это будетъ славно. Вы ошибаетесь, я не забылъ... просто задумался, не понялъ вопроса.

КАЛЕРІЯ

(идетъ въ домъ).

Хорошо... Я прочитаю. Хотя вамъ вѣдь это совсѣмъ не интересно.

ШАЛИМОВЪ

(слѣдя за ней).

Это неправда, повѣрьте мнѣ.

(Калерія быстро вбѣгаетъ на террасу, Шалимовъ пожимаетъ плечами и дѣлаетъ гримасу. Оглядывается, видитъ Власа. По дорогѣ отъ дачи Суслова идутъ: Двоеточіе, Сусловъ. Оба сердитые, молчатъ)

ШАЛИМОВЪ (Власу).

Мечтаете?

ВЛАСЪ (не грубо).

Свищу.

(На террасу выходятъ: Ольга Алексѣевна, садится въ плетеное кресло около перилъ; Рюминъ—становится сбоку, она что-то говоритъ ему негромко; Басовъ—останавливается у накрытаго стола, разсматриваетъ закуски. Варвара Михайловна стоитъ, прислонившись къ колоннѣ террасы. Замысловъ передъ ней)

БАСОВЪ.

Всѣ въ сборѣ? А Власъ? Марья Львовна?

ВЛАСЪ.

Я здѣсь.

(Юлія Филипповна выходитъ изъ дачи, тихонько напѣвая, садится на ступеньки террасы. Двоеточіе стоитъ, слушая Замыслова. Сусловъ, взглянувъ на оратора, проходитъ подъ сосны, гдѣ молча сидятъ Шалимовъ и Власъ)

ЗАМЫСЛОВЪ.

Мы всѣ, Варвара Михайловна, люди сложные.

БАСОВЪ

(перегибаясь черезъ перила).

Отлично. Яковъ, ты здѣсь? Ага!

ЗАМЫСЛОВЪ.

Именно эта сложность нашей психики и дѣлаетъ насъ лучшими людьми страны—сирѣчь интеллигенціей, а вы...

(Изъ глубины сцены съ правой стороны идутъ Марья Львовна и Соня)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (нервно).

Интеллигенція—это не мы! Мы что-то другое... Мы—дачники въ нашей странѣ... какіе-то пріѣзжіе люди. Мы суетимся, ищемъ въ жизни удобныхъ мѣстъ... мы ничего не дѣлаемъ и отвратительно много говоримъ.

БАСОВЪ (насмѣшливо).

Особенно блестяще ты сама доказываешь правду твоихъ словъ.

(Калерія выходитъ съ тетрадкой въ рукѣ, останавливается у стола и слушаетъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (нервнѣе).

И страшно много лжи въ нашихъ разговорахъ! Чтобы скрыть другъ отъ друга духовную нищету, мы одѣваемся въ красивыя фразы, въ дешевые лохмотья книжной мудрости... Говоримъ о трагизмѣ жизни, не зная ея, любимъ ныть, жаловаться, стонать...

(Дудаковъ подходитъ къ террасѣ и становится такъ, что жена не видитъ его)

РЮМИНЪ (нервозно).

Надо быть справедливой! Жалоба человѣка красива... Жестоко это, Варвара Михайловна, сомнѣваться въ искренности стоновъ человѣка.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Довольно жалобъ, имѣйте мужество молчать! Надо молчать о своихъ маленькихъ печаляхъ. Вѣдь мы умѣемъ

молчать, когда довольны днями нашей жизни? Каждый изъ насъ поглощаетъ свой кусокъ счастья въ одиночествѣ, а горе свое, ничтожную царапину сердца мы выносимъ на улицу, показываемъ всѣмъ и кричимъ, и плачемъ о нашей боли на весь міръ! Мы выбрасываемъ вонъ изъ нашихъ домовъ объѣдки наши и отравляемъ ими воздухъ города... вотъ такъ же мы выкидываемъ изъ нашихъ душъ все дрянное и тяжелое подъ ноги ближнихъ. Я увѣрена, что сотни и тысячи здоровыхъ людей погибаютъ, отравленные и оглушенные нашими жалобами и стонами... Кто далъ намъ злое право отравлять людей тяжелымъ видомъ нашихъ личныхъ язвъ?

(Пауза)

ВЛАСЪ (негромко).

Браво, Варя!

ДВОЕТОЧІЕ.

Умница! Вѣрно!

(Марья Львовна молча гладитъ руку Варвары Михайловны. Власъ и Соня тоже около нея. Рюминъ нервно встряхиваетъ головой)

РЮМИНЪ.

Прошу слова! Позвольте мнѣ сказать... мое послѣднее слово!

КАЛЕРІЯ.

Надо имѣть мужество молчать...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (Басову).

Какъ она стала говорить, смѣло... рѣзко!..

БАСОВЪ.

Да, заговорила Валаамова...

(Не кончивъ слова, испуганно закрываетъ себѣ ротъ рукой. Взволнованная Варвара

Михайловна не замѣтила выходки мужа, но многіе слышали и поняли ее. Замысловъ быстро сходитъ съ террасы къ соснамъ и хохочетъ. Шалимовъ улыбается и укоризненно качаетъ головой. Власъ и Соня смотрятъ на Басова съ презрѣніемъ; остальные дѣлаютъ видъ, будто ничего не замѣтили. Послѣ отрывочныхъ замѣчаній, вызванныхъ словами Варвары Михайловны, наступаетъ неловкое молчаніе. Сусловъ кашляетъ, улыбаясь. Варвара Михайловна, замѣчая что-то неладное, растерянно осматривается)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я, кажется, сказала что-то... можетъ быть, рѣзкое, грубое? Отчего всѣ такъ странно?..

ВЛАСЪ (громко).

Это не ты сказала грубость...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА

(съ невиннымъ видомъ).

Въ чемъ дѣло, господа?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(быстро, негромко).

Власъ, пожалуйста, не надо! (Начинаетъ говорить, чтобы затушевать выходку Басова. Потомъ увлекается, говоритъ сильно, горячо. Шалимовъ, Сусловъ и Замысловъ демонстративно не слушаютъ ее. Дудаковъ утвердительно качаетъ головой. Басовъ смотритъ на нее съ благодарностью и знаками приглашаетъ слушать) Мы всѣ должны быть иными, господа! Дѣти прачекъ, кухарокъ, дѣти здоровыхъ рабочихъ людей—мы должны быть иными! Вѣдь еще никогда въ нашей странѣ не было образованныхъ людей, связанныхъ съ массою народа родствомъ крови... Это кровное родство должно бы питать насъ горячимъ желаніемъ *расширить*, перестроить, освѣтить жизнь родныхъ

намъ людей, которые всѣ дни свои только работаютъ, задыхаясь во тьмѣ и грязи... Мы не изъ жалости, не изъ милости должны бы работать для расширенія жизни... мы должны дѣлать это для себя... для того, чтобы не чувствовать проклятаго одиночества... не видѣть пропасти между нами—на высотѣ—и родными нашими—тамъ, внизу, откуда они смотрятъ на насъ, какъ на враговъ, живущихъ ихъ трудомъ! Они послали насъ впередъ себя, чтобы мы нашли для нихъ дорогу къ лучшей жизни... а мы ушли отъ нихъ и потерялись, и сами мы создали себѣ одиночество, полное тревожной суеты и внутренняго раздвоенія... Вотъ наша драма! Но мы сами создали ее, мы достойны всего, что насъ мучитъ! Да, Варя! Мы не имѣемъ права насыщать жизнь нашими стонами.

(Она устала отъ волненія и садится рядомъ съ Варварой Михайловной. Молчаніе)

ДУДАКОВЪ

(оглядывая всѣхъ).

Вотъ!.. Это такъ! Это правда!

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (быстро).

Ты здѣсь? Поди сюда...

ШАЛИМОВЪ

(приподнимая шляпу).

Вы кончили, Марья Львовна?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Да.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА

(отводитъ мужа въ уголъ террасы).

Ты слышалъ? Понялъ? Какой дуракъ Басовъ!

ДУДАКОВЪ (негромко).

Причемъ тутъ Басовъ?

(На террасѣ общее движеніе. Варвара Микайловна смотритъ на всѣхъ. Еще нѣтъ увѣренности, что выходка Басова заглажена, забыта)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Тише! Варвара тутъ говорила такое злое, а онъ назвалъ ее Валаамовой ослицей.

ДУДАКОВЪ.

Ну, и дубина онъ! Оля, тамъ дома, знаешь...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Подожди!.. Калерія хочетъ стихи читать. Нѣтъ, это хорошо все-таки, это хорошо! Варвара стала такая гордячка.

(Рюминъ, подавленный, сходитъ съ террасы и прохаживается около нея)

ШАЛИМОВЪ.

Господа, вотъ Калерія Васильевна любезно согласилась прочитать свои стихи...

БАСОВЪ.

Читай, милая, скорѣе!

КАЛЕРІЯ (смущенно).

Хорошо, я прочитаю... хорошо.

ШАЛИМОВЪ.

Вамъ стулъ.

КАЛЕРІЯ.

Не надо. Варя, чему это я обязана? Такой интересъ къ моимъ стихамъ ужасаетъ меня.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я не знаю. Очевидно, кто-то сдѣлалъ безтактность и всѣ стараются скрыть ее.

КАЛЕРІЯ.

Ну, я буду читать. Мои стихи постигнетъ та же участь, какъ и твои слова, Варя. Все поглощается бездонной трясиной нашей жизни...

Осени дыханіемъ гонимы,
Медленно съ холодной высоты
Падаютъ красивыя снѣжинки,
Маленькіе, мертвые цвѣты...

Кружатся снѣжинки надъ землею,
Грязной, утомленной и больной,
Нѣжно покрывая грязь земную
Ласковой и чистой пеленой...

Черныя, задумчивыя птицы...
Мертвые деревья и кусты...
Бѣлыя, безмолвныя снѣжинки
Падаютъ съ холодной высоты...

(Пауза. Всѣ смотрятъ на Калерію, какъ будто ждутъ еще чего-то)

ШАЛИМОВЪ.

Мило!

РЮМИНЪ (задумчиво).

Падаютъ красивыя снѣжинки,
Мертвые, холодные цвѣты...

ВЛАСЪ (возбужденно).

Я тоже сочинитель стиховъ, я тоже хочу прочитать стихи!

ДВОЕТОЧІЕ (хохочетъ).

А ну-ка!

ШАЛИМОВЪ.

Интересное состязаніе!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Власъ, нужно ли это?

ЗАМЫСЛОВЪ.

Если это весело—это необходимо!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Голубчикъ! Напомню вамъ—будьте самимъ собой!

(Всѣ смотрятъ на возбужденное лицо Власа. Становится очень тихо)

ВЛАСЪ.

Господа! Я хочу показать вамъ, какъ это легко и просто — насорить стихами въ головѣ ближняго своего... Вниманіе!

(Читаетъ ясно и сильно, съ вызовомъ)

Маленькіе, нудные людишки
Ходятъ по землѣ моей отчизны,
Ходятъ и—уныло ищутъ мѣста,
Гдѣ бы можно спрятаться отъ жизни.

Все хотятъ дешевенькаго счастья,
Сытости, удобствъ и тишины,
Ходятъ и—все жалуются, стонутъ,
Сѣренькіе трусы и лгуны.

Маленькія, краденыя мысли...
Модныя, красивыя словечки...
Ползаютъ тихонько съ краю жизни
Тусклые, какъ тѣни, человѣчки.

(Кончивъ, онъ стоитъ неподвижно и смотритъ поочередно на Шалимова, Рыжина,

Суслова. Пауза. Всѣмъ неловко. Калерія пожимаетъ плечами. Шалимовъ медленно закуриваетъ папироску. Сусловъ очень возбужденъ. Марья Львовна и Варвара Михайловна подходятъ ко Власу, видимо, боясь чего-то)

ДУДАКОВЪ

(тихо, но внятно).

Эт-то ужасно мѣтко. Знаете... это ужасно вѣрно!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Браво! Это мнѣ нравится!

ДВОЕТОЧІЕ.

Ну, разнесъ!.. Ахъ ты... душа моя красная!

КАЛЕРІЯ.

Грубо... Зло... Зачѣмъ?

ЗАМЫСЛОВЪ.

Не весело... Нѣтъ!

ШАЛИМОВЪ.

Тебѣ нравится, Сергѣй?

БАСОВЪ.

Мнѣ? Т. е., видишь ли, конечно, рифма слабая... Но—какъ шутка...

ЗАМЫСЛОВЪ.

Для шутки это серьезно.

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (Шалимову).

Ахъ, какъ вы ловко притворяетесь!

СУСЛОВЪ (желчно).

Позвольте теперь мнѣ, тусклому человѣчку, отвѣтить

на это... на этотъ... извините, не знаю—какъ назвать этотъ родъ творчества. Вы, Власъ Михайловичъ... я вамъ не буду отвѣчать... Я обращусь прямо къ источнику вашего вдохновенія... къ вамъ, Марья Львовна!

ВЛАСЪ.

Что такое? Вы! Смотрите!

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (гордо).

Ко мнѣ? Это странно... но я слушаю.

СУСЛОВЪ.

Ничуть не странно, ибо мнѣ извѣстно, что именно вы—муза этого поэта.

ВЛАСЪ.

Безъ пошлостей!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (мягко).

Безъ пошлостей онъ не можетъ.

СУСЛОВЪ.

Я просилъ бы не мѣшать мнѣ... Когда я кончу, я отвѣчу, какъ вамъ будетъ угодно, за все, что скажу... Вы, Марья Львовна, такъ называемый, идейный человѣкъ... Вы гдѣ-то тамъ дѣлаете что-то таинственное... можетъ быть, великое, историческое, это ужъ не мое дѣло!.. Очевидно, вы думаете, что эта ваша дѣятельность даетъ вамъ право относиться къ людямъ сверху внизъ.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (спокойно).

Это неправда.

СУСЛОВЪ.

Вы стремитесь на всѣхъ вліять, всѣхъ поучать... Вы настроили на обличительный ладъ этого юношу...

ВЛАСЪ.

Что вы тамъ мелете?

СУСЛОВЪ (зло).

Терпѣніе, юноша! Я до сего дня молча терпѣлъ ваши выходки!.. Я хочу сказать вамъ, что если мы живемъ не такъ, какъ вы хотите, почтенная Марья Львовна, у насъ на то есть свои причины! Мы наволновались и наголодались въ юности; естественно, что въ зрѣломъ возрастѣ намъ хочется много и вкусно ѣсть, пить, хочется отдохнуть... вообще, наградить себя съ избыткомъ за безпокойную, голодную жизнь юныхъ дней...

ШАЛИМОВЪ (сухо).

Кто это мы, можно узнать?

СУСЛОВЪ

(все горячѣе).

Мы! Это я, вы, онъ, онъ, всѣ мы. Да, да... Мы всѣ здѣсь—дѣти мѣщанъ, дѣти бѣдныхъ людей... Мы, говорю я, много голодали и волновались въ юности... Мы хотимъ поѣсть и отдохнуть въ зрѣломъ возрастѣ—вотъ наша психологія. Она не нравится вамъ, Марья Львовна, но она вполнѣ естественна и другой быть не можетъ! Прежде всего человѣкъ, почтенная Марья Львовна, а потомъ всѣ прочія глупости... И потому оставьте насъ въ покоѣ! Изъ-за того, что вы будете ругаться и другихъ подстрекать на эту ругань, изъ-за того, что вы назовете насъ трусами или лѣнтяями, никто изъ насъ не устремится въ общественную дѣятельность... Нѣтъ! Никто!

ДУДАКОВЪ.

Какой цинизмъ! Вы перестали бы!

СУСЛОВЪ

(все горячѣе).

А за себя скажу: я не юноша! Меня, Марья Львовна, безполезно учить! Я взрослый человѣкъ, я рядовой русскій человѣкъ, русскій обыватель! Я обыватель—и больше ничего-съ! Вотъ мой планъ жизни. Мнѣ нравится быть обывателемъ... Я буду жить, какъ я хочу! И, наконецъ, наплевать мнѣ на ваши розсказни... призывы... идеи!

(Онъ нахлобучиваетъ шляпу и быстро идетъ по направленію къ своей дачѣ. Общее недоумѣніе. Замысловъ, Басовъ и Шалимовъ отходятъ въ сторону, оживленно и тихо разговаривая. Варвара Михайловна и Марья Львовна составляютъ отдѣльную группу. Юлія Филипповна, Двоеточіе и Дудаковъ съ женой тоже въ одной группѣ. Общій нервный говоръ. Калерія, подавленная, одиноко стоитъ подъ сосной. Рюминъ быстро ходитъ взадъ и впередъ)

ВЛАСЪ

(отходитъ въ сторону, схвативъ себя за голову).

Чортъ меня возьми! Чортъ возьми!

(Соня идетъ за нимъ, говоритъ ему что-то)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Да это истерія! Такъ обнажить себя можетъ только психически больной!

РЮМИНЪ

(Марьѣ Львовнѣ).

Вы видите... вы видите, какъ ужасна правда?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Какъ это тяжело!

ДВОЕТОЧІЕ

(Юліи Филипповнѣ).

Ничего не понимаю... ничего!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Марья Львовна, голубушка, скажите, онъ обидѣлъ васъ, да?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Меня? Нѣтъ. Онъ себя обидѣлъ!

ДВОЕТОЧІЕ.

Чудны дѣла ваши, господа хорошіе!

ДУДАКОВЪ (женѣ).

Подожди... (Двоеточію) Это нарывъ! Понимаете, прорвался нарывъ въ душѣ... Это у каждаго изъ насъ можетъ быть...

(Взволнованный, машетъ руками и, сильно запинаясь, не можетъ говорить)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Николай Петровичъ...

ЗАМЫСЛОВЪ

(подходя къ ней).

Васъ это разстроило?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Нисколько... Но мнѣ неудобно оставаться здѣсь. Проводите меня.

ЗАМЫСЛОВЪ.

Какъ глупо, а? И жалко: патронъ изготовилъ такой, знаете, съѣдобный сюрпризъ!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Оставьте! Довольно сюрпризовъ.

(Уходятъ)

ШАЛИМОВЪ

(подходя къ Калеріи).

Какъ это вамъ нравится?

КАЛЕРІЯ.

Это ужасно! Какъ будто тина поднялась со дна болота и душитъ меня, душитъ!..

(Басовъ подходитъ ко Власу и молча беретъ его за рукавъ)

ВЛАСЪ.

Что вамъ угодно?

БАСОВЪ

(отводя его въ сторону).

На пару словъ.

РЮМИНЪ

(подходя къ Варварѣ Михайловнѣ, внѣ себя).

Варвара Михайловна, этотъ ураганъ желчной пошлости смялъ мою душу... опрокинулъ... меня. Я ухожу... прощайте! Я пришелъ проститься съ вами... Мнѣ хотѣлось провести тихій вечеръ... послѣдній вечеръ! Я ухожу навсегда. Прощайте!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(не слушая его).

Знаете, что я думаю? Мнѣ кажется, Сусловъ искреннѣе всѣхъ васъ. Да, да, искреннѣе! Онъ грубо сказалъ, но онъ сказалъ ту безпощадную правду, которую другіе не смѣютъ сказать!

РЮМИНЪ (отступая).

Это все? Это ваше прости? Боже мой!

(Идетъ въ глубину сцены)

БАСОВЪ (Власу).

Ну, батенька, вы отличились! Какъ же теперь? Вы оскорбили мою сестру... и Якова, который... онъ писатель! Всѣми уважаемый! Къ тому же Сусловъ... наконецъ, Рюминъ! Вамъ надо извиниться...

ВЛАСЪ.

Что-о? Я? Извиняться? Передъ ними?

БАСОВЪ.

Ну, что же, это ничего! Ну, скажите: просто, молъ, хотѣлъ пошутить, развеселить и—пересолилъ... Васъ извинятъ, всѣ привыкли къ вашимъ выходкамъ... всѣ вѣдь знаютъ, что вы, въ сущности, комикъ.

ВЛАСЪ (кричитъ).

Ступайте къ чорту! Вы сами комикъ. Вы шутъ гороховый!

СОНЯ.

Господа! Пощадите!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Власъ, что ты?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Да это волна безумія...

ДВОЕТОЧІЕ.

Власъ, вы, того, уйдите!

БАСОВЪ.

Нѣтъ, позвольте, я тоже оскорбленъ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Сергѣй, прошу тебя! Власъ!

БАСОВЪ.

Нѣтъ-съ! Я не шутъ гороховый!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Власъ, не смѣй...

ВЛАСЪ.

Только уваженіе къ сестрѣ не позволяетъ мнѣ сказать вамъ...

(Калерія подходитъ)

САША

(Варварѣ Михайловнѣ).

Подавать кушать?

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Уйдите!

САША

(негромко Двоеточію).

Ужъ лучше бы подать! Баринъ увидятъ кушанье на столѣ и перестанутъ сердиться.

ДВОЕТОЧІЕ.

Пошла ты прочь!

БАСОВЪ (Власу).

Нѣтъ-съ, я прошу васъ! (Вдругъ свирѣпо оретъ на Власа) Вы мальчишка!

[illegible]

Идите прочь! Я здѣсь ничто. Меня въ моемъ домѣ...
(Выходятъ изъ комнаты)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА (Сонѣ).

Уведи его къ намъ. (Власу) Уйдите, голубчикъ!

ВЛАСЪ.

Вы простите меня, простите! И ты, сестра, прости! Я виноватъ. Несчастная моя сестренка! Уйди отсюда! Уходи!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (негромко).

Куда? Куда я уйду?

ДВОЕТОЧІЕ.

А вотъ ко мнѣ бы, право! Какъ бы это хорошо!

(Его словъ никто не слышитъ. Онъ тяжело вздыхаетъ и тихо идетъ къ дачѣ Суслова)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Идите и вы ко мнѣ, Варя, идите!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я приду... Власъ... послѣ... приду...

(Варвара Михайловна идетъ на дачу, Марья Львовна за ней, Власъ и Соня уходятъ въ лѣсъ. Калерія, разбитая, шатаясь, тоже уходитъ на дачу)

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Вотъ такъ скандалъ! И какъ все это вдругъ! Ты понимаешь что-нибудь, Кириллъ?

ДУДАКОВЪ.

Я? понимаю! да! Когда-нибудь мы всѣ должны были опротивѣть другъ другу!.. И вотъ опротивѣли! Власъ, онъ мѣтко попалъ, Ольга! Онъ попалъ! Но надо тебѣ идти домой.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Подожди! Это такъ интересно! Можетъ быть, еще что-нибудь будетъ.

ДУДАКОВЪ.

Э, Ольга, это же нехорошо! И надо идти домой... Тамъ всѣ кричатъ, плачутъ. Волька обругалъ няньку, она сердится, а онъ говоритъ, что она его за ухо дер-

нула... И вообще, тамъ катастрофы. Я давно уже говорю тебѣ—надо идти домой.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Неправда! Ты не говорилъ!..

ДУДАКОВЪ.

Говорилъ же! Вонъ тамъ мы стояли, ты что-то разсказывала о Басовѣ, и я тебѣ сказалъ.

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Ты ничего не сказалъ мнѣ, Кириллъ!

ДУДАКОВЪ.

Я не знаю, о чемъ ты споришь? Я же помню: иди домой,—сказалъ я...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Ты не могъ мнѣ сказать: иди домой! Такъ говорятъ только дѣтямъ и прислугѣ.

ДУДАКОВЪ.

Ольга! Ты вздорная женщина!

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Да? Какъ тебѣ не стыдно, Кириллъ! Ты обѣщалъ мнѣ быть сдержаннымъ.

ДУДАКОВЪ

(идетъ прочь отъ нея).

Не говори! Это... это глупо! Это бабство!

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА

(слѣдуя за нимъ).

Глупо, Кириллъ? Я—баба? (Со слезами) Такъ, благодарю!

(Они скрываются въ лѣсу. Нѣсколько секундъ сцена пуста. Темнѣетъ. Изъ комнатъ на террасу выходятъ Басовъ и Шалимовъ)

ШАЛИМОВЪ (Басову).

Мой другъ, надо быть немножко философомъ! Смѣшно горячиться изъ-за пустяка...

БАСОВЪ.

Вѣдь досадно! Мальчишка! Молокососъ! Ты ужъ не сердись, а?

ШАЛИМОВЪ.

Такія выходки, какъ выходка этого... куплетиста изъ неудачныхъ... ежедневно встрѣчаются въ уличныхъ газетахъ. Но, мой другъ, кого же онѣ трогаютъ?

(Сходятъ съ террасы и стоятъ у сосны, быстро подходитъ Сусловъ)

СУСЛОВЪ.

Сергѣй Васильевичъ! Я воротился... я понимаю, что долженъ извиниться передъ тобой (Шалимову) и передъ вами. Я не сдержался... Но меня давно возмущала она... Она и подобные ей—органически противны мнѣ... Я ненавижу ея лицо, ея манеру говорить.

БАСОВЪ.

Понимаю, батя, очень хорошо понимаю! Человѣкъ долженъ быть мягокъ, деликатенъ.

ШАЛИМОВЪ (сухо).

Но вы хватили черезъ край вашей характеристикой... да-съ...

БАСОВЪ (торопливо).

Э, полно! Я подпишусь подо всѣмъ, что онъ сказалъ, Ей-Богу! А эту барыню я бы, откровенно говоря... такъ бы...

СУСЛОВЪ.

Всѣ женщины—актрисы, вотъ въ чемъ дѣло! Русскія женщины по преимуществу драматическія актрисы... все героинь хотятъ играть...

БАСОВЪ.

Н-да-а, женщины... трудно съ ними жить!

(Варвара Михайловна и Марья Львовна выходятъ на террасу)

ШАЛИМОВЪ.

Мы сами создаемъ эти трудности. Намъ нужно сказать себѣ, что женщины—это все еще низшая раса.

БАСОВЪ

(какъ бы говоря чужими словами).

Конечно... да, другъ ты мой. Женщина ближе насъ къ звѣрю. Чтобы подчинить женщину своей волѣ—нужно примѣнять къ ней мягкій, но сильный и красивый въ своей силѣ, непремѣнно красивый, деспотизмъ.

(Въ лѣсу, на правой сторонѣ, раздается выстрѣлъ. На него не обращаютъ вниманія)

СУСЛОВЪ.

Просто нужно, чтобы она чаще была беременной, тогда она вся въ вашихъ рукахъ.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА

(негромко, сильно).

Какая гадость!..

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Боже мой, это разложеніе какое-то! Точно трупы загнили... Идите, Варя, отсюда!

(Сусловъ тихо идетъ прочь и сухо кашляетъ)

БАСОВЪ

(торопливо бросаясь къ женѣ).

Это ты, Петръ, того... Это ужъ ты перехватилъ... пересолилъ!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (Шалимову).

Вы! Вы!

ШАЛИМОВЪ

(снимая шляпу, пожимаетъ плечами).

Что же я?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Идемте скорѣе, Варя!.. Идемте прочь.

(Увлекаетъ Варвару Михайловну за собой. Басовъ растерянно смотритъ вслѣдъ имъ)

БАСОВЪ.

Чортъ возьми!.. Подслушали... ахъ ты!

ШАЛИМОВЪ (усмѣхаясь).

Ну, братъ... плохой ты товарищъ.

БАСОВЪ

(огорченный, тревожно).

Угораздило его... чорта!.. Этакое желчное чудовище!.. Развѣ такія вещи говорятъ такъ неосторожно? Ф-фу!

ШАЛИМОВЪ (сухо).

Завтра я уѣду. Здѣсь свѣжо и сыровато... иду въ комнаты.

БАСОВЪ (уныло).

А тамъ сестра реветъ! Это фактъ!..

(Уходятъ. Тихо. Пустобайка и Кропилкинъ выходятъ изъ-за дачи Басова, оба тепло одѣтые, съ трещотками и свистками. Съ дачи Суслова доносятся аккорды рояля. Потомъ Юлія Филипповна и Замысловъ поютъ дуэтъ: „Уже утомившійся день“)

ПУСТОБАЙКА.

Ну, ты пойди на тотъ участокъ, а я обойду этотъ, покажемся, а потомъ въ кухню, къ Степанидѣ чай пить!

КРОПИЛКИНЪ.

Рано мы вышли... никто еще не спитъ.

ПУСТОБАЙКА.

Для видимости надо походить. Ну, иди...

КРОПИЛКИНЪ

(идетъ налѣво).

Пошелъ... Эхъ, Господи!

ПУСТОБАЙКА.

Сору-то сколько... черти! Въ родѣ гуляющихъ, эти дач-

ники... появятся, насорятъ на землѣ—и нѣтъ ихъ... А ты послѣ ихняго житья разбирай. Подметай...

(Громко, съ досадой стучитъ трещоткой и свиститъ. Кропилкинъ отвѣчаетъ свистомъ. Пустобайка уходитъ. Калерія выходитъ и садится подъ соснами, печальная, задумчивая. Прислушивается къ пѣнію, покачивая головой, тихо подпѣваетъ. Съ правой стороны въ лѣсу раздается голосъ Пустобайки)

ПУСТОБАЙКА

(громко, тревожно).

Кто такой? Чего? Ахъ ты, сдѣлай милость!

(Калерія пугливо прислушивается)

ПУСТОБАЙКА

(ведетъ подъ руки Рюмина).

Къ Басову, что ли?

КАЛЕРІЯ.

Сергѣй! Сергѣй!..

РЮМИНЪ.

Доктора... прошу васъ!

КАЛЕРІЯ.

Павелъ Сергѣевичъ! Вы? Что съ вами? Что съ нимъ?

ПУСТОБАЙКА.

Я иду, а онъ—ползетъ встрѣчу... по землѣ... говоритъ—раненъ...

КАЛЕРІЯ.

Вы ранены? Сергѣй, къ Марьѣ Львовнѣ! Скорѣе доктора...

БАСОВЪ (выбѣгая).

Что ты? Что это?

РЮМИНЪ.

Простите меня.

КАЛЕРІЯ.

Кто васъ ранилъ?

ПУСТОБАЙКА (ворчитъ).

Кому здѣсь ранить человѣка? Не иначе—самъ себя. Пистолетъ—вотъ онъ...

(Вынимаетъ изъ пазухи револьверъ и спокойно, внимательно разсматриваетъ его)

БАСОВЪ.

Это вы? А я думалъ—Замысловъ... я думалъ, Петръ его... (Быстро убѣгаетъ и кричитъ) Марья Львовна!

ШАЛИМОВЪ (въ пледѣ).

Что... это кто? Что случилось?

КАЛЕРІЯ.

Вамъ очень больно?

РЮМИНЪ.

Мнѣ стыдно... стыдно мнѣ!

ШАЛИМОВЪ.

Можетъ быть, это не опасно?

РЮМИНЪ.

Уведите меня отсюда... Я не хочу, чтобы она видѣла... *уведите* меня! Прошу васъ!

КАЛЕРІЯ (Шалимову).

Да идите же... зовите...

(Шалимовъ идетъ къ дачѣ Суслова. Шумъ бѣгущихъ людей, отрывочные возгласы. Являются: Марья Львовна, Варвара Михайловна, Соня, Власъ)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Вы? эхъ!.. Соня, помогай! Снимай пиджакъ... спокойно, не волнуйся...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Павелъ Сергѣевичъ...

РЮМИНЪ.

Простите меня! Я долженъ былъ сразу... но, когда у человѣка сердце маленькое и сильно бьется,—въ него трудно попасть пулей.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Зачѣмъ? Зачѣмъ вы?..

КАЛЕРІЯ

(Рюмину, истерически кричитъ).

Это жестоко! (Спохватившись) Что я говорю! Простите!

ВЛАСЪ (Калеріи).

Уйдите, вамъ вредно... уйдите, голубчикъ!

(Идетъ къ соснамъ. Бѣгутъ: Сусловъ, Двоеточіе въ одномъ жилетѣ и пальто, накинутомъ сверху, безъ шляпы; потомъ Замысловъ и Юлія Филипповна, Дудаковъ, растрепанный, раздраженный, Ольга Алексѣевна, робкая, растерянная)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Ага! Вотъ гдѣ!.. Ну, кажется, это пустяки!

РЮМИНЪ.

Идутъ сюда... Варвара Михайловна, дайте мнѣ вашу руку.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Зачѣмъ все это?

РЮМИНЪ.

Я люблю васъ... не могу жить безъ васъ!

ВЛАСЪ

(сквозь зубы).

Чортъ тебя возьми... съ твоею любовью!

КАЛЕРІЯ

(громко шепчетъ).

Не смѣйте такъ! Не добивайте умирающихъ.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА

(Варварѣ Михайловнѣ).

Вы уйдите-ка, уйдите! А вы, сударь, не волнуйтесь, рана пустяковая... А вотъ докторъ.

ДУДАКОВЪ.

Н-ну, что? Рана?.. Ну, плечо?.. И кто же это стрѣляетъ себѣ въ плечо? Надо въ лѣвый бокъ... въ черепъ... если это серьезно.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

[redacted]ириллъ Акимовичъ, что вы говорите?

ДУДАКОВЪ.

А... да! Извините! Ну... перевязали? Что же?.. Несите его...

БАСОВЪ.

Несите къ намъ... къ намъ, Варя?

РЮМИНЪ.

Не нужно... Я могу идти.

ДУДАКОВЪ.

Можете? И превосходно.

РЮМИНЪ

(идетъ шатаясь, Басовъ и Сусловъ держатъ его).

Да... вотъ, жилъ неудачно и умереть не сумѣлъ... жалкій человѣкъ!

(Его уводятъ въ комнаты)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Онъ правъ...

ЗАМЫСЛОВЪ (уныло).

Какой печальный водевиль!

ПУСТОБАЙКА (Двоеточію).

Это я привелъ господина.

ДВОЕТОЧІЕ.

Ага... хорошо!

ПУСТОБАЙКА.

Мнѣ бы за безпокойство на водку надо получить съ кого-*нибудь*.

ДВОЕТОЧІЕ (укоризненно).

Какой ты, братъ, несуразный!

(Дастъ ему денегъ)

ПУСТОБАЙКА.

Спасибо.

КАЛЕРІЯ

(Варварѣ Михайловнѣ).

Онъ умираетъ? Это должна была сдѣлать я; такъ, Варя?..

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Молчи... не надо! (Истерически) Какіе всѣ мы противные... О! Почему?

ШАЛИМОВЪ

(Марьѣ Львовнѣ).

Что... очень опасная рана?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Нѣтъ...

ШАЛИМОВЪ.

Гм... непріятный случай!.. Варвара Михайловна, позвольте...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА (вздрогнувъ).

Что такое?

ШАЛИМОВЪ.

Назадъ тому нѣсколько минутъ вы слышали слова...

(Выходятъ Басовъ, Сусловъ и Дудаковъ)

БАСОВЪ.

Я положили мы его.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Оставьте! Я не вѣрю... не хочу объясненія! Я ненавижу всѣхъ васъ неизсякаемой ненавистью. Вы—жалкіе люди, несчастные уроды!

ВЛАСЪ.

Подожди, сестра,—это я скажу... я знаю: вы—ряженые! Пока я живъ, я буду всегда срывать съ васъ лохмотья, которыми вы прикрываете вашу ложь... вашу пошлость... нищету вашихъ чувствъ и развратъ мысли!

(Шалимовъ, пожимая плечами, отходитъ въ сторону)

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Перестаньте! Это безполезно!

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Нѣтъ. Пусть эти люди слушаютъ. Я дорого заплатила за мое право говорить съ ними откровенно! Они изуродовали душу мою, они отравили мнѣ всю жизнь! Развѣ такой я была? Я не вѣрю... я ни во что не вѣрю! У меня нѣтъ силъ... мнѣ нечѣмъ жить! Развѣ такой я была!

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА (съ тоской).

Это и я скажу! Это и я могу сказать!

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА (мужу).

Смотри на Варвару, на лицо ея... видишь, какая она злая!..

(Дудаковъ отстраняетъ жену рукой)

БАСОВЪ.

Варя, полно! Развѣ нельзя все это иначе? Ну, что

такое? Ну, глупъ этотъ Рюминъ... стоитъ ли изъ-за него...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Поди прочь, Сергѣй.

БАСОВЪ.

Другъ мой...

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Я никогда не была твоимъ другомъ... и ты моимъ... никогда! Мы были только мужемъ и женой. Теперь мы чужіе. Я ухожу!

БАСОВЪ.

Куда? Ну, какъ не стыдно, Варя! При людяхъ, на улицѣ!

(Въ глубинѣ сцены неподвижно стоитъ Сусловъ)

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Здѣсь нѣтъ людей...

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Уйдемте, Варя...

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА.

Ахъ, не мѣшайте ей! Пусть она скажетъ.

ДВОЕТОЧІЕ (горестно).

Э-эхъ, господа! душу вы мнѣ разстроили... эхъ, господа!

КАЛЕРІЯ

(Марьѣ Львовнѣ).

Послушайте, что же это такое? Что это?

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Успокойтесь! Помогите мнѣ увести ее.

ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА.

Да, я уйду! Дальше отсюда, гдѣ вокругъ тебя все гніетъ и разлагается... Дальше отъ бездѣльниковъ. Я хочу жить! Я буду жить... и что-то дѣлать... противъ васъ! Противъ васъ! (Смотритъ на всѣхъ и кричитъ съ отчаяніемъ) О, будьте вы прокляты!

ВЛАСЪ.

Иди, сестра! Не надо, будетъ!

(Ведетъ ее подъ руку прочь)

БАСОВЪ (Шалимову).

Да помоги же мнѣ прекратить все это!

ШАЛИМОВЪ

(спокойно, съ усмѣшкой).

Дай ей холодной воды... Чего же больше?

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА

(подходитъ къ Варварѣ Михайловнѣ).

Ахъ, если бы и я могла уйти!

БАСОВЪ.

Варя! Ну, куда ты? Марья Львовна, это нехорошо. *Вы—врачъ, вы должны* успокоить.

МАРЬЯ ЛЬВОВНА.

Отстаньте отъ меня!

ДВОЕТОЧІЕ (Басову).

Эхъ, вы, злодѣй невинный!

(Идетъ вслѣдъ за Варварой Михайловной и Власомъ въ лѣсъ направо)

КАЛЕРІЯ (рыдая).

А я! А мнѣ—куда же?

СОНЯ

(подходитъ къ ней).

Идите къ намъ... идите.

(Уводитъ Калерію)

ЮЛІЯ ФИЛИППОВНА

(спокойно и какъ-то зловѣще).

Ну, Петръ Ивановичъ!.. Идемъ... продолжать нашу жизнь...

(Сусловъ молча оскалилъ зубы и идетъ)

БАСОВЪ.

Что же это такое? Съ ума, что ли, всѣ сошли? Этотъ Рюминъ! Вотъ болванъ, а? Это все его дурацкіе нервы!.. Яковъ, что ты молчишь? Что ты смѣешься? Ты думаешь, это не серьезно? Такъ неожиданно! Бумъ—и все полетѣло къ чорту! Что же теперь дѣлать?

ШАЛИМОВЪ.

Мой другъ, успокойся! Все это только риторика на почвѣ истеріи... повѣрь мнѣ!

(Беретъ Басова подъ руку и ведетъ его на дачу. Дудаковъ, заложивъ руки за

спину, выходитъ изъ комнатъ и медленно идетъ направо; тамъ его молча ждетъ жена, неподвижно стоя подъ деревьями)

БАСОВЪ.

Ахъ... чортъ побери!

ШАЛИМОВЪ (съ усмѣшкой).

Успокойся... видишь— вонъ Сусловы пошли продолжать свою жизнь... пойдемъ и мы спокойно продолжать нашу...

ОЛЬГА АЛЕКСѢЕВНА.

Кириллъ... онъ умретъ?

ДУДАКОВЪ (угрюмо).

Нѣтъ... Идемъ... Никто не умретъ...

(Идутъ въ лѣсъ)

ШАЛИМОВЪ.

Все это, мой другъ, такъ незначительно... и люди, событія... Налей мнѣ вина!.. Все это такъ ничтожно, ой другъ...

(Пьетъ. Въ лѣсу тихо и протяжно свистятъ сторожа)

ЗАНАВѢСЪ.

И. БУНИНЪ.

ПАМЯТИ ЧЕХОВА.

Я познакомился съ Чеховымъ въ Москвѣ, въ концѣ девяносто пятаго года. Видѣлись мы тогда мелькомъ, и я не упомянулъ бы объ этой встрѣчѣ, если бы мнѣ не запомнилось нѣсколько фразъ, очень, по-моему, характерныхъ для Чехова даже по ихъ тону.

— Вы много пишете?—между прочимъ, спросилъ онъ меня.

Я отвѣтилъ, что мало.

— Напрасно,—почти угрюмо сказалъ онъ своимъ низкимъ груднымъ баритономъ.—Нужно, знаете, работать... Не покладая рукъ... всю жизнь.

И, помолчавъ, безъ видимой связи прибавилъ:

— По-моему, написавъ разсказъ, слѣдуетъ вычеркивать его начало и конецъ. Тутъ мы, беллетристы, больше всего времъ...

Потомъ разговоръ зашелъ о стихахъ, и онъ вдругъ оживленно спросилъ:

— Послушайте, а стихи Алексѣя Толстого вы любите? Вотъ, по-моему, актеръ! Какъ надѣлъ въ молодости оперный костюмъ, такъ на всю жизнь и остался.

Послѣ этихъ мимолетныхъ встрѣчъ, этихъ случайныхъ разговоровъ, нѣсколько фразъ которыхъ я привожу только потому, что въ нихъ были затронуты любимыя темы Чехова—о томъ, что надо работать „не покладая рукъ“ и быть въ работѣ до аскетизма правдивымъ и простымъ,—мы не видѣлись до весны девяносто девятаго года. Въ апрѣлѣ этого года я пріѣхалъ

на нѣсколько дней въ Ялту и однажды вечеромъ встрѣтилъ Чехова на набережной.

— Почему вы не заходите ко мнѣ?—было его первыми словами.—Непремѣнно приходите завтра.

— Когда?—спросилъ я.

— Утромъ, часу въ восьмомъ.

И, вѣроятно, замѣтивъ на моемъ лицѣ удивленіе, онъ пояснилъ:

— Мы встаемъ рано. А вы?

— Я тоже,—сказалъ я.

— Ну, такъ вотъ и приходите, какъ встанете. Будемъ пить кофе. Вы пьете кофе?

— Изрѣдка пью.

— Пейте каждый день. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульономъ. Утромъ—кофе, въ полдень—бульонъ. А то на сытый желудокъ плохо работается.

Я поблагодарилъ за приглашеніе и замолчалъ, обрадованный и взволнованный. Онъ тоже замолчалъ, и такъ мы прошли всю набережную и сѣли въ скверѣ на скамью.

— Любите вы море?—сказалъ я, чтобы сказать что-нибудь.

— Да, — отвѣтилъ онъ. — Только ужъ очень оно пустынно.

— Это-то и хорошо,—сказалъ я.

— Не знаю,—отвѣтилъ онъ, глядя куда-то вдаль сквозь стекла пенснэ и, очевидно, думая о чемъ-то своемъ.—По-моему, хорошо быть офицеромъ, молодымъ студентомъ... Сидѣть гдѣ-нибудь въ людномъ мѣстѣ, слушать веселую музыку...

И, по своей манерѣ, помолчалъ и безъ видимой связи прибавилъ:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описаніе моря я читалъ недавно въ одной ученической

тетрадкѣ? „Море было большое“. И только. По-моему, очень хорошо!

Можетъ быть, вышеприведенныя фразы покажутся кому-нибудь странными или манерными. Но я не боюсь ихъ приводить,—даже подчеркиваю, что считаю ихъ характерными для Чехова. Чеховъ и манерность! Поставить рядомъ эти два слова могутъ только тѣ, которые не имѣютъ никакого понятія о Чеховѣ. А кто же не знаетъ, что одна изъ самыхъ яркихъ его особенностей есть именно отсутствіе манерности, полное отсутствіе всяческихъ условностей и всяческихъ ухищреній, которыми мы улавливаемъ другъ друга въ свои сѣти.

„Скажу прямо,—говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ одинъ изъ знавшихъ Чехова,—я встрѣчалъ людей не менѣе искреннихъ, чѣмъ Чеховъ, но людей до такой степени простыхъ, чуждыхъ всякой фразы и аффектировки, я не помню“.

И это святая правда. Онъ горячо любилъ все искренное, жизненное, органическое,—если только оно не было грубо и косно,—и положительно не выносилъ фразеровъ, книжниковъ и фарисеевъ, особенно тѣхъ изъ нихъ, которые настолько вошли въ свои роли, что роли стали ихъ вторыми натурами. Въ своихъ работахъ онъ почти никогда не говорилъ о себѣ, о своихъ вкусахъ, о своихъ взглядахъ, что̀ и повело, кстати сказать, къ тому, что его долго считали человѣкомъ безпринципнымъ, необщественнымъ... Въ жизни онъ также никогда не носился со своимъ „я“; очень рѣдко говорилъ о своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ: „я люблю то-то“... „я не выношу того-то“... это не Чеховскія фразы... Но симпатіи и антипатіи его были чрезвычайно устойчивы и опредѣленны, и среди его симпатій одно изъ первыхъ мѣстъ занимала именно естественность. И, конечно, только его постоянной жаждой наивысшей простоты, его отвращеніемъ ко

всему вычурному, неестественному и напряженному объясняется его замѣчаніе о наивной прелести дѣтскаго описанія моря. А въ его словахъ объ офицерѣ и музыкѣ сказалась другая его особенность: сдержанность. Неожиданный переходъ отъ моря къ офицеру былъ, несомнѣнно, вызванъ его затаенной грустью о молодости, о здоровьѣ. Море пустынно... а онъ любилъ жизнь, радость, и за послѣдніе годы эта жажда радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, особенно часто сказывалась въ его разговорѣ. Но именно только сказывалась: ставить точки надъ і онъ не любилъ.

Слова за послѣднее время стали очень дешевы. И хорошія, и дурныя слова произносятся теперь съ удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего такъ говорятъ объ умершихъ. Очень много легкости, лжи, неточностей, а порою—просто скудоумія можно встрѣтить и въ воспоминаніяхъ о Чеховѣ. Пишутъ же, напримѣръ, что Чеховъ происходилъ чуть ли не изъ мужицкой семьи, что отецъ его былъ прасолъ, что Чеховъ поѣхалъ на Сахалинъ за тѣмъ, чтобы поддержать репутацію „серьезнаго“ человѣка, и въ дорогѣ такъ простудился, что нажилъ чахотку... Пишутъ даже такой вздоръ, какъ то, что смерть Чехова была ускорена постановкой „Вишневаго сада“: наканунѣ спектакля, сказано въ одной брошюркѣ о Чеховѣ, Чеховъ такъ волновался, такъ боялся, что его пьеса не понравится публикѣ, что всю ночь бредилъ... Все это, повторяю, сущій вздоръ. Дѣдъ Чехова только въ ранней молодости былъ крѣпостнымъ, а затѣмъ откупился на волю и служилъ управляющимъ у графа Панина,—и, кстати сказать, былъ очень живой и талантливый человѣкъ; мать Чехова происходитъ изъ купеческаго рода Морозовыхъ; отецъ воспитывался и почти всю жизнь прожилъ въ городѣ, занимаясь сперва бакалейной торговлей въ Таганрогѣ, потомъ въ конторѣ купцовъ Гавриловыхъ въ Москвѣ, а съ тѣхъ поръ, какъ

сыновья стали на ноги,—главнымъ образомъ, чтеніемъ, къ которому имѣлъ исключительную склонность... Въ томъ, что Чеховъ поѣхалъ на Сахалинъ за репутаціей „серьезнаго“ человѣка, тоже нѣтъ ни слова правды: никогда въ жизни Чеховъ не игралъ ролей,—это было діаметрально противоположно его натурѣ. Поѣхалъ онъ на Сахалинъ потому, что его интересовалъ Сахалинъ и еще потому, что въ путешествіи онъ хотѣлъ встряхнуться послѣ смерти брата Николая, талантливаго художника. И чахотку онъ нажилъ не въ Сибири,—о томъ, что его легкія „хрипятъ“, онъ упоминалъ въ письмахъ къ сестрѣ еще въ 87 г.,—хотя несомнѣнно, что ѣздить ему не слѣдовало: взять хотя бы этотъ страшно тяжелый двухмѣсячный путь на перекладныхъ, ранней весной, въ дождь и въ холодъ, почти безъ сна и положительно на пищѣ св. Антонія, благодаря дикости сибирскихъ трактовъ,—путь, о которомъ Чеховъ писалъ роднымъ съ удивительнымъ спокойствіемъ, а чаще всего даже въ шутку! Что же касается до волненій о „Вишневомъ садѣ“, то это выдумано ужъ просто нелѣпо. Пишущіе, конечно, очень чувствительны къ тому, что говорятъ о нихъ, и много, много есть въ пишущихъ чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической... Но, Боже мой, какъ все это далеко отъ такого большого и сильнаго человѣка, какъ Чеховъ! Конечно, и его волновало отношеніе къ нему толпы, но вѣдь рѣдко кто съ такимъ мужествомъ слѣдовалъ велѣніямъ своего сердца, а не велѣніямъ толпы, какъ онъ, и немногіе умѣли такъ, какъ онъ, скрывать ту острую боль, которую причиняетъ человѣческому уму человѣческая глупость. Намъ извѣстенъ, по крайней мѣрѣ, только одинъ вечеръ, когда Чеховъ былъ явно потрясенъ неуспѣхомъ,—вечеръ постановки „Чайки“ въ Петербургѣ. Но съ тѣхъ поръ много воды утекло... Если бы „Вишневый садъ“ и потерпѣлъ неуспѣхъ, спокойно взглянули бы на этотъ неуспѣхъ его благородные и уже усталые глаза

Да и кто могъ знать, волнуется онъ или нѣтъ? Того, что совершалось въ глубинѣ его души, никогда не знали во всей полнотѣ даже самые близкіе ему люди. А что же сказать о постороннихъ и особенно о тѣхъ не чуткихъ и не умныхъ, имя которымъ, поистинѣ, легіонъ, и къ откровенности съ которыми Чеховъ былъ органически не способенъ?

Мальчикомъ Чеховъ былъ, по словамъ его школьнаго товарища Сергѣенко, „вялымъ увальнемъ съ лунообразнымъ лицомъ". Я, судя по портретамъ и по разсказамъ родныхъ Чехова, представляю его себѣ иначе. Слово „увалень" совсѣмъ не подходитъ къ хорошо сложенному, выше средняго роста мальчику. И лицо у него было не „лунообразное", а просто — большое, очень умное и очень спокойное лицо. Вотъ это-то спокойствіе и дало, вѣроятно, поводъ считать мальчика Чехова „увальнемъ",—спокойствіе, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было—даже въ послѣдніе годы. Но и спокойствіе это было, мнѣ кажется, особенное,—спокойствіе мальчика, въ которомъ зрѣли большія, свѣжія силы, рѣдкая наблюдательность и рѣдкій юморъ. Да и какъ, въ противномъ случаѣ, согласовать слова Сергѣенко съ разсказами матери и братьевъ Чехова о томъ, что въ дѣтствѣ „Антоша" былъ неистощимъ на выдумки, которыя заставляли хохотать до слезъ даже суроваго въ ту пору Павла Егоровича! Какъ объяснить то, что этотъ „увалень" учился сравнительно очень недурно, едва заглядывая въ учебники?.. Въ юности, — въ тѣ счастливые дни, когда ему доставляло удовольствіе проектировать такія произведенія, какъ „Искусственное разведеніе ежей,— руководство для сельскихъ хозяевъ",—это спокойствіе какъ бы потонуло въ пышномъ расцвѣтѣ прирожденной Чехову жизнерадостности: всѣ, кто знали его въ эту пору, говорятъ о неотразимомъ очарованіи его веселости, красоты его открытаго, простого, но ярко оду-

хотвореннаго лица и его лучистыхъ, честныхъ глазъ... Но годы шли, жизненный опытъ возросталъ, духъ и мысль становились все глубже и прозорливѣе—и Чеховъ снова овладѣлъ собою. Это было время, когда онъ, смѣло отдавъ дань молодости, первымъ непосредственнымъ проявленіемъ своей богатой натуры, уже приступилъ къ суровому въ своей художественной неподкупности изображенію дѣйствительности. И мои первыя встрѣчи съ нимъ относятся именно къ этому времени.

Въ Москвѣ, въ девяносто пятомъ году, я увидѣлъ человѣка среднихъ лѣтъ, въ пенснэ, одѣтаго просто и пріятно, довольно высокаго, очень стройнаго и очень легкаго въ движеніяхъ. Встрѣтилъ онъ меня привѣтливо, но такъ просто, что я,—тогда еще юноша, не привыкшій къ такому тону при первыхъ встрѣчахъ,—принялъ эту благородную простоту за холодность... Въ Ялтѣ я нашелъ его уже сильно измѣнившимся: онъ похудѣлъ, потемнѣлъ въ лицѣ; во всемъ его обликѣ попрежнему сквозило присущее ему изящество,—однако, это было изящество уже не молодого, а много пережившаго и еще болѣе облагороженнаго пережитымъ человѣка. И голосъ его звучалъ уже мягче... Но, въ общемъ, по обращенію, онъ былъ почти тотъ же, что и въ Москвѣ: привѣтливъ, но сдержанъ, говорилъ довольно оживленно, но еще болѣе просто и кратко, и во время разговора все думалъ о чемъ-то своемъ, предоставляя собесѣднику самому улавливать переходы въ скрытомъ теченіи своихъ мыслей, и все глядѣлъ на море сквозь стекла пенснэ, слегка приподнявъ лицо... На другое утро, послѣ встрѣчи на набережной, я поѣхалъ къ нему на дачу. Ясно помню это веселое, солнечное утро, которое мы провели съ Чеховымъ въ его садикѣ. Онъ былъ очень оживленъ, много шутилъ и, между прочимъ, прочиталъ мнѣ единственное, какъ онъ

говорилъ, стихотвореніе, написанное имъ: „Зайцы, басня для дѣтей“.

Шли однажды черезъ мостикъ
Жирные китайцы;
Впереди ихъ, задравъ хвостикъ,
Поспѣшали зайцы.

Вдругъ китайцы закричали:
„Стой, лови! Ахъ! Ахъ!“
Зайцы выше хвостъ задрали
И попрятались въ кустахъ.

Мораль сей басни такъ ясна:
Кто хочетъ зайцевъ кушать,
Тотъ ежедневно, вставъ отъ сна,
Папашу долженъ слушать.

Съ тѣхъ поръ я началъ бывать у него все чаще и чаще, а потомъ сталъ и совсѣмъ своимъ человѣкомъ въ его домѣ. Сообразно съ этимъ, конечно, измѣнилось и отношеніе ко мнѣ Чехова. Оно стало оживленнѣе, сердечнѣе... Но сдержанность осталась; и проявлялась она не только въ обращеніи со мной, но и съ людьми самыми близкими ему, и означала она, какъ я убѣдился потомъ, не равнодушіе, а нѣчто гораздо большее...

Бѣлая каменная дача въ Ауткѣ, такая красивая и стройная подъ яркимъ, южнымъ солнцемъ и синимъ небомъ; ея маленькій садикъ, который съ такой заботливостью разводилъ Чеховъ, всегда любившій цвѣты, деревья и животныхъ; его кабинетъ, украшеніемъ котораго служили только двѣ-три картины Левитана да огромное полукруглое окно, открывавшее видъ на утонувшую въ садахъ долину рѣки Учанъ-Су и синій треугольникъ моря; тѣ часы, дни, иногда даже мѣсяцы, которые я проводилъ на этой дачѣ, и то сознаніе близости къ человѣку, который плѣнялъ меня не только своимъ умомъ и талантомъ, но даже своимъ

суровымъ голосомъ и своей дѣтской улыбкой—останутся навсегда одними изъ самыхъ лучшихъ воспоминаній моей жизни. Былъ и онъ настроенъ ко мнѣ дружески... по крайней мѣрѣ, такъ чувствовалось по его письмамъ, по той радостной улыбкѣ, съ которой онъ всегда встрѣчалъ меня... Къ тому, что я пишу, онъ тоже относился очень хорошо... Но та сдержанность, о которой я упомянулъ, не покидала его даже въ самыя задушевныя минуты нашихъ разговоровъ, а про его отношеніе къ тому, что́ я пишу, я узналъ какъ слѣдуетъ только послѣ его смерти, изъ газетъ: самъ онъ почти никогда не говорилъ мнѣ объ этомъ. Скажу даже болѣе: онъ былъ рѣдкій семьянинъ, онъ нѣжно любилъ мать, сестру, братьевъ, но и съ ними онъ держался такъ, что очень многіе думали, что онъ почти равнодушенъ къ нимъ... И такъ во всемъ.

Онъ былъ великій юмористъ,—но обратите вниманіе на его юмористическія произведенія, даже на тѣ изъ нихъ, надъ которыми можно хохотать до слезъ: ни одного каламбура, ни одного краснаго словечка, ни одного жеста въ сторону читателя! Онъ любилъ смѣхъ, но смѣялся своимъ милымъ, заразительнымъ смѣхомъ только тогда, когда кто-нибудь другой разсказывалъ что-нибудь смѣшное; самъ онъ говорилъ самыя смѣшныя вещи безъ малѣйшей улыбки. Онъ очень любилъ шутки, нелѣпыя прозвища, глупости, мистификаціи... Даже въ послѣдніе годы, какъ только ему хоть ненадолго становилось лучше, онъ былъ неистощимъ на нихъ, но какимъ тонкимъ комизмомъ вызывалъ онъ неудержимый смѣхъ! Броситъ два-три слова, лукаво блеснетъ глазомъ поверхъ пенснэ—и достаточно. А его письма! Кто-то,—кажется, Левъ Толстой,—сказалъ, что хорошія письма — самый трудный родъ литературы, а письма Чехова были не только хороши—они были удивительны по своей естественности, точности и красотѣ

стиля, и сколько въ нихъ было всегда юмора, при ихъ совершенно спокойной формѣ!

„Милый Иванъ Алексѣевичъ, стало быть, позвольте на Страстной ждать Васъ. Непремѣнно, обязательно пріѣзжайте, у насъ будетъ очень много закусокъ, къ тому же въ Ялтѣ такая теплынь теперь, столько цвѣтовъ! Пріѣзжайте, сдѣлайте такую милость! Жениться я раздумалъ, не желаю, но все же, если Вамъ покажется скучно, то я, такъ и быть ужъ, пожалуй, женюсь“... (25 марта 1901 года).

Или: „Дорогой Иванъ Алексѣевичъ, завтра я уѣзжаю въ Ялту, куда и прошу написать мнѣ поздравленіе съ законнымъ бракомъ..... Желаю Вамъ всего хорошаго-съ, будьте здоровы-съ. Вашъ А. Чеховъ, аутскій мѣщанинъ“. (30 іюня 1901 г.).

Но сдержанность Чехова сказывалась и во многомъ другомъ, болѣе важномъ, и тогда уже ясно свидѣтельствовала о рѣдкой силѣ его натуры. Кто, напримѣръ, слышалъ отъ него жалобы, кто знаетъ, какъ страдалъ онъ? А причинъ для страданій было много. Онъ началъ работать среди большихъ матеріальныхъ лишеній, въ семьѣ, терпѣвшей въ пору его молодости прямо-таки нужду, и онъ работалъ на семью мало того, что за гроши, но еще и въ обстановкѣ, способной угасить самое пылкое вдохновеніе: въ маленькой квартиркѣ, среди говора и шума, часто на краешкѣ стола, вокругъ котораго сидѣла не только вся семья, но еще нѣсколько человѣкъ гостей—студентовъ. Онъ постоянно нуждался и потомъ, уже будучи извѣстнымъ, нуждался даже въ послѣдніе годы, будучи больнымъ и знаменитымъ. Но я буквально никогда не слыхалъ отъ него сѣтованій на судьбу, и это вытекало не изъ скрытности его характера и не изъ ограниченности его потребностей: онъ никогда не скрывалъ, что нуждается и нуждался, а что касается ограниченности его потребностей, то кто же не знаетъ, какъ онъ, будучи на рѣдкость благо-

родно-скромнымъ въ своемъ образѣ жизни, въ то же время ненавидѣлъ сѣрую, скудную жизнь?.. Онъ пятнадцать лѣтъ былъ боленъ изнурительной болѣзнью, которая неуклонно вела его къ смерти; но слышалъ ли читатель,—русскій читатель, который слышалъ столько горькихъ писательскихъ воплей, — хоть единый звукъ жалобы отъ Чехова? Больные любятъ свое привиллегированное положеніе: часто самые сильные изъ нихъ почти съ наслажденіемъ терзаютъ окружающихъ своими капризами, своими непрестанными разговорами о своей болѣзни; но было поистинѣ изумительно то мужество, съ которымъ болѣлъ и умеръ Чеховъ! Даже въ дни его самыхъ тяжелыхъ страданій часто никто и не подозрѣвалъ о нихъ.

— Тебѣ нездоровится, Антоша?—спроситъ его мать или сестра, видя, что онъ весь день сидитъ въ креслѣ съ закрытыми глазами.

— Мнѣ?—спокойно отвѣтитъ онъ, открывая глаза,—такіе ясные и кроткіе безъ пенснэ.—Нѣтъ, ничего. Голова болитъ немного.

И больше ни звука.

Онъ горячо любилъ литературу, и говорить о писателяхъ, о ихъ произведеніяхъ, восхищаться Мопассаномъ, Флоберомъ или Толстымъ, „Казаками“ или „Анной Карениной“, — было для него наслажденіемъ. Особенно часто онъ съ восторгомъ говорилъ именно объ этихъ писателяхъ да еще о „Тамани“ Лермонтова.

— Не могу понять,—говорилъ онъ,—какъ могъ онъ, будучи почти мальчикомъ, сдѣлать это! Вотъ бы написать такую вещь да еще водевиль хорошій, тогда бы и умереть можно!

Но его разговоры о литературѣ были совсѣмъ не похожи на тѣ обычные профессіональные разговоры, которые такъ непріятны своею кружковой узостью, мелочностью своихъ чисто практическихъ и чаще всего — личныхъ интересовъ. Будучи прежде всего

литераторомъ, Чеховъ, однако, настолько рѣзко отличался отъ большинства пишущихъ, что къ нему даже не шло слово „литераторъ", какъ не идетъ оно, напримѣръ, къ Толстому, и не идетъ прежде всего потому, что большинство нашего брата—люди, живущіе только жаждой заработка и повышеній, интересами только своего мірка и своей службы. И поэтому разговоръ о литературѣ Чеховъ заводилъ только тогда, когда зналъ, что его собесѣдникъ любитъ въ литературѣ прежде всего искусство, искусство безкорыстное и свободное.

— Никому не слѣдуетъ читать своихъ вещей до напечатанія,—говорилъ онъ мнѣ нерѣдко. — А главное, никогда не слѣдуетъ слушать ничьихъ совѣтовъ. Ошибся, совралъ—пусть и ошибка будетъ принадлежать только тебѣ. Послѣ тѣхъ высокихъ требованій, которыя поставилъ своимъ мастерствомъ Мопассанъ, трудно работать, но работать все же надо, особенно намъ, русскимъ, и въ работѣ надо быть смѣлымъ. Есть большія собаки и есть маленькія собаки, но маленькія не должны смущаться существованіемъ большихъ: всѣ обязаны лаять—и лаять тѣмъ голосомъ, какой Господь Богъ далъ.

Все, что совершалось въ литературномъ мірѣ, было, конечно, очень близко сердцу Чехова, и много волненій пережилъ онъ среди той лжи, манерности и фокусничества, которыя столь пышно цвѣтутъ теперь въ литературѣ. Но никогда не замѣчалъ я въ его волненіяхъ мелочной раздражительности, и никогда не примѣшивалъ онъ къ нимъ личныхъ чувствъ. Почти про всѣхъ умершихъ писателей говорятъ, что они радовались чужому успѣху, что они были чужды самолюбія, и поэтому, если бы у меня была хоть тѣнь сомнѣнія относительно писательскаго самолюбія Чехова, я совсѣмъ не затронулъ бы вопроса о самолюбіяхъ. Но онъ дѣйствительно радовался отъ всего сердца всякому проявленію талантливости, и не могъ

не радоваться уже по одному тому, что слово „бездарность“ было, кажется, наивысшей бранью въ его устахъ. Радовался онъ всегда и чужимъ, конечно, заслуженнымъ, успѣхамъ, а къ своимъ успѣхамъ и неуспѣхамъ относился такъ, какъ можетъ относиться къ нимъ только такой большой человѣкъ, какимъ онъ былъ самъ.

Онъ работалъ въ литературѣ почти 25 лѣтъ, и сколько плоскихъ и грубыхъ упрековъ выслушалъ онъ за это время! Онъ былъ поэтъ,—одинъ изъ самыхъ искреннѣйшихъ и благороднѣйшихъ русскихъ поэтовъ,—и говорилъ о своихъ идеалахъ всегда языкомъ поэта, а не проповѣдника; изображая жизнь, онъ оставался прежде всего тѣмъ, чѣмъ ему было на роду написано быть—художникомъ: ни тенденціозности, ни подчеркиваній, ни угожденій моменту! А можно ли при этомъ разсчитывать на пониманіе и благосклонность критики въ Россіи, гдѣ большинство критиковъ, особенно за послѣднее время, не имѣютъ ни малѣйшаго отношенія къ искусству? Вѣдь требовали же критики и покупатели картинъ Левитана, чтобы онъ „оживилъ“ пейзажъ... подрисовалъ коровку, гусей или женскую фигурку!.. И, конечно, не сладко было Чехову имѣть такихъ критиковъ, и много горечи они влили въ его душу, и безъ того отравленную русской жизнью. И горечь эта сказывалась, но опять-таки только *сказывалась*.

— Да, Антонъ Павловичъ, вотъ скоро и юбилей вашъ будемъ праздновать!

— Знаю-съ я эти юбилеи. Бранятъ человѣка двадцать пять лѣтъ на всѣ корки, а потомъ дарятъ ему гусиное перо изъ аллюминія и цѣлый день несутъ надъ нимъ, со слезами и поцѣлуями, восторженную ахинею!

И чаще всего на разговоры о его славѣ и о томъ, что о немъ пишутъ, онъ отвѣчалъ именно такъ—двумятремя словами или шуткой.

— Читали, Антонъ Павловичъ?—скажешь ему, напримѣръ, увидавъ гдѣ-нибудь статью о немъ.

А онъ только покосится поверхъ пенснэ и, комично вытянувъ лицо, отвѣтитъ своимъ груднымъ басомъ:

— Покорно васъ благодарю! Напишутъ о комъ-нибудь тысячу строкъ, а внизу прибавятъ: „а то вотъ еще есть писатель Чеховъ: нытикъ“.

И только иногда прибавитъ серьезно:

— Когда васъ, милостивый государь, гдѣ-нибудь бранятъ, вы почаще вспоминайте насъ, грѣшныхъ: насъ, какъ въ бурсѣ, критики драли за малѣйшую провинность. Мнѣ одинъ критикъ пророчилъ, что я умру подъ заборомъ: я представлялся ему молодымъ человѣкомъ, выгнаннымъ изъ гимназіи за пьянство.

Злымъ Чехова я никогда не видалъ; но и раздражался онъ рѣдко, а если и раздражался, то изумительно умѣлъ владѣть собой. Помню, напримѣръ, какъ онъ однажды былъ взволнованъ характеристикой его таланта въ одной очень толстой и очень тупой книгѣ, состоящей изъ портретовъ писателей и замѣтокъ о нихъ, гдѣ говорилось о „равнодушіи“ Чехова къ вопросамъ нравственности и общественности и о его мнимомъ пессимизмѣ. И, однако, его волненіе сказалось только въ двухъ, сурово и задумчиво сказанныхъ, словахъ:

— Форменный идіотъ!

Но и холоднымъ я его не видалъ. Холоденъ онъ бывалъ, по его словамъ, только за работой, къ которой онъ приступалъ всегда уже послѣ того, какъ мысль и образы его будущаго произведенія становились ему совершенно ясны, и которую онъ исполнялъ почти всегда безъ перерывовъ, неукоснительно доводя ее до конца.

— Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холоднымъ, какъ ледъ,—сказалъ онъ однажды.

Но, конечно, это была совсѣмъ особая холодность, — холодность художника, нисколько не противорѣчащая тому, что называется вдохновеніемъ. Ибо много ли среди русскихъ писателей найдется такихъ, у которыхъ душевная чуткость и сила воспріимчивости были бы больше Чеховскихъ? Рѣдкая душевная отзывчивость и пониманіе всего съ малѣйшаго намека чувствовались въ немъ постоянно, но, повторяю, онъ удивительно умѣлъ владѣть собою—и въ творчествѣ, и въ жизни.

Чтобы образъ Чехова сталъ ясенъ русскому обществу, нужно, чтобы какой-нибудь большой и разносторонне одаренный человѣкъ написалъ книгу, посвященную прежде всего творчеству Чехова, этого „несравненнаго“, по выраженію Толстого, художника, такъ остро перестрадавшаго печали нашей жизни, изобразившаго ее съ такой прямотою и съ такою силой говорившаго о томъ, что жизнь должна быть всѣмъ легка и радостна, прекрасна и изящна въ каждомъ своемъ проявленіи. Что до меня, то написать больше того, что написано здѣсь, я пока не могу... хотя бы потому, напримѣръ, что я еще не въ состояніи методически копаться въ тысячѣ мелкихъ, но дорогихъ мнѣ воспоминаній о немъ, и потому, наконецъ, что это было бы непріятно и его семьѣ, столь близкой мнѣ. Вмѣсто всякихъ воспоминаній, мнѣ хотѣлось бы сказать пока одно—это то, что въ жизни онъ былъ именно тѣмъ, чѣмъ былъ и въ творчествѣ,—человѣкомъ рѣдкаго душевнаго благородства: воспитанности и изящества въ самомъ лучшемъ значеніи этихъ словъ, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простотѣ, чуткости и нѣжности при рѣдкой правдивости.

Быть правдивымъ и естественнымъ, оставаясь въ тоже время благороднымъ и плѣнительнымъ, — это значитъ быть необыкновенной по красотѣ, цѣльности и силѣ натурой. И если я такъ часто говорилъ здѣсь

о спокойствіи Чехова, то это происходило потому, что его спокойствіе кажется мнѣ свидѣтельствующимъ о силѣ его натуры. Оно, я думаю, не покидало его даже въ дни самаго яркаго расцвѣта его жизнерадостности, и, можетъ быть, именно оно дало ему въ молодости возможность не склониться ни передъ чьимъ вліяніемъ и начать работать такъ безпритязательно и въ то же время такъ смѣло, „безъ всякихъ контрактовъ съ своей совѣстью“ и съ такимъ неподражаемымъ мастерствомъ.

Помните слова стараго профессора въ „Скучной исторіи“?

„Я не скажу, чтобы французскія книжки были и умны, и талантливы, и благородны; но онѣ не такъ скучны, какъ русскія, и въ нихъ не рѣдкость найти главный элементъ творчества — чувство личной свободы...“

И вотъ этимъ-то чувствомъ личной свободы и отличался Чеховъ, не терпѣвшій, чтобы и другихъ лишали ея, и становившійся даже рѣзкимъ и прямолинейнымъ, когда видѣлъ, что на нее посягали.

— Хорошо-то, хорошо, — сказалъ однажды одинъ беллетристъ про другого въ присутствіи Чехова. — Только все про любовь, да про любовь!

— Про любовь или не про любовь—это безразлично,— отвѣтилъ Чеховъ, нахмурившись.—Главное, чтобы было талантливо.

Какъ извѣстно, эта „свобода“ не прошла ему даромъ, но Чеховъ былъ не изъ тѣхъ, у которыхъ двѣ души: одна для себя, другая—для публики. Успѣхъ, который онъ имѣлъ, очень долго, до смѣшного, не соотвѣтствовалъ его заслугамъ... Но сдѣлалъ ли онъ за всю жизнь хоть малѣйшее усиліе для того, чтобы увеличить свою популярность? Онъ буквально съ болью и отвращеніемъ смотрѣлъ на всѣ тѣ пріемы, какіе нерѣдко пускаются теперь въ ходъ для пріобрѣтенія успѣха.

— А вы все думаете, что они—писатели! Они—извозчики!—говорилъ онъ съ горечью.

И его нежеланіе выставлять себя на видъ доходило порой до крайностей.

„Публикуетъ „Скорпіонъ“ о своей книгѣ неряшливо,—писалъ онъ мнѣ послѣ выхода первой книги „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“.—Выставляетъ меня первымъ, и я, прочитавъ это объявленіе въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, далъ себѣ клятву больше уже никогда не вѣдаться ни со скорпіонами, ни съ крокодилами, ни съ ужами“.

Это было зимою 1900 г., когда Чеховъ, заинтересовавшись кое-какими черточками въ дѣятельности только-что организованнаго тогда книгоиздательства „Скорпіонъ“, далъ въ альманахъ этого книгоиздательства одинъ изъ своихъ юношескихъ разсказовъ: „Въ морѣ“. Впослѣдствіи онъ не разъ раскаивался въ этомъ.

— Нѣтъ, все это новое московское искусство—вздоръ,—говорилъ онъ.—Помню, въ Таганрогѣ я видѣлъ вывѣску: „Заведеніе искустевныхъ фрухтовыхъ водъ“. Вотъ и это тоже — заведеніе искусственныхъ фруктовыхъ водъ!

А его сдержанность проистекала, мнѣ кажется, изъ аристократизма его духа, между прочимъ, и изъ его стремленія быть точнымъ въ каждомъ своемъ словѣ. Придетъ время, когда поймутъ какъ слѣдуетъ и то, что это былъ не только „несравненный“ художникъ, не только изумительный мастеръ слова, но и несравненный поэтъ... Только когда придетъ это время? Еще не скоро поймутъ во всей полнотѣ его тонкую и цѣломудренную поэзію, которой почти всегда обвѣяна горькая правда жизни, изображенная имъ. Онъ даже отъ близкихъ людей таилъ поэзію своей души, какъ таилъ и свою доброту, и свою нѣжность... А онъ былъ очень нѣженъ. И особенно за послѣдніе дни своей жизни...

„Здравствуйте, милый Иванъ Алексѣевичъ!—писалъ онъ мнѣ прошлой зимой въ Ниццу.—Съ Новымъ го-

домъ, съ новымъ счастьемъ! Письмо Ваше получилъ, спасибо. У насъ въ Москвѣ все благополучно и скучно, новаго (кромѣ новаго года) ничего нѣтъ и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдетъ—неизвѣстно. Очень возможно, что въ февралѣ я пріѣду въ Ниццу, остановлюсь у Н. И. Юрасова, отъ котораго недавно получилъ письмо..... Поклонитесь отъ меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите въ свое полное удовольствіе, утѣшайтесь, не думайте о болѣзняхъ и пишите почаще Вашимъ друзьямъ... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурыхъ сѣверныхъ компатріотовъ, страдающихъ несвареніемъ и дурнымъ расположеніемъ духа. Цѣлую Васъ и обнимаю. Вашъ А. Чеховъ. (8 янв. 1904 г.)

„Поклонитесь отъ меня милому теплому солнцу, тихому морю...“ Такія слова я слышалъ отъ него рѣдко. Очень часто я скорѣе чувствовалъ, что онъ долженъ произнести ихъ, и это были минуты, въ которыя мнѣ становилось почему-то очень больно на сердцѣ. Помню, напримѣръ, одну ночь ранней весной въ Крыму. Было уже поздно; вдругъ меня зовутъ къ телефону. Подхожу и слышу басъ Чехова:

— Миллсдарь, возьмите хорошаго извозчика и заѣзжайте за мной. Поѣдемте кататься.

— Кататься? Ночью?—удивился я. — Что съ вами, Антонъ Павловичъ?

— Влюбленъ.

— Это хорошо, но уже десятый часъ... И потомъ—вы можете простудиться...

— Молодой человѣкъ, не разсуждайте-съ!

Я съ удовольствіемъ повиновался и черезъ десять минутъ былъ уже въ Ауткѣ. Въ домѣ, гдѣ зимою Чеховъ жилъ только съ матерью, была, какъ всегда, мертвая тишина и темнота,—только изъ комнаты Евгеніи Яковлевны пробивался сквозь дверную щель свѣтъ, да тускло горѣли двѣ свѣчечки въ кабинетѣ, теряясь

въ полумракѣ. И, какъ всегда, у меня сжалось сердце при видѣ этого тихаго кабинета, гдѣ для Чехова протекло столько одинокихъ зимнихъ вечеровъ, полныхъ, можетъ быть, горькихъ думъ о судьбѣ, такъ богато одарившей его, развернувшей передъ его глазами всю прелесть міра и такъ зло посмѣявшейся надъ нимъ.

— Какая ночь!—сказалъ онъ мнѣ съ необычной даже для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встрѣчая меня на порогѣ кабинета.—А дома—такая скука! Только и радости, что затрещитъ телефонъ, да Софья Павловна спроситъ, что я дѣлаю, а я отвѣчу: мышей ловлю. Поѣдемте, въ Оріанду. Простужусь—наплевать!

Ночь была, правда, удивительная,—теплая, тихая, съ яснымъ мѣсяцемъ, съ легкими бѣлыми облаками, съ рѣдкими лучистыми звѣздами въ голубомъ, глубокомъ небѣ. Экипажъ мягко катился по бѣлому шоссе, и, обвѣянные тишиною ночи, мы молчали, глядя на блестѣвшую тусклымъ золотомъ равнину моря... А потомъ пошелъ лѣсъ съ легкими узорами тѣней, похожими на паутину, еще голый, но уже по весеннему нѣжный, красивый и задумчивый... Потомъ зачернѣли толпы гигантовъ-кипарисовъ, величаво возносившихся къ лучистымъ звѣздамъ. И когда мы оставили экипажъ и тихо пошли подъ ними, мимо голубовато-блѣдныхъ въ лунномъ свѣтѣ развалинъ дворца, Чеховъ внезапно сказалъ мнѣ:

— Знаете, сколько лѣтъ еще будутъ читать меня? Семь.

— Почему семь?—спросилъ я.

— Ну, семь съ половиной.

— Вы поэтъ, Антонъ Павловичъ,—сказалъ я.—А то, въ чемъ есть поэзія, живетъ долго и чѣмъ дальше, тѣмъ все сильнѣе... какъ хорошее вино.

Онъ ничего не отвѣтилъ, но когда мы сѣли гдѣ-то на скамью, съ которой снова открылся видъ на бле-

стящее въ мѣсячномъ свѣтѣ море, онъ скинулъ пенснэ и, поглядѣвъ на меня добрыми и усталыми глазами, сказалъ:

— Поэтами, милостивый государь, считаются только тѣ, которые употребляютъ такія слова, какъ „серебристая даль“, „аккордъ“ или „на бой, на бой, въ борьбу со тьмой!“

— Вы грустный сегодня, Антонъ Павловичъ,—сказалъ я, глядя на его простое, доброе и прекрасное лицо, слегка блѣдное отъ луннаго свѣта.

Опустивъ глаза, онъ задумчиво копалъ концомъ палки мелкіе камешки, но когда я сказалъ, что онъ грустенъ, онъ шутливо покосился на меня.

— Это вы грустны,—отвѣтилъ онъ.—И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потомъ серьезно прибавилъ:

— Читать же меня будутъ все-таки только семь лѣтъ, а жить мнѣ осталось и того меньше: шесть. Не говорите только объ этомъ одесскимъ репортерамъ...

На этотъ разъ, онъ ошибся: онъ прожилъ гораздо меньше...

Умеръ онъ спокойно, безъ страданій, среди тишины и красоты лѣтняго разсвѣта, который онъ всегда такъ любилъ. И когда умеръ, „необыкновенно довольное, почти счастливое выраженіе появилось на его сразу помолодѣвшемъ лицѣ...“ Смерть его не была для меня полной неожиданностью, а тому, что его будутъ читать „семь лѣтъ“, конечно, смѣшно вѣрить. И все-таки мысль, что онъ, котораго я такъ ясно вижу сидящимъ рядомъ со мною на скамьѣ въ эту незабвенную ночь въ Оріандѣ, лежитъ теперь въ землѣ, гдѣ-то здѣсь близко, въ могилѣ на кладбищѣ Ново-Дѣвичьяго монастыря,—кажется мнѣ невыразимо нелѣпой, дикой, ошеломляющей...

Москва.
Сентябрь 1904 г.

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ.

КРАСНЫЙ СМѢХЪ.

ОТРЫВКИ ИЗЪ НАЙДЕННОЙ РУКОПИСИ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ОТРЫВОКЪ ПЕРВЫЙ.

...безуміе и ужасъ.

Впервые я почувствовалъ это, когда мы шли по энской дорогѣ —шли десять часовъ непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавшихъ и оставляя ихъ непріятелю, который сплошными массами двигался сзади насъ и черезъ три-четыре часа стиралъ слѣды нашихъ ногъ своими ногами. Стоялъ зной. Не знаю, сколько было градусовъ, сорокъ, пятьдесятъ или больше, знаю только, что онъ былъ непрерывенъ, безнадежно ровенъ и глубокъ. Солнце было такъ огромно, такъ огненно и страшно, какъ будто земля приблизилась къ нему и скоро сгоритъ въ этомъ безпощадномъ огнѣ. И не смотрѣли глаза. Маленькій, сузившійся зрачокъ, маленькій, какъ зернышко мака, тщетно искалъ тьмы подъ сѣнью закрытыхъ вѣкъ: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавымъ свѣтомъ входило въ измученный мозгъ. Но все-таки такъ было лучше, и я долго, быть можетъ, нѣсколько часовъ, шелъ съ закрытыми глазами, слыша, какъ движется вокругъ меня толпа: тяжелый и неровный топотъ ногъ, людскихъ и лошадиныхъ, скрежетъ желѣзныхъ колесъ, раздавливающихъ мелкій камень, чье-то тяжелое надорванное дыханіе и сухое чмяканье запекшимися губами. Но словъ я не слыхалъ. Всѣ молчали, какъ будто двигалась армія нѣмыхъ, и когда кто-нибудь *падалъ*, онъ падалъ молча, и другіе натыкались

на его тѣло, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше, — какъ будто эти нѣмые были также глухи и слѣпы. Я самъ нѣсколько разъ натыкался и падалъ, и тогда невольно открывалъ глаза,— и то, что я видѣлъ, казалось дикимъ вымысломъ, тяжелымъ бредомъ обезумѣвшей земли. Раскаленный воздухъ дрожалъ, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальніе ряды людей на заворотѣ, орудія и лошади отдѣлились отъ земли и беззвучно, студенисто колыхались — точно не живые люди это шли, а армія безплотныхъ тѣней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждомъ стволѣ ружья, на каждой металлической бляхѣ зажгло тысячи маленькихъ ослѣпительныхъ солнцъ, и они отовсюду съ боковъ и снизу забирались въ глаза, огненно-бѣлые, острые, какъ концы до-бѣла раскаленныхъ штыковъ. А изсушающій, палящій жаръ проникалъ въ самую глубину тѣла, въ кости, въ мозгъ, и чудилось порою, что на плечахъ покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шаръ, тяжелый и легкій, чужой и страшный.

И тогда—и тогда внезапно я вспомнилъ домъ: уголокъ комнаты, клочокъ голубыхъ обоевъ и запыленный, нетронутый графинъ съ водою на моемъ столикѣ — на моемъ столикѣ, у котораго одна ножка короче двухъ другихъ и подъ нее подложенъ свернутый кусочекъ бумаги. А въ сосѣдней комнатѣ,—и я ихъ не вижу,— будто бы находятся жена моя и сынъ. Если бы я могъ кричать, я закричалъ бы —такъ необыкновененъ былъ этотъ простой и мирный образъ, этотъ клочокъ голубыхъ обоевъ и запыленный, нетронутый графинъ.

Знаю, что я остановился, поднявъ руки, но кто-то сзади толкнулъ меня; я быстро зашагалъ впередъ, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шелъ такъ сквозь безконечные молчаливые ряды, мимо красныхъ обожженныхъ затылковъ, почти касаясь безсильно опущенныхъ

горячихъ штыковъ, когда мысль о томъ, что же я дѣлаю, куда иду такъ торопливо—остановила меня. Такъ же торопливо я повернулъ въ сторону, пробился на просторъ, перелѣзъ какой-то оврагъ и озабоченно сѣлъ на камень, какъ будто этотъ шершавый, горячій камень былъ цѣлью всѣхъ моихъ стремленій.

И тутъ, впервые, я почувствовалъ это. Я ясно увидѣлъ, что эти люди, молчаливо шагающіе въ солнечномъ блескѣ, омертвѣвшіе отъ усталости и зноя, качающіеся и падающіе,—что это безумные. Они не знаютъ, куда они идутъ, они не знаютъ, зачѣмъ это солнце, они ничего не знаютъ. У нихъ не голова на плечахъ, а странные и страшные шары. Вотъ одинъ, какъ и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падаетъ; вотъ другой, третій. Вотъ поднялась надъ толпою голова лошади съ красными, безумными глазами и широко оскаленнымъ ртомъ, только намекающимъ на какой-то страшный и необыкновенный крикъ, поднялась, упала, и въ этомъ мѣстѣ на минуту сгущается народъ, пріостанавливается, слышны хриплые, глухіе голоса, короткій выстрѣлъ, и потомъ снова молчаливое, безконечное движеніе. Уже часъ сижу я на этомъ камнѣ, а мимо меня все идутъ, и все такъ же дрожитъ земля и воздухъ, и дальніе призрачные ряды. Меня снова пронизываетъ изсушающій зной, и я уже не помню того, что представилось мнѣ на секунду, а мимо меня все идутъ, идутъ, и я не понимаю, кто это. Часъ тому назадъ я былъ одинъ на этомъ камнѣ, а теперь уже собралась вокругъ меня кучка сѣрыхъ людей: одни лежатъ и неподвижны, быть можетъ, умерли; другіе сидятъ и остолбенѣло смотрятъ на проходящихъ, какъ и я. У однихъ есть ружья и они похожи на солдатъ; другіе раздѣты почти до-гола, и кожа на тѣлѣ такъ багрово-красна, что на нее не хочется смотрѣть. Недалеко отъ меня лежитъ кто-то голой спиной кверху. По тому, какъ равнодушно уперся онъ лицомъ въ острый и горячій ка-

мень, по бѣлизнѣ ладони опрокинутой руки, видно, что онъ мертвъ, но спина его красна, точно у живого, и только легкій желтоватый налетъ, какъ въ копченомъ мясѣ, говоритъ о смерти. Мнѣ хочется отодвинуться отъ него, но нѣтъ силъ и, покачиваясь, я смотрю на безконечно идущіе, призрачные покачивающіеся ряды. По состоянію моей головы я знаю, что и у меня сейчасъ будетъ солнечный ударъ, но жду этого спокойно, какъ во снѣ, гдѣ смерть является только этапомъ на пути чудесныхъ и запутанныхъ видѣній.

И я вижу, какъ изъ толпы выдѣляется солдатъ и рѣшительно направляется въ нашу сторону. На минуту онъ пропадаетъ во рву, а когда вылѣзаетъ оттуда и снова идетъ, шаги его нетверды, и что-то послѣднее чувствуется въ его попыткахъ собрать свое разбрасывающееся тѣло. Онъ идетъ такъ прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозгъ, я пугаюсь и спрашиваю:

— Чего тебѣ?

Онъ останавливается, какъ будто ждалъ только слова, и стоитъ огромный, бородатый, съ разорваннымъ воротомъ. Ружья у него нѣтъ, штаны держатся на одной пуговицѣ и сквозь прорѣху видно бѣлое тѣло. Руки и ноги его разбросаны, и онъ, видимо, старается собрать ихъ, но не можетъ: сведетъ руки, и онѣ тотчасъ распадутся.

— Ты что? Ты лучше сядь,—говорю я.

Но онъ стоитъ, безуспѣшно подбираясь, молчитъ и смотритъ на меня. И я невольно поднимаюсь съ камня и, шатаясь, смотрю въ его глаза — и вижу въ нихъ бездну ужаса и безумія. У всѣхъ зрачки сужены, — а у него расплылись они во весь глазъ: какое море огня долженъ видѣть онъ сквозь эти огромныя, черныя окна! Быть можетъ, мнѣ показалось, быть можетъ, въ его взглядѣ была только смерть,—но нѣтъ, я не ошибаюсь: въ этихъ черныхъ, бездонныхъ зрачкахъ, обведенныхъ

узенькимъ оранжевымъ кружкомъ, какъ у птицъ, было больше, чѣмъ смерть, больше, чѣмъ ужасъ смерти.

— Уходи!—кричу я, отступая.—Уходи!

И какъ будто онъ ждалъ только слова—онъ падаетъ на меня, сбивая меня съ ногъ, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я съ содроганіемъ освобождаю придавленныя ноги, вскакиваю и хочу бѣжать—куда-то въ сторону отъ людей, въ солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слѣва, на вершинѣ, бухаетъ выстрѣлъ и за нимъ немедленно, какъ эхо, два другихъ. И гдѣ-то надъ головою, съ радостнымъ, многоголосымъ визгомъ, крикомъ и воемъ проносится граната.

Насъ обошли!

Нѣтъ уже болѣе смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представленія отчетливы и рѣзки, и когда, запыхавшись, я подбѣгаю къ выстраивающимся рядамъ, я вижу просвѣтлѣвшія, какъ будто радостныя лица, слышу хриплые, но громкіе голоса, приказанія, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мѣшать, потускнѣло, притихло—и снова съ радостнымъ визгомъ, какъ вѣдьма, рѣзнула воздухъ граната.

Я подошелъ...

ОТРЫВОКЪ ВТОРОЙ.

...почти всѣ лошади и прислуга. На восьмой батареѣ также. На нашей, двѣнадцатой, къ концу третьяго дня осталось только три орудія—остальныя подбиты,—шесть человѣкъ прислуги и одинъ офицеръ—я. Уже двадцать часовъ мы не спали и ничего не ѣли; трое сутокъ сатанинскій грохотъ и визгъ окутывалъ насъ тучею безумія, отдѣлялъ насъ отъ земли, отъ неба, отъ своихъ—и мы, живые, бродили, какъ луна-

тики. Мертвые, тѣ лежали спокойно, а мы двигались, дѣлали свое дѣло, говорили и даже смѣялись, и были—какъ лунатики. Движенія наши были увѣренны и быстры, приказанія ясны, исполненіе точно,—но если бы внезапно спросить каждаго, кто онъ, онъ едва ли бы нашелъ отвѣтъ въ затемненномъ мозгу. Какъ во снѣ, всѣ лица казались давно знакомыми и все, что происходило, казалось также давно знакомымъ, понятнымъ, уже бывшимъ когда-то; а когда я начиналъ пристально вглядываться въ какое-нибудь лицо или въ орудіе, или слушать грохотъ,—все поражало меня своей новизною и безконечной загадочностью. Ночь наступала незамѣтно, и не успѣвали мы увидѣть ее и изумиться, откуда она взялась, какъ уже снова горѣло надъ нами солнце. И только отъ приходившихъ на баттарею мы узнавали, что бой вступаетъ въ третьи сутки, и тотчасъ же забывали объ этомъ: намъ чудилось, что это идетъ все одинъ безконечный, безначальный день, то темный, то яркій, но одинаково непонятный, одинаково слѣпой. И никто изъ насъ не боялся смерти, такъ какъ никто не понималъ, что такое смерть.

На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну минуту я прилегъ за брустверомъ и, какъ только закрылъ глаза, въ нихъ вступилъ тотъ же знакомый и необыкновенный образъ: клочокъ голубыхъ обоевъ и нетронутый запыленный графинъ на моемъ столикѣ. А въ сосѣдней комнатѣ, и я ихъ не вижу, находятся будто бы жена моя и сынъ. Но только теперь на столѣ горѣла лампа съ зеленымъ колпакомъ, значитъ, былъ вечеръ или ночь. Образъ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно разсматривалъ, какъ играетъ огонь въ хрусталѣ графина, разглядывалъ обои и думалъ, почему не спитъ сынъ: уже ночь, и ему пора спать. Потомъ опять разглядывалъ обои, всѣ эти завитки, серебристые цвѣты, какія-

то рѣшетки и трубы—я никогда не думалъ, что такъ хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывалъ глаза и видѣлъ черное небо съ какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывалъ ихъ, и снова разглядывалъ обои, блестящій графинъ и думалъ, почему не спитъ сынъ: уже ночь, и ему надо спать. Разъ недалеко отъ меня разорвалась граната, колыхнувъ чѣмъ-то мои ноги, и кто-то крикнулъ громко, громче самого взрыва, и я подумалъ: „Кто-то убитъ“, но не поднялся и не оторвалъ глазъ отъ голубенькихъ обоевъ и графина.

Потомъ я всталъ, ходилъ, распоряжался, глядѣлъ въ лица, наводилъ прицѣлъ, а самъ все думалъ: отчего не спитъ сынъ. Разъ спросилъ объ этомъ у ѣздового, и онъ долго и подробно объяснялъ мнѣ что-то, и оба мы кивали головами. И онъ смѣялся, а лѣвая бровь у него дергалась, и глазъ хитро подмаргивалъ на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьихъ-то ногъ—и больше ничего.

Въ это время было уже свѣтло, и вдругъ!—капнулъ дождь. Дождь—какъ у насъ, самыя обыкновенныя капельки воды. Онъ былъ такъ неожиданъ и неумѣстенъ, и мы всѣ такъ испугались промокнуть, что бросили орудія, перестали стрѣлять и начали прятаться, куда попало. Ѣздовой, съ которымъ мы только-что говорили, полѣзъ подъ лафетъ и прикорнулъ тамъ, хотя его могли каждую минуту задавить, толстый фейерверкеръ сталъ зачѣмъ-то раздѣвать убитаго, а я заметался по баттареѣ и что-то искалъ - плащъ, не то зонтикъ. И сразу на всемъ огромномъ пространствѣ, гдѣ капнулъ дождь изъ набѣжавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало—такъ тихо, что слышно было, какъ сопитъ толстый фейерверкеръ и стукаютъ по камню и по орудіямъ капельки дождя. И этотъ тихій и дробный стукъ, напоминающій осень, и запахъ

взмоченной земли, и тишина—точно разорвали на мгновеніе кровавый и дикій кошмаръ, и когда я взглянулъ на мокрое, блестящее отъ воды орудіе, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то дѣтство мое, не то первую любовь. Но вдалекѣ особенно громко прозвучалъ первый выстрѣлъ, и исчезло очарованіе мгновенной тишины; съ тою же внезапностью, съ какою люди прятались, они начали вылѣзать изъ подъ своихъ прикрытій; на кого то закричалъ толстый фейерверкеръ; гохнуло орудіе, за нимъ второе—и снова кровавый, неразрывный туманъ заволокъ измученные мозги. И никто не замѣтилъ, когда прекратился дождь; помню только, что съ убитаго фейерверкера, съ его толстаго, обрюзгшаго желтаго лица скатывалась вода,—вѣроятно, дождь продолжался довольно долго...

...Передо мною стоялъ молоденькій вольноопредѣляющійся и докладывалъ, держа руку къ козырьку, что генералъ проситъ насъ удержаться только два часа, а тамъ подойдетъ подкрѣпленіе. Я думалъ о томъ, почему не спитъ мой сынъ, и отвѣчалъ, что могу продержаться сколько угодно. Но тутъ меня почему-то заинтересовало его лицо, вѣроятно, своею необыкновенной и поразительной блѣдностью. Я ничего не видѣлъ бѣлѣе этого лица: даже у мертвыхъ больше краски въ лицѣ, чѣмъ на этомъ молоденькомъ, безусомъ. Должно быть, по дорогѣ къ намъ онъ сильно перепугался и не могъ оправиться; и руку у козырька онъ держалъ затѣмъ, чтобы этимъ привычнымъ и простымъ движеніемъ отогнать сумасшедшій страхъ.

— Вы боитесь?—спросилъ я, трогая его за локоть. Но локоть былъ какъ деревянный, а самъ онъ тихонько улыбался и молчалъ. Вѣрнѣе, дергались въ улыбкѣ только его губы, а въ глазахъ были только молодость и страхъ—и больше ничего.

— Вы боитесь?—повторилъ я ласково.

Губы его дергались, силясь выговорить слово, и

въ то же мгновеніе произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. Въ правую щеку мнѣ дунуло теплымъ вѣтромъ, сильно качнуло меня—и только, а передъ глазами моими, на мѣстѣ блѣднаго лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно изъ откупоренной бутылки, какъ ихъ рисуютъ на плохихъ вывѣскахъ. И въ этомъ короткомъ, красномъ, текущемъ продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смѣхъ—красный смѣхъ.

Я узналъ его, этотъ красный смѣхъ. Я искалъ и нашелъ его, этотъ красный смѣхъ. Теперь я понялъ, что было во всѣхъ этихъ изуродованныхъ, разорванныхъ, странныхъ тѣлахъ. Это былъ красный смѣхъ. Онъ въ небѣ, онъ въ солнцѣ и скоро онъ разольется по всей землѣ, этотъ красный смѣхъ!

А они, отчетливо и спокойно, какъ лунатики...

ОТРЫВОКЪ ТРЕТІЙ.

...безуміе и ужасъ.

Разсказываютъ, что въ нашей и непріятельской арміи появилось много душевно-больныхъ. У насъ уже открыто четыре психіатрическихъ покоя. Когда я былъ въ штабѣ, адъютантъ показывалъ мнѣ...

ОТРЫВОКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

...обвивались, какъ змѣи. Онъ видѣлъ, какъ проволока, обрубленная съ одного конца, рѣзнула воздухъ и обвила трехъ солдатъ. Колючки рвали мундиры, вонзались въ тѣло, и солдаты съ крикомъ, бѣшено кружились, и двое волокли за собою третьяго, который былъ уже мертвъ. Потомъ остался въ живыхъ одинъ, и онъ отпихивалъ отъ себя двухъ мертвецовъ, а тѣ волокли[redacted]

кружились, переваливались одинъ черезъ другого и черезъ него,—и вдругъ сразу всѣ стали неподвижны.

Онъ говорилъ, что у одной этой загородки погибло не менѣе двухъ тысячъ человѣкъ. Пока они рубили проволоку и путались въ ея змѣиныхъ извивахъ, ихъ осыпали непрерывнымъ дождемъ пуль и картечи. Онъ увѣряетъ, что было очень страшно, и что эта аттака кончилась бы паническимъ бѣгствомъ, еслибы знали, въ какомъ направленіи бѣжать. Но десять или двѣнадцать непрерывныхъ рядовъ проволоки и борьба съ нею, цѣлый лабиринтъ волчьихъ ямъ съ набитыми на днѣ кольями,—такъ закружили головы, что положительно нельзя было опредѣлить направленія.

Одни, точно со-слѣпу, обрывались въ глубокія воронкообразныя ямы и повисали животами на острыхъ кольяхъ, дергаясь и танцуя, какъ игрушечные паяцы; ихъ придавливали новыя тѣла, и скоро вся яма до краевъ превращалась въ копошащуюся груду окровавленныхъ живыхъ и мертвыхъ тѣлъ. Отовсюду снизу тянулись руки, и пальцы на нихъ судорожно сокращались, хватая все, и кто попадалъ въ эту западню, тотъ уже не могъ выбраться назадъ: сотни пальцевъ, крѣпкихъ и слѣпыхъ, какъ клешни, сжимали ноги, цѣплялись за одежду, валили человѣка на себя, вонзались въ глаза и душили. Многіе, какъ пьяные, бѣжали прямо на проволоку повисали на ней и начинали кричать, пока пуля не кончала съ ними.

Вообще, всѣ показались ему похожими на пьяныхъ: нѣкоторые страшно ругались; другіе хохотали, когда проволока схватывала ихъ за руку или за ногу, и тутъ же умирали. Онъ самъ, хотя съ утра ничего не пилъ и не ѣлъ, чувствовалъ себя очень странно: голова кружилась, и страхъ минутами смѣнялся дикимъ восторгомъ—восторгомъ страха. Когда кто-то рядомъ съ нимъ запѣлъ, онъ подхватилъ пѣсню, и скоро составился цѣлый очень дружный хоръ. Онъ не помнитъ, что пѣли,

но что-то очень веселое, плясовое. Да, они пѣли—и все кругомъ было красно отъ крови. Само небо казалось краснымъ, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемѣна и исчезновеніе цвѣтовъ: исчезли голубой и зеленый и другіе привычные и тихіе цвѣта, а солнце загорѣлось краснымъ бенгальскимъ огнемъ.

— Красный смѣхъ,—сказалъ я.

Но онъ не понялъ.

— Да, и хохотали. Я уже говорилъ тебѣ. Какъ пьяные. Можетъ быть, даже и плясали, что-то было. По крайней мѣрѣ, движенія тѣхъ, трехъ, походили на пляску.

Онъ ясно помнитъ: когда его ранили въ грудь на вылетъ и онъ упалъ, еще нѣкоторое время, до потери сознанія, онъ подрыгивалъ ногами, какъ будто кому подтанцовывалъ. И теперь онъ вспоминаетъ объ этой аттакѣ со страннымъ чувствомъ: отчасти со страхомъ, отчасти какъ будто съ желаніемъ еще разъ испытать то же самое.

— И опять пулю въ грудь? — спросилъ я.

— Ну вотъ: не каждый же разъ пулю. А хорошо бы, товарищъ, получить орденъ за храбрость.

Онъ лежалъ на спинѣ, желтый, остроносый, съ выступающими скулами и провалившимися глазами—лежалъ похожій на мертвеца и мечталъ объ орденѣ. У него уже начался гнойникъ, былъ сильный жаръ и черезъ три дня его должны будутъ свалить въ яму, къ мертвымъ, а онъ лежалъ, улыбался мечтательно и говорилъ объ орденѣ.

— А матери послалъ телеграмму? — спросилъ я.

Онъ испуганно, но сурово и злобно взглянулъ на меня и не отвѣтилъ. И я замолчалъ, и слышно стало, какъ стонутъ и бредятъ раненые. Но когда я поднялся уходить, онъ сжалъ мою руку своею горячею, но все еще сильною рукою, и растерянно и тоскливо впился въ меня провалившимися горящими глазами.

Что же это такое, а? Что же это?—пугливо и настойчиво спрашивалъ онъ, дергая мою руку.

— Что?

— Да вообще... все это. Вѣдь она ждетъ меня? Не могу же я. Отечество—развѣ ей втолкуешь, что такое отечество.

— Красный смѣхъ,—отвѣтилъ я.

— Ахъ! Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяснить,—а развѣ ей объяснишь? Если бы ты зналъ, что она пишетъ! Что она пишетъ! И ты знаешь, у нея слова—сѣдыя. А ты,—онъ съ любопытствомъ посмотрѣлъ на мою голову, ткнулъ пальцемъ и, неожиданно засмѣявшись, сказалъ:

— А ты полысѣлъ. Ты замѣтилъ?

— Тутъ нѣтъ зеркалъ.

— Тутъ много сѣдыхъ и лысыхъ. Послушай, дай мнѣ зеркало. Дай! Я чувствую, какъ изъ головы идутъ бѣлые волосы. Дай зеркало!

У него начинался бредъ, онъ плакалъ и кричалъ, и я ушелъ изъ лазарета.

Въ этотъ вечеръ мы устроили себѣ праздникъ—печальный и странный праздникъ, на которомъ среди гостей присутствовали тѣни умершихъ. Мы рѣшили собраться вечеромъ и попить чаю, какъ дома, какъ на пикникѣ, и мы достали самоваръ, и достали даже лимонъ и стаканы, и устроились подъ деревомъ — какъ дома, какъ на пикникѣ. По одному, по два, по три собирались товарищи и подходили шумно, съ разговорами, съ шуткой, полные веселаго ожиданія—но скоро умолкали, избѣгая смотрѣть другъ на друга, ибо что-то страшное было въ этомъ сборищѣ уцѣлѣвшихъ людей. Оборванные, грязные, почесывавшіеся, какъ въ жестокой чесоткѣ, заросшіе волосами, худые и истощенные, потерявшіе знакомое и привычное обличье, мы точно сейчасъ только, за самоваромъ, увидѣли другъ друга—увидѣли и испугались. Я тщетно искалъ

въ этой толпѣ растерянныхъ людей знакомыя лица—и не могъ найти. Эти люди, безпокойные, торопливые, съ толчкообразными движеніями, вздрагивающіе при каждомъ стукѣ, постоянно ищущіе чего-то позади себя, старающіеся избыткомъ жестикуляціи наполнить ту загадочную пустоту, куда имъ страшно заглянуть—были новые, чужіе люди, которыхъ я не зналъ. И голоса звучали по иному, отрывисто, толчками, съ трудомъ выговаривая слова и легко, по ничтожному поводу, переходя въ крикъ или безсмысленный, неудержимый смѣхъ. И все было чужое. Дерево было чужое, и закатъ чужой, и вода чужая, съ особымъ запахомъ и вкусомъ — какъ будто вмѣстѣ съ умершими мы оставили землю и перешли въ какой-то другой міръ—міръ таинственныхъ явленій и зловѣщихъ пасмурныхъ тѣней. Закатъ былъ желтый, холодный; надъ нимъ тяжело висѣли черныя, ничѣмъ не освѣщенныя, неподвижныя тучи, и земля подъ нимъ была черна, и наши лица въ этомъ зловѣщемъ свѣтѣ были желты, какъ лица мертвецовъ. Мы всѣ смотрѣли на самоваръ, а онъ потухъ, отразилъ на бокахъ своихъ желтизну и угрозу заката и тоже сталъ чужой, мертвый и непонятный.

— Гдѣ мы?—спросилъ кто-то, и въ голосѣ его были тревога и страхъ. Кто-то вздохнулъ. Кто-то судорожно хрустнулъ пальцами, кто-то засмѣялся, кто-то вскочилъ и быстро заходилъ вокругъ стола. Теперь часто можно было встрѣтить этихъ быстро расхаживающихъ, почти бѣгающихъ людей, иногда странно молчаливыхъ, иногда странно бормотавшихъ что-то.

— На войнѣ,—отвѣтилъ тотъ, что смѣялся, и снова захохоталъ глухимъ длительнымъ смѣхомъ: точно онъ давился чѣмъ-то.

— Чего онъ хохочетъ?—возмутился кто-то.—Послушайте, перестаньте!

Тотъ еще разъ подавился, хихикнулъ и послушно

смолкъ. Темнѣло, туча насѣдала на землю, и мы съ трудомъ различали желтыя, призрачныя лица другъ друга. Кто-то спросилъ:

— А гдѣ же „Ботикъ“?

„Ботикъ“ — такъ звали мы товарища, маленькаго офицера въ большихъ непромокаемыхъ сапогахъ.

— Онъ сейчасъ былъ здѣсь. Ботикъ, гдѣ вы?

— Ботикъ, не прячьтесь! Мы слышимъ, какъ пахнетъ вашими сапогами.

Всѣ засмѣялись, и, перебивая смѣхъ, изъ темноты прозвучалъ грубый, негодующій голосъ:

— Перестаньте, какъ не стыдно. Ботикъ убитъ сегодня утромъ на развѣдкѣ.

— Онъ только сейчасъ былъ здѣсь. Это ошибка.

— Вамъ показалось. Эй, за самоваромъ, скорѣй отрѣжьте мнѣ лимона.

— И мнѣ! И мнѣ!

— Лимонъ весь.

— Что же это, господа,—съ тоскою, почти плача, прозвучалъ тихій и обиженный голосъ.—А я только ради лимона и пришелъ.

Тотъ снова захохоталъ, глухо и длительно, и никто не сталъ его останавливать. Но скоро умолкъ. Хихикнулъ еще разъ—и замолчалъ. Кто-то сказалъ:

— Завтра наступленіе.

И нѣсколько голосовъ раздраженно крикнули:

— Оставьте! Какое тамъ наступленіе!

— Вы же сами знаете...

— Оставьте. Развѣ нельзя говорить о другомъ. Что же это!

Закатъ погасъ. Туча поднялась, и какъ будто стало свѣтлѣе, и лица стали знакомыя, и тотъ, что кружился вокругъ насъ, успокоился и сѣлъ.

— Какъ-то теперь дома?—неопредѣленно спросилъ онъ, и въ голосѣ его слышна была виноватая въ чемъ-то улыбка.

И снова стало страшно, и непонятно, и чуждо все—до ужаса, почти до потери сознанія. И мы всѣ сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая другъ друга за плечи, за руки, за колѣна—и сразу замолчали, уступая непонятному.

— Дома?—закричалъ кто-то изъ темноты. Голосъ его былъ хриплъ отъ волненія, отъ испуга, отъ злобы и дрожалъ. И нѣкоторыя слова у него не выходили, какъ будто онъ разучился ихъ говорить.—Дома? Какой домъ, развѣ гдѣ-нибудь есть домъ? Не перебивайте меня, иначе я начну стрѣлять. Дома я каждый день бралъ ванны—понимаете, ванны съ водой—съ водой по самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на головѣ у меня струпья, на головѣ у меня струпья, какая-то паршь, и все тѣло чешется, и по тѣлу ползаютъ, ползаютъ... Я съ ума схожу отъ грязи, а вы говорите—домъ! Я какъ скотъ, я презираю себя, я не узнаю себя, и смерть вовсе не такъ страшна. Вы мнѣ мозгъ разрываете вашими шрапнелями, мозгъ! Куда бы ни стрѣляли, мнѣ все попадаетъ въ мозгъ,—вы говорите—домъ. Какой домъ? Улица, окна, люди, а я не пошелъ бы теперь на улицу—мнѣ стыдно. Вы принесли самоваръ, а мнѣ на него стыдно было смотрѣть. На самоваръ.

Тотъ снова засмѣялся. Кто-то крикнулъ:

— Это чортъ знаетъ что. Я пойду домой.

— Домой?

— Вы не понимаете, что такое долгъ!..

— Домой? Слушайте: онъ хочетъ домой!

Поднялся общій смѣхъ и жуткій крикъ—и снова всѣ замолчали, уступая непонятному. И тутъ не я одинъ, а всѣ мы, сколько насъ ни было, почувствовали *это*. Оно шло на насъ съ этихъ темныхъ, загадочныхъ и чуждыхъ полей; оно поднималось изъ глухихъ черныхъ ущелій, гдѣ, быть можетъ, еще умираютъ забытые и затерянные среди камней, оно ли-

лось съ этого чуждаго, невиданнаго неба. Молча, теряя сознаніе отъ ужаса, стояли мы вокругъ потухшаго самовара, а съ неба на насъ пристально и молча глядѣла огромная, безформенная тѣнь, поднявшаяся надъ міромъ. Внезапно, совсѣмъ близко отъ насъ, вѣроятно, у полкового командира заиграла музыка, и бѣшено веселые, громкіе звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. Съ бѣшенымъ весельемъ и вызовомъ играла она, торопливая, нестройная, слишкомъ громкая, слишкомъ веселая, и видно было, что и тѣ, кто играютъ, и тѣ, кто слушаютъ, видятъ такъ же, какъ мы, эту огромную, безформенную тѣнь, поднявшуюся надъ міромъ.

А тотъ, въ оркестрѣ, что игралъ на трубѣ, уже носилъ, видимо, въ себѣ, въ своемъ мозгу, въ своихъ ушахъ, эту огромную молчаливую тѣнь. Отрывистый и ломаный звукъ метался и прыгалъ, и бѣжалъ куда-то въ сторону отъ другихъ, одинокій, дрожащій отъ ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на него: такъ неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бѣжали они разорванной толпою, слишкомъ громкіе, слишкомъ веселые, слишкомъ близкіе къ чернымъ ущельямъ, гдѣ еще умирали, быть можетъ, забытые и потерянные среди камней—люди.

И долго стояли мы вокругъ потухшаго самовара и молчали.

ОТРЫВОКЪ ПЯТЫЙ.

...я уже спалъ, когда докторъ разбудилъ меня осторожными толчками. Я вскрикнулъ, просыпаясь и вскакивая, какъ вскрикивали мы всѣ, когда насъ будили, и бросился къ выходу изъ палатки. Но докторъ крѣпко держалъ меня за руку и извинялся:

— Я васъ испугалъ, простите. И знаю, что вы хотите спать...

— Пять сутокъ...—пробормоталъ я, засыпая, и заснулъ и спалъ, казалось мнѣ, долго, когда докторъ вновь заговорилъ, осторожно поталкивая меня въ бока и ноги.

— Но очень нужно. Голубчикъ, пожалуйста, такъ нужно. Мнѣ все кажется... Я не могу. Мнѣ все кажется, что тамъ еще остались раненые...

— Какіе раненые? Вы же весь день ихъ возили. Оставьте меня въ покоѣ. Это нечестно, я пять сутокъ не спалъ!

— Голубчикъ, не сердитесь,—бормоталъ докторъ, неловко надѣвая фуражку мнѣ на голову.—Всѣ спятъ, нельзя добудиться. Я досталъ паровозъ и семь вагоновъ, но намъ нужны люди. Я вѣдь понимаю... Голубчикъ, умоляю васъ. Всѣ спятъ, всѣ отказываются. Я самъ боюсь заснуть. Не помню, когда я спалъ. Кажется, у меня начинаются галлюцинаціи. Голубчикъ, спустите ножки, ну одну ножку, ну такъ, такъ...

Докторъ былъ блѣденъ и покачивался, и замѣтно было, что если онъ только приляжетъ—онъ заснетъ на нѣсколько сутокъ кряду. И подо мною подгибались ноги, и я увѣренъ, что я заснулъ, пока мы шли,—такъ внезапно и неожиданно, неизвѣстно откуда, выросъ передъ нами рядъ черныхъ силуэтовъ—паровозъ и вагоны. Возлѣ нихъ медленно и молча бродили какіе-то люди, едва видимые въ потемкахъ. Ни на паровозѣ, ни въ вагончахъ не было ни одного фонаря, и только отъ закрытаго поддувала на полотно ложился красноватый, неяркій свѣтъ.

— Что это?—спросилъ я, отступая.

— Вѣдь мы же ѣдемъ. Вы забыли? Мы ѣдемъ,—бормоталъ докторъ.

Ночь была холодная, и онъ дрожалъ отъ холода, и, глядя на него, я почувствовалъ во всемъ тѣлѣ ту же частую щекочущую дрожь.

— Чортъ васъ знаетъ! — закричалъ я громко. — Не могли вы взять другого...

— Тише, пожалуйста, тише! — докторъ схватилъ меня за руку.

Кто-то изъ темноты сказалъ:

— Теперь дай залпъ изъ всѣхъ орудій, такъ никто не шевельнется. Они тоже спятъ. Можно подойти и всѣхъ сонныхъ перевязать. Я сейчасъ прошелъ мимо самого часового. Онъ посмотрѣлъ на меня и ничего не сказалъ, не шевельнулся. Тоже спитъ, вѣроятно. И какъ только онъ не упадетъ.

Говорившій зѣвнулъ, и одежда его зашуршала: видимо, онъ потягивался. Я легъ грудью на край вагона, чтобы взлѣзть и сонъ тотчасъ же охватилъ меня. Кто-то приподнялъ меня сзади и положилъ, а я почему-то отпихивалъ его ногами и опять заснулъ, и точно во снѣ слышалъ обрывки разговора:

— На седьмой верстѣ.

— А фонари забыли?

— Нѣтъ, онъ не пойдетъ.

— Сюда давай. Осади немного. Такъ.

Вагоны дергались на мѣстѣ, что-то постукивало. И постепенно отъ всѣхъ этихъ звуковъ и оттого, что я легъ удобно и спокойно, сонъ сталъ покидать меня. А докторъ заснулъ, и когда я взялъ его руку, она была какъ у мертваго: вялая и тяжелая. Поѣздъ уже двигался, медленно и осторожно, слегка вздрагивая и точно нащупывая дорогу. Студентъ-санитаръ зажегъ въ фонарѣ свѣчу, освѣтивъ стѣны и черную дыру дверей, и сказалъ сердито:

— Какого чорта! Очень мы сейчасъ имъ нужны. А его вы разбудите, пока не разоспался. Тогда ничего не сдѣлаешь, я по себѣ знаю.

Мы растолкали доктора, и онъ сѣлъ, недоумѣло поводя глазами. Хотѣлъ опять завалиться, но мы не дали.

— Хорошо бы сейчасъ водки хлебнуть, — сказалъ студентъ.

Мы хлебнули по глотку коньяку, и сонъ прошелъ совсѣмъ. Большой и черный четырехугольникъ дверей сталъ розовѣть, покраснѣлъ—гдѣ-то за холмами показалось огромное молчаливое зарево: какъ будто среди ночи всходило солнце.

— Это далеко. Верстъ за двадцать.

— Мнѣ холодно, — сказалъ докторъ, ляскнувъ зубами.

Студентъ выглянулъ за дверь и рукой поманилъ меня. Я посмотрѣлъ: въ разныхъ мѣстахъ горизонта, молчаливой цѣпью, стояли такія же неподвижныя зарева: какъ будто десятки солнцъ всходили одновременно. И уже не было такъ темно. Дальніе холмы густо чернѣли, отчетливо вырѣзая ломаную и волнистую линію, а вблизи все было залито краснымъ, тихимъ свѣтомъ, молчаливымъ и неподвижнымъ. Я взглянулъ на студента: лицо его было окрашено въ тотъ же красный призрачный цвѣтъ крови, превратившейся въ воздухъ и свѣтъ.

— Много раненыхъ?—спросилъ я.

Онъ махнулъ рукой.

— Много сумасшедшихъ. Больше, чѣмъ раненыхъ.

— Настоящихъ?

— А то какихъ же?

Онъ смотрѣлъ на меня, и въ его глазахъ было то же остановившееся, дикое, полное холоднаго ужаса, какъ и у того солдата, что умеръ отъ солнечнаго удара.

— Перестаньте,—сказалъ я, отворачиваясь.

— Докторъ тоже сумасшедшій. Вы посмотрите-ка на него.

Докторъ не слышалъ. Онъ сидѣлъ, поджавъ ноги, какъ сидятъ турки, и раскачивался и беззвучно двигалъ губами и концами пальцевъ. И во взглядѣ у него

было то же остановившееся, остолбенѣлое, тупо пораженное.

— Мнѣ холодно,— сказалъ онъ и улыбнулся.

— Ну васъ всѣхъ къ чорту! — закричалъ я, отходя въ уголъ вагона.—Зачѣмъ вы меня позвали?

Никто не отвѣтилъ. Студентъ глядѣлъ на молчаливое, разраставшееся зарево, и его затылокъ съ вьющимися волосами былъ молодой, и когда я глядѣлъ на него, мнѣ почему-то все представлялась тонкая женская рука, которая ворошитъ эти волосы. И это представленіе было такъ непріятно, что я началъ ненавидѣть студента и не могъ смотрѣть на него безъ отвращенія.

— Вамъ сколько лѣтъ?—спросилъ я, но онъ не обернулся и не отвѣтилъ.

Докторъ покачивался.

— Мнѣ холодно.

— Когда я подумаю, — сказалъ студентъ, не оборачиваясь:—когда я подумаю, что есть гдѣ-то улицы, дома, Университетъ.

Онъ оборвалъ, точно сказалъ все, и замолчалъ. Поѣздъ почти внезапно остановился, такъ что я ударился о стѣну, и послышались голоса. Мы выскочили.

Передъ самымъ паровозомъ на полотнѣ лежало что-то, небольшой комокъ, изъ котораго торчала нога.

— Раненый?

— Нѣтъ убитый. Голова оторвана. Только какъ хотите, а я зажгу передній фонарь. А то еще задавишь.

Комокъ съ торчавшей ногой сбросили въ сторону; нога на мигъ задралась кверху, будто онъ хотѣлъ бѣжать по воздуху, и все скрылось въ черной канавѣ. Фонарь загорѣлся, и паровозъ сразу почернѣлъ.

— Послушайте!—съ тихимъ ужасомъ прошепталъ кто-то.

Какъ мы не слышали раньше! Отовсюду — мѣста

нельзя было точно опредѣлить — приносился ровный, поскребывающій стонъ, удивительно спокойный въ своей широтѣ и даже какъ будто равнодушный. Мы слышали много и криковъ, и стоновъ, но это не было похоже ни на что изъ слышаннаго. На смутной красноватой поверхности глазъ не могъ уловить ничего, и оттого казалось, что это стонетъ сама земля или небо, озаренное невсходящимъ солнцемъ.

— Пятая верста,—сказалъ машинистъ.

— Это оттуда, — показалъ докторъ рукой впередъ. Студентъ вздрогнулъ и медленно обернулся къ намъ:

— Что же это? Вѣдь этого же нельзя слышать!

— Двигаемся!

Мы пошли пѣшкомъ впереди паровоза, и отъ насъ на полотно легла сплошная длинная тѣнь, и была она не черная, а смутно красная отъ того тихаго, неподвижнаго свѣта, который молчаливо стоялъ въ разныхъ концахъ чернаго неба. И съ каждымъ нашимъ шагомъ зловѣще наросталъ этотъ дикій, неслыханный стонъ, не имѣвшій видимаго источника — какъ будто стоналъ красный воздухъ, какъ будто стонали земля и небо. Въ своей непрерывности и странномъ равнодушіи онъ напоминалъ минутами трещаніе кузнечиковъ на лугу—ровное и жаркое трещаніе кузнечиковъ на лѣтнемъ лугу. И все чаще и чаще стали встрѣчаться трупы. Мы бѣгло осматривали ихъ и сбрасывали съ полотна—эти равнодушные, спокойные, вялые трупы, оставлявшіе на мѣстѣ лежанія своего темныя маслянистыя пятна всосавшейся крови, и сперва считали ихъ, а потомъ сбились и перестали. Было ихъ много—слишкомъ много для этой зловѣщей ночи, дышавшей холодомъ и стонавшей каждою частицею своего существа.

— Что же это!—кричалъ докторъ и грозилъ кому-то кулакомъ. Вы—слушайте...

Приближалась шестая верста, и стоны дѣлались

опредѣленнѣе, рѣзче, и уже чувствовались перекошенные рты, издающіе эти голоса. Мы трепетно всматривались въ розовую мглу, обманчивую въ своемъ призрачномъ свѣтѣ, когда почти рядомъ, у полотна внизу кто-то громко застоналъ призывнымъ, плачущимъ стономъ. Мы сейчасъ же нашли его, этого раненаго, у котораго на лицѣ были одни только глаза—такъ велики показались они, когда на лицо его палъ свѣтъ фонаря. Онъ пересталъ стонать и только поочередно переводилъ глаза на каждаго изъ насъ и на наши фонари, и въ его взглядѣ была безумная радость оттого, что онъ видитъ людей и огни—и безумный страхъ, что сейчасъ все это исчезнетъ, какъ видѣніе. Быть можетъ, ему уже не разъ грезились наклонившіеся люди съ фонарями и исчезали въ кровавомъ и смутномъ кошмарѣ.

Мы тронулись дальше и почти тотчасъ наткнулись на двухъ раненыхъ, одинъ лежалъ на полотнѣ, другой стоналъ въ канавѣ. Когда ихъ подбирали, докторъ, дрожа отъ злости, сказалъ мнѣ:

— Ну что?

И отвернулся. Черезъ нѣсколько шаговъ мы встрѣтили легко раненаго, который шелъ самъ, поддерживая одну руку другой. Онъ двигался, закинувъ голову, прямо на насъ, и точно не замѣтилъ, когда мы разступились, давая ему дорогу. Кажется, онъ не видалъ насъ. У паровоза онъ на мигъ остановился, обогнулъ его и пошелъ вдоль вагоновъ.

— Ты бы сѣлъ! — крикнулъ докторъ, но онъ не отвѣтилъ.

Это были первые, ужаснувшіе насъ. А потомъ все чаще они стали попадаться на полотнѣ и около него, и все поле, залитое неподвижнымъ краснымъ отсвѣтомъ пожаровъ, закопошилось, точно живое, загорѣлось громкими криками, воплями, проклятіями и стонами. Эти темные бугорки копошились и ползали, какъ сонные раки, выпущенные изъ корзины, раскоряченные,

странные, едва ли похожіе на людей въ своихъ оборванныхъ, смутныхъ движеніяхъ и тяжелой неподвижности. Одни были безгласны и послушны, другіе стонали, выли, ругались и ненавидѣли насъ, спасавшихъ ихъ, такъ страстно, какъ будто мы создали и эту кровавую равнодушную ночь, и одиночество ихъ среди ночи и труповъ, и эти страшныя раны. Уже не хватало мѣста въ вагонахъ, и вся одежда наша стала мокра отъ крови, какъ будто долго стояли мы подъ кровавымъ дождемъ, а раненыхъ все несли, и все такъ же дико копошилось ожившее поле.

Нѣкоторые подползали сами, иные подходили, шатаясь и падая. Одинъ солдатъ почти подбѣжалъ къ намъ. У него было разможжено лицо, и остался одинъ только глазъ, горѣвшій дико и страшно, и былъ онъ почти голый, какъ изъ бани. Толкнувъ меня, онъ нащупалъ глазомъ доктора и быстро лѣвою рукою схватилъ его за грудь.

— Я тебѣ въ морду дамъ!—крикнулъ онъ и, тряся доктора, длительно и ѣдко прибавилъ циничное ругательство.—Я тебѣ въ морду дамъ! Сволочи!

Докторъ вырвался и, наступая на солдата, захлебываясь, закричалъ:

— Я тебя подъ судъ отдамъ, негодяя! Въ карцеръ! Ты мнѣ мѣшаешь работать! Негодяй! Животное!

Ихъ растащили, но долго еще солдатъ выкрикивалъ: сволочи! Я въ морду дамъ!

Я уже терялъ силы и отошелъ къ сторонѣ покурить и отдохнуть. Отъ насохшей крови руки одѣлись точно въ черныя перчатки, и съ трудомъ сгибались пальцы, теряя папиросы и спички. И когда я закурилъ, табачный дымъ показался мнѣ такимъ новымъ и страннымъ, совсѣмъ особеннаго вкуса, котораго я не ощущалъ ни раньше, ни позже. Тутъ подошелъ ко мнѣ студентъ-санитаръ, тотъ, что ѣхалъ сюда—но мнѣ показалось, что я видѣлся съ нимъ нѣсколько лѣтъ назадъ, и я

никакъ не могъ вспомнить, гдѣ. Шагалъ онъ твердо, точно маршировалъ, и глядѣлъ сквозь меня, куда-то дальше и выше.

— А они спятъ,—сказалъ онъ какъ будто бы совершенно спокойно. Я вспылилъ, точно упрекъ касался меня.

— Вы забываете, что они десять дней дрались, какъ львы.

— А они спятъ, —повторилъ онъ, глядя сквозь меня и выше. Потомъ наклонился ко мнѣ и, грозя пальцемъ, все такъ же сухо и спокойно продолжалъ:

— Я вамъ скажу. Я вамъ скажу.

— Что?

Онъ все ниже наклонялся ко мнѣ, многозначительно грозилъ пальцемъ и повторялъ точно законченную мысль:

— Я вамъ скажу. Я вамъ скажу. Передайте имъ.

И все такъ же строго глядя на меня и еще разъ погрозивъ пальцемъ, онъ вынулъ револьверъ и выстрѣлилъ себѣ въ високъ. И это нисколько не удивило и не испугало меня. Переложивъ папиросу въ лѣвую руку, я попробовалъ пальцемъ рану и пошелъ къ вагонамъ.

— Студентъ-то застрѣлился. Кажется, еще живъ,— сказалъ я доктору. Тотъ схватилъ себя за голову и простоналъ:

— А, чортъ его!.. Вѣдь нѣтъ же у насъ мѣста. Вонъ тотъ сейчасъ тоже застрѣлится. И даю вамъ честное слово,—онъ закричалъ сердито и угрожающе:—я тоже! Да! И прошу васъ — извольте идти пѣшкомъ. Мѣстъ нѣту. Можете жаловаться, если угодно!

И все продолжая кричать, онъ отвернулся, а я подошелъ къ тому, который сейчасъ застрѣлится. Это былъ санитаръ, тоже, кажется, студентъ. Онъ стоялъ, упершись лбомъ въ стѣнку вагона, и плечо его вздрагивало отъ рыданій.

— Перестаньте,—сказалъ я, коснувшись вздрагивающаго плеча.

Но онъ не повернулся, не отвѣтилъ и плакалъ. И затылокъ у него былъ молодой, какъ у того, и тоже страшный, и стоялъ онъ нелѣпо раскорячившись, какъ пьяный, у котораго рвота; и шея у него была въ крови—должно быть, хватался руками.

— Ну?—сказалъ я нетерпѣливо.

Онъ откачнулся отъ вагона и, опустивъ голову, стариковски сгорбившись, пошелъ куда-то въ темноту, прочь отъ всѣхъ насъ. Не знаю почему, и я пошелъ за нимъ, и мы долго шли, все куда-то въ сторону, прочь отъ вагоновъ. Кажется, онъ плакалъ; и мнѣ стало скучно и захотѣлось плакать самому.

— Стойте!—крикнулъ я, остановившись.

Но онъ шелъ, тяжело передвигая ноги, сгорбившись, похожій на старика, съ своими узкими плечами и шаркающей походкой. И скоро пропалъ онъ въ красноватой мглѣ, казавшейся свѣтомъ и ничего не освѣщавшей. А я остался одинъ.

Налѣво, уже далеко отъ меня, проплылъ рядъ неяркихъ огоньковъ—это ушелъ поѣздъ. Я былъ одинъ—среди мертвыхъ и умирающихъ. Сколько ихъ еще осталось? Возлѣ меня все было неподвижно и мертво, а дальше поле копошилось, какъ живое—или мнѣ это казалось оттого, что я одинъ. Но стонъ не утихалъ. Онъ стлался по землѣ—тонкій, безнадежный, похожій на дѣтскій плачъ, или на визгъ тысячи заброшенныхъ и замерзающихъ щенятъ. Какъ острая, безконечная ледяная игла входилъ онъ въ мозгъ и медленно двигался взадъ и впередъ—взадъ и впередъ...

ОТРЫВОКЪ ШЕСТОЙ.

...это были наши. Среди той странной спутанности движеній, которая въ послѣдній мѣсяцъ преслѣдовала обѣ арміи, нашу и непріятельскую, ломая всѣ приказы и планы, мы были увѣрены, что на насъ надвигается непріятель, именно четвертый корпусъ. И уже все готово было къ аттакѣ, когда кто-то въ бинокль ясно различилъ наши мундиры, а черезъ десять минутъ догадка превратилась въ спокойную и счастливую увѣренность: это были наши. И они, видимо, узнали насъ: они подвигались къ намъ совершенно спокойно, и въ этомъ покойномъ движеніи чувствовалась та же, какъ и у насъ, счастливая улыбка неожиданной встрѣчи.

И когда они начали стрѣлять, мы нѣкоторое время не могли понять, что это значитъ, и еще улыбались,— подъ цѣлымъ градомъ шрапнели и пуль, осыпавшихъ насъ и сразу выхватившихъ сотни человѣкъ. Кто-то крикнулъ объ ошибкѣ, и—я твердо помню это—мы всѣ увидѣли, что это непріятель и что форма эта его, а не наша, и немедленно отвѣтили огнемъ. Минутъ, вѣроятно, черезъ пятнадцать по началѣ этого страннаго боя мнѣ оторвало обѣ ноги, и опомнился я уже въ лазаретѣ, послѣ ампутаціи.

Я спросилъ, чѣмъ кончился бой, но мнѣ дали уклончивый успокоительный отвѣтъ, изъ котораго я понялъ, что мы разбиты; а потомъ меня, безногаго, охватила радость, что меня теперь отправятъ домой, что я все-таки живъ—живъ надолго, навсегда. И только черезъ недѣлю я узналъ нѣкоторыя подробности, вновь толкнувшія меня къ сомнѣніямъ и новому, еще не испытанному страху.

Да, кажется, это были наши,—и нашей гранатой, пущенной изъ нашей пушки, нашимъ солдатомъ, оторвало мнѣ ноги. И никто не могъ объяснить, какъ это

случилось. Что-то произошло, что-то затемнило взоры, и два полка одной арміи, стоя въ верстѣ одинъ противъ другого, цѣлый часъ взаимно истребляли другъ друга, въ полной увѣренности, что имѣютъ дѣло съ непріятелемъ. И вспоминали объ этомъ случаѣ неохотно, полусловами, и—это удивительнѣе всего—чувствовалось, что многіе изъ говорившихъ до сихъ поръ не сознаютъ ошибки. Вѣрнѣе, они признаютъ ее, но думаютъ, что она была позднѣе, а вначалѣ они дѣйствительно имѣли дѣло съ врагомъ, куда-то скрывшимся при всеобщемъ переполохѣ и подставившимъ насъ подъ свои же снаряды. Нѣкоторые открыто говорили объ этомъ, давая точныя объясненія, которыя казались имъ правдоподобными и ясными. Я самъ до сихъ поръ не могу вполнѣ увѣренно сказать, какъ началось это странное недоразумѣніе, такъ какъ одинаково ясно видѣлъ сперва нашу, красную форму, а потомъ ихъ, оранжевую. И какъ-то очень скоро всѣ забыли объ этомъ случаѣ, такъ забыли, что говорили о немъ, какъ о настоящемъ сраженіи, и въ этомъ смыслѣ были написаны и посланы многія, вполнѣ искреннія корреспонденціи; я ихъ читалъ уже дома. Къ намъ, раненымъ въ этомъ бою, отношеніе было вначалѣ нѣсколько странное,—насъ какъ будто меньше жалѣли, чѣмъ другихъ раненыхъ, но скоро и это сгладилось. И только новые случаи, подобные описанному, да то, что въ непріятельской арміи два отряда дѣйствительно перебили другъ друга почти поголовно, дойдя ночью до рукопашной схватки—даетъ мнѣ право думать, что тутъ была ошибка.

Нашъ докторъ, тотъ, что произвелъ ампутацію, сухой, костлявый старикъ, провонявшій іодоформомъ, табачнымъ дымомъ и карболкой, вѣчно чему-то улыбавшійся сквозь изжелта сѣдые, рѣдкіе усы, сказалъ мнѣ, прищуривъ глаза:

— Счастье ваше, что вы ѣдете домой. Тутъ что-то неладно.

— Что такое?

— Да такъ. Неладно. Въ наше время было попроще.

Онъ былъ участникомъ послѣдней европейской войны, бывшей почти четверть вѣка назадъ, и часто съ удовольствіемъ вспоминалъ ее. А этой не понималъ и, какъ я замѣтилъ, боялся.

— Да, неладно, — вздохнулъ онъ и нахмурился, скрывшись въ облакѣ табачнаго дыма.—Я самъ бы уѣхалъ отсюда, если бы можно было.

И наклонившись ко мнѣ, прошепталъ сквозь желтые, закопченные усы:

— Скоро наступитъ такой моментъ, когда уже никто отсюда не уѣдетъ. Да. Ни я, никто,—и въ близкихъ, старыхъ глазахъ его я увидѣлъ то же остановившееся, тупо пораженное. И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на паденіе тысячи зданій, мелькнуло въ моей головѣ, и, холодѣя отъ ужаса, я прошепталъ:

— Красный смѣхъ.

И онъ былъ первый, кто понялъ меня. Онъ поспѣшно закивалъ головою и подтвердилъ:

— Да. Красный смѣхъ.

Совсѣмъ близко подсѣвъ ко мнѣ и озираясь по сторонамъ, онъ зашепталъ, учащенно, по-стариковски, двигая острой, сѣденькой бородкой:

— Вы скоро уѣдете, и вамъ я скажу. Вы видѣли когда-нибудь драку въ сумасшедшемъ домѣ? Нѣтъ? А я видѣлъ. И они дрались, какъ здоровые. Понимаете: какъ здоровые.—Онъ нѣсколько разъ многозначительно повторилъ эту фразу.

— Такъ что же?—такъ же шопотомъ и испуганно спросилъ я.

— Ничего. Какъ здоровые.

— Красный смѣхъ,—сказалъ я.

— Ихъ розлили водой.

Я вспомнилъ дождь, который такъ напугалъ насъ, и разсердился.

— Вы съ ума сошли, докторъ!

— Не больше, чѣмъ вы. Во всякомъ случаѣ, не больше.

Онъ охватилъ руками острыя, старческія колѣни и захихикалъ; и косясь на меня черезъ плечо, еще храня на сухихъ губахъ отзвуки этого неожиданнаго и тяжелаго смѣха, онъ нѣсколько разъ лукаво подмигнулъ мнѣ, какъ будто мы съ нимъ только двое знали что-то очень смѣшное, чего не знаетъ никто. Потомъ съ торжественностью профессора магіи, показывающаго фокусы, онъ высоко поднялъ руку, плавно опустилъ ее и осторожно, двумя пальцами коснулся того мѣста одѣяла, подъ которымъ находились бы мои ноги, если бы ихъ не отрѣзали.

— А это вы понимаете? — таинственно спросилъ онъ.

Потомъ такъ же торжественно и многозначительно обвелъ рукою ряды кроватей, на которыхъ лежали раненые, и повторилъ:

— А это вы можете объяснить?

— Раненые,—сказалъ я.—Раненые.

— Раненые,—какъ эхо, повторилъ онъ.—Раненые. Безъ ногъ, безъ рукъ, съ прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень радъ. Значитъ, вы поймете и это?.

Съ гибкостью, неожиданною для его возраста, онъ перекинулся внизъ и сталъ на руки, балансируя въ воздухѣ ногами. Бѣлый балахонъ завернулся внизъ, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня страннымъ перевернутымъ взглядомъ, онъ съ трудомъ бросалъ отрывистыя слова:

— А это... вы также... понимаете?

Перестаньте,—испуганно зашепталъ я.—А то я закричу.

Онъ перевернулся, принялъ естественное положеніе, сѣлъ снова у моей кровати и, отдуваясь, наставительно замѣтилъ:

— И никто этого не понимаетъ.

— Вчера опять стрѣляли.

— И вчера стрѣляли. И третьяго дня стрѣляли,— утвердительно мотнулъ онъ головой.

— Я хочу домой!—съ тоскою сказалъ я.—Докторъ, милый, я хочу домой. Я не могу здѣсь оставаться. Я перестаю вѣрить, что есть домъ, гдѣ такъ хорошо.

Онъ думалъ о чемъ-то и не отвѣчалъ, и я заплакалъ:

— Господи, у меня нѣтъ ногъ. Я такъ любилъ ѣздить на велосипедѣ, ходить, бѣгать, а теперь у меня нѣтъ ногъ. На правой ногѣ я качалъ сына, и онъ смѣялся, а теперь... Будьте вы прокляты! Зачѣмъ я поѣду? Мнѣ только тридцать лѣтъ... Будьте вы прокляты!

И я рыдалъ, рыдалъ, вспоминая о милыхъ ногахъ моихъ, моихъ быстрыхъ, сильныхъ ногахъ. Кто отнялъ ихъ у меня, кто смѣлъ ихъ отнять!

— Слушайте,—сказалъ докторъ, глядя въ сторону.— Вчера я видѣлъ: къ намъ пришелъ сумасшедшій солдатъ. Непріятельскій солдатъ. Онъ былъ раздѣтъ почти до-гола, избитъ, исцарапанъ и голоденъ, какъ животное; онъ весь заросъ волосами, какъ заросли и мы всѣ, и былъ похожъ на дикаря, на первобытнаго человѣка, на обезьяну. Онъ размахивалъ руками, кривлялся, пѣлъ и кричалъ, и лѣзъ драться. Его накормили и выгнали назадъ—въ поле. Куда же ихъ дѣвать? Дни и ночи оборванными, зловѣщими призраками бродятъ они по холмамъ, взадъ и впередъ и во всѣхъ направленіяхъ, безъ дороги, безъ цѣли, безъ пристанища. Размахиваютъ руками, хохочутъ, кричатъ

и поютъ, и когда встрѣчаются, то вступаютъ въ драку, а, быть можетъ, не видятъ другъ друга и проходятъ мимо. Чѣмъ они питаются? Вѣроятно, ничѣмъ, а, быть можетъ, трупами, вмѣстѣ со звѣрями, вмѣстѣ съ этими толстыми, отъѣвшимися одичалыми собаками, которыя цѣлыя ночи дерутся на холмахъ и визжатъ. По ночамъ, какъ птицы, разбуженныя бурей, какъ уродливые мотыльки, они сбираются на огонь, и стоитъ развести костеръ отъ холода, чтобы черезъ полчаса около него выросъ десятокъ крикливыхъ, оборванныхъ, дикихъ силуэтовъ, похожихъ на озябшихъ обезьянъ. Въ нихъ стрѣляютъ иногда по ошибкѣ, иногда нарочно, выведенные изъ терпѣнія ихъ безтолковымъ, пугающимъ крикомъ...

— Я хочу домой! — кричалъ я, затыкая уши. И словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой измученный мозгъ новыя ужасныя слова:

— ...Ихъ много. Они умираютъ сотнями въ пропастяхъ, въ волчьихъ ямахъ, приготовленныхъ для здоровыхъ и умныхъ, на остаткахъ колючей проволоки и кольевъ; они вмѣшиваются въ правильныя, разумныя сраженія и дерутся, какъ герои—всегда впереди, всегда безстрашные; но часто бьютъ своихъ. Они мнѣ нравятся. Сейчасъ я только еще схожу съ ума и оттого сижу и разговариваю съ вами, а когда разумъ окончательно покинетъ меня, я выйду въ поле—я выйду въ поле, я кликну кличъ—я кликну кличъ, я соберу вокругъ себя этихъ храбрецовъ, этихъ рыцарей безъ страха, и объявлю войну всему міру. Веселой толпой, съ музыкой и пѣснями, мы войдемъ въ города и села, и гдѣ мы пройдемъ, тамъ все будетъ красно, тамъ все будетъ кружиться и плясать, какъ огонь. Тѣ, кто не умеръ, присоединятся къ намъ, и наша храбрая армія будетъ расти, какъ лавина, и очиститъ весь этотъ міръ. Кто сказалъ, что нельзя убивать, жечь и грабить?...

Онъ уже кричалъ, этотъ сумасшедшій докторъ, и

крикомъ своимъ точно разбудилъ заснувшую боль тѣхъ, у кого были изорваны груди и животы, и вырваны глаза и обрублены ноги. Широкимъ, скребущимъ, плачущимъ стономъ наполнилась палата, и отовсюду къ намъ повернулись блѣдныя, желтыя, изможденныя лица, иныя безъ глазъ, иныя въ такомъ чудовищномъ уродствѣ, какъ будто изъ ада вернулись они. И они стонали и слушали, и въ открытую дверь осторожно заглядывала черная, безформенная тѣнь, поднявшаяся надъ міромъ, и сумасшедшій старикъ кричалъ, простирая руки:

— Кто сказалъ, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будемъ убивать, и грабить, и жечь. Веселая, безпечная ватага храбрецовъ, мы разрушимъ все: ихъ зданія, ихъ университеты и музеи; веселые ребята, полные огненнаго смѣха—мы попляшемъ на развалинахъ. Отечествомъ нашимъ я объявлю сумасшедшій домъ; врагами нашими и сумасшедшими—всѣхъ тѣхъ, кто еще не сошелъ съ ума; и когда великій, непобѣдимый, радостный, я воцарюсь надъ міромъ, единымъ его владыкою и господиномъ, — какой веселый смѣхъ огласитъ вселенную!

— Красный смѣхъ!—закричалъ я, перебивая.—Спасите! Опять я слышу красный смѣхъ!

— Друзья!—продолжалъ докторъ, обращаясь къ стонущимъ, изуродованнымъ тѣнямъ. — Друзья! У насъ будетъ красная луна и красное солнце, и у звѣрей будетъ красная веселая шерсть, и мы сдеремъ кожу съ тѣхъ, — кто слишкомъ бѣлъ, кто слишкомъ бѣлъ... Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного теплая, но она красная, и у нея такой веселый красный смѣхъ!..

ОТРЫВОКЪ СЕДЬМОЙ.

...это было безбожно, это было беззаконно. Красный крестъ уважается всѣмъ міромъ, какъ святыня, и они видѣли, что это идетъ поѣздъ не съ солдатами, а съ безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной минѣ. Несчастные люди, они уже грезили о домѣ...

ОТРЫВОКЪ ВОСЬМОЙ.

...вокругъ самовара, вокругъ настоящаго самовара, изъ котораго паръ валилъ, какъ изъ паровоза — даже стекло въ лампѣ немного затуманилось, такъ сильно шелъ паръ. И чашечки были тѣ же, синія снаружи и бѣлыя внутри, очень красивыя чашечки, которыя подарили намъ еще на свадьбѣ. Сестра жены подарила— она очень славная и добрая женщина.

— Неужели всѣ цѣлы? — недовѣрчиво спросилъ я, мѣшая сахаръ въ стаканѣ серебряной чистой ложечкой.

— Одну разбили,—сказала жена разсѣянно: она въ это время держала отвернутымъ кранъ, и оттуда красиво и легко бѣжала горячая вода.

Я засмѣялся.

— Чего ты?—спросилъ братъ.

— Такъ. Ну, отвезите-ка меня еще разикъ въ кабинетикъ. Потрудитесь для героя! Побездѣльничали безъ меня, теперь баста, я васъ подтяну — и я въ шутку, конечно, запѣлъ: Мы храбро на враговъ, на бой, друзья, спѣшимъ...

Они поняли шутку и тоже улыбнулись, только жена не подняла лица: она перетирала чашечки чистымъ вышитымъ полотенцемъ. Въ кабинетѣ я снова увидѣлъ: голубенькія обои, лампу съ зеленымъ колпакомъ и

столикъ, на которомъ стоялъ графинъ съ водою. И онъ былъ немного запыленъ.

— Налейте-ка мнѣ водицы отсюда, — весело приказалъ я.

— Ты же сейчасъ пилъ чай.

— Ничего, ничего, налейте. А ты, — сказалъ я женѣ, — возьми сынишку и посиди немножко въ той комнатѣ. Пожалуйста.

И маленькими глотками, наслаждаясь, я пилъ воду, а въ сосѣдней комнатѣ сидѣли жена и сынъ, и я ихъ не видѣлъ.

— Такъ, хорошо. Теперь идите сюда. Но отчего онъ такъ поздно не ложится спать?

— Онъ радъ, что ты вернулся. Милый, пойди къ отцу.

Но ребенокъ заплакалъ и спрятался у матери въ ногахъ.

— Отчего онъ плачетъ? — съ недоумѣніемъ спросилъ я и оглянулся кругомъ: — отчего вы всѣ — такъ блѣдны, и молчите, и ходите за мною, какъ тѣни?

Братъ громко засмѣялся и сказалъ:

— Мы не молчимъ.

И сестра повторила:

— Мы все время разговариваемъ.

— Я похлопочу объ ужинѣ, — сказала мать и торопливо вышла.

— Да, вы молчите, — съ неожиданной увѣренностью повторилъ я. — Съ самаго утра я не слышу отъ васъ слова, я только одинъ болтаю, смѣюсь, радуюсь. Развѣ вы не рады мнѣ? И почему вы всѣ избѣгаете смотрѣть на меня, развѣ я такъ перемѣнился? Да, такъ перемѣнился. Я и зеркалъ не вижу. Вы ихъ убрали? Дайте сюда зеркало.

— Сейчасъ я принесу, — отвѣтила жена и долго не возвращалась, и зеркальце принесла горничная. Я посмотрѣлъ въ него, и — я уже видѣлъ себя въ вагонѣ,

на вокзалѣ — это было то же лицо, немного постарѣвшее, но самое обыкновенное. А они, кажется, ожидали почему-то, что я вскрикну и упаду въ обморокъ,— такъ обрадовались они, когда я спокойно спросилъ:

— Что же тутъ необыкновеннаго?

Все громче смѣясь, сестра поспѣшно вышла, а братъ сказалъ увѣренно и спокойно:

— Да. Ты мало измѣнился. Полысѣлъ немного.

— Поблагодари и за то, что голова осталась,—равнодушно отвѣтилъ я.—Но куда онѣ всѣ убѣгаютъ: то одна, то другая. Повози-ка меня еще по комнатамъ. Какое удобное кресло, совершенно безшумное. Сколько заплатили? А я ужъ не пожалѣю денегъ; куплю себѣ такія ноги, лучше... Велосипедъ!

Онъ висѣлъ на стѣнѣ, совсѣмъ еще новый, только съ опавшими безъ воздуха шинами. На шинѣ задняго колеса присохъ кусочекъ грязи—отъ послѣдняго раза, когда я катался. Братъ молчалъ и не двигалъ кресла, и я понялъ это молчаніе и эту нерѣшительность.

— Въ нашемъ полку только четыре офицера остались въ живыхъ,—угрюмо сказалъ я.—Я очень счастливъ... А его возьми себѣ, завтра возьми.

— Хорошо, я возьму,—покорно согласился братъ.— Да, ты счастливъ. У насъ полгорода въ траурѣ. А ноги— это, право...

— Конечно. Я не почтальонъ.

Братъ внезапно остановился и спросилъ:

— А отчего у тебя трясется голова?

— Пустяки. Это пройдетъ, докторъ сказалъ.

— И руки тоже?

— Да, да. И руки. Все пройдетъ. Вези, пожалуйста, мнѣ надоѣло стоять.

Они разстроили меня, эти недовольные люди, но радость снова вернулась ко мнѣ, когда мнѣ стали приготовлять постель; настоящую постель, на красивой *кровати, на кровати*, которую я купилъ передъ свадь-

бой, четыре года тому назадъ. Постлали чистую простыню, потомъ взбили подушки, завернули одѣяло,—а я смотрѣлъ на эту торжественную церемонію, и въ глазахъ у меня стояли слезы отъ смѣха.

А теперь раздѣнь-ка меня и положи,—сказалъ я женѣ.—Какъ хорошо!

— Сейчасъ, милый.

— Поскорѣе!

— Сейчасъ, милый.

— Да что же ты?

— Сейчасъ, милый.

Она стояла за моей спиною, у туалета, и я тщетно поворачивалъ голову, чтобы увидѣть ее. И вдругъ она закричала, такъ закричала, какъ кричатъ только на войнѣ:

— Что же это!

И бросилась ко мнѣ, обняла, упала около меня, пряча голову у отрѣзанныхъ ногъ, съ ужасомъ отстраняясь отъ нихъ и снова припадая, цѣлуя эти обрѣзки и плача:

— Какой ты былъ! Вѣдь тебѣ только тридцать лѣтъ. Молодой, красивый былъ. Что же это! Какъ жестоки люди. Зачѣмъ это? Кому это нужно было? Ты, мой кроткій, мой жалкій, мой милый, милый...

И тутъ на крикъ прибѣжали всѣ они, и мать, и сестра, и нянька, и всѣ они плакали, говорили что-то, валялись у моихъ ногъ, и такъ плакали. А на порогѣ стоялъ братъ, блѣдный, совсѣмъ бѣлый, съ трясущейся челюстью и визгливо кричалъ:

— Я тутъ съ вами съ ума сойду. Съ ума сойду!

А мать ползала у кресла и уже не кричала, а хрипѣла только и билась головой о колеса. И, чистенькая, со взбитыми подушками, съ завернутымъ одѣяломъ, стояла кровать, та самая, которую я купилъ четыре года назадъ—передъ свадьбой...

ОТРЫВОКЪ ДЕВЯТЫЙ.

...Я сидѣлъ въ ваннѣ съ горячей водой, а братъ безпокойно вертѣлся по маленькой комнатѣ, присаживаясь, снова вставая, хватая въ руки мыло, простыню, близко поднося ихъ къ близорукимъ глазамъ и снова кладя обратно. Потомъ сталъ лицомъ къ стѣнѣ и, ковыряя пальцемъ штукатурку, горячо продолжалъ:

— Самъ посуди: вѣдь нельзя же безнаказанно десятки и сотни лѣтъ учить жалости, уму, логикѣ,—давать сознаніе. Главное—сознаніе. Можно стать безжалостнымъ, потерять чувствительность, привыкнуть къ виду крови и слезъ и страданій—какъ вотъ мясники или нѣкоторые доктора или военные; но какъ возможно, познавши истину, отказаться отъ нея? По моему мнѣнію, этого нельзя. Съ дѣтства меня учили не мучить животныхъ, быть жалостливымъ; тому же учили меня всѣ книги, какія я прочелъ, и мнѣ мучительно жаль тѣхъ, кто страдаетъ на вашей проклятой войнѣ. Но вотъ проходитъ время, и я начинаю привыкать ко всѣмъ этимъ смертямъ, страданіямъ, крови; я чувствую, что и въ обыденной жизни я становлюсь менѣе чувствителенъ, менѣе отзывчивъ и отвѣчаю только на самыя сильныя возбужденія, — но къ самому факту войны я не могу привыкнуть, мой умъ отказывается понять и объяснить то, что въ основѣ своей безумно. Милліонъ людей, собравшись въ одно мѣсто и стараясь придать правильность своимъ дѣйствіямъ, убиваютъ другъ друга, и всѣмъ одинаково больно, и всѣ одинаково несчастны—что же это такое, вѣдь это сумасшествіе?

Братъ обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими, немного наивными глазами.

— Красный смѣхъ,—весело сказалъ я, плескаясь.

— И я скажу тебѣ правду,—братъ довѣрчиво положилъ холодную руку на мое плечо, какъ будто испу-

гался, что оно голое и мокрое, и быстро отдернулъ ее,—я скажу тебѣ правду: я очень боюсь сойти съ ума. Я не могу понять, что это такое происходитъ. Я не могу понять, и это ужасно. Если бы кто-нибудь могъ объяснить мнѣ, но никто не можетъ. Ты былъ на войнѣ, ты видѣлъ—объясни мнѣ.

— Убирайся къ чорту!—шутливо отвѣтилъ я, плескаясь.

— Вотъ и ты тоже,—печально сказалъ братъ:—никто не въ силахъ мнѣ помочь. Это ужасно. И я перестаю понимать, что можно, чего нельзя, что разумно, а что безумно. Если сейчасъ я возьму тебя за горло, сперва тихонько, какъ будто ласкаясь, а потомъ покрѣпче, и удушу—что это будетъ?

— Ты говоришь вздоръ. Никто этого не дѣлаетъ.

Братъ потеръ холодныя руки, тихо улыбнулся и продолжалъ:

— Когда ты былъ еще тамъ, бывали ночи, въ которыя я не спалъ, не могъ заснуть, и тогда ко мнѣ приходили странныя мысли: взять топоръ и пойти убить всѣхъ: маму, сестру, прислугу, нашу собаку. Конечно, это были только мысли, и я никогда не сдѣлаю.

— Надѣюсь,—улыбнулся я, плескаясь.

— Вотъ тоже я боюсь ножей, всего остраго, блестящаго: мнѣ кажется, что если я возьму въ руки ножъ, то непремѣнно кого-нибудь зарѣжу. Вѣдь правда—почему не зарѣзать, если ножъ острый?

— Основаніе достаточное. Какой ты, братъ, чудакъ! Пусти-ка еще горяченькой водицы.

Братъ отвернулъ кранъ, впустилъ воды и продолжалъ:

— Вотъ тоже я боюсь толпы, людей, когда ихъ соберется много. Когда вечеромъ я услышу на улицѣ шумъ, громкій крикъ, то я вздрагиваю и думаю, что это уже началась... рѣзня. Когда нѣсколько человѣкъ стоятъ другъ противъ друга и я не слышу, о чемъ

они разговариваютъ, мнѣ начинаетъ казаться, что сейчасъ они закричатъ, бросятся одинъ на другого, и начнется убійство. И ты знаешь,—таинственно наклонился онъ къ моему уху,—газеты полны сообщеніями объ убійствахъ, о какихъ-то странныхъ убійствахъ. Это пустяки, что много людей и много умовъ—у человѣчества одинъ разумъ и онъ начинаетъ мутиться. Попробуй мою голову, какая она горячая. Въ ней огонь. А иногда становится она холодной, и все въ ней замерзаетъ, коченѣетъ, превращается въ страшный омертвѣлый ледъ. Я долженъ сойти съ ума, не смѣйся братъ: я долженъ сойти съ ума.—Уже четверть часа—тебѣ пора выходить изъ ванны.

— Немножечко еще. Минуточку.

Мнѣ такъ хорошо было сидѣть въ ваннѣ, какъ прежде, и слушать знакомый голосъ, не вдумываясь въ слова, и видѣть все знакомое, простое, обыкновенное: мѣдный, слегка позеленѣвшій кранъ, стѣны съ знакомымъ рисункомъ, принадлежности къ фотографіи, въ порядкѣ разложенныя на полкахъ. Я снова буду заниматься фотографіей, снимать простые и тихіе виды и сына: какъ онъ ходитъ, какъ онъ смѣется и шалитъ. Этимъ можно заниматься и безъ ногъ. И снова буду писать—объ умныхъ книгахъ, о новыхъ успѣхахъ человѣческой мысли, о красотѣ и мирѣ.

— Го-го-го!—загрохоталъ я, плескаясь.

— Что съ тобой?—испугался братъ и поблѣднѣлъ.

— Такъ. Весело, что я дома.

Онъ улыбнулся мнѣ, какъ ребенку, какъ младшему, хотя я былъ на три года старше его, и задумался,—какъ взрослый, какъ старикъ, у котораго большія, тяжелыя и старыя мысли.

— Куда уйти?—сказалъ онъ, пожавъ плечами.—Каждый день, приблизительно въ одинъ часъ, газеты замыкаютъ токъ, и все человѣчество вздрагиваетъ. Эта одновременность ощущеній, слезъ, мыслей, страданій

и ужаса лишаетъ меня опоры и я—какъ щепка на волнѣ, какъ пылинка въ вихрѣ. Меня съ силою отрываетъ отъ обычнаго. и каждое утро бываетъ одинъ страшный моментъ, когда я вишу въ воздухѣ надъ черной пропастью безумія. И я упаду въ нее, я долженъ въ нее упасть. Ты еще не все знаешь, братъ. Ты не читаешь газетъ, многое отъ тебя скрываютъ—ты еще не все знаешь, братъ.

И то, что онъ сказалъ, я счелъ немного мрачной шуткой,—это было участью всѣхъ тѣхъ, кто въ безуміи своемъ становился близокъ безумію войны и предостерегалъ насъ. Я счелъ это шуткой—какъ будто забылъ я въ этотъ моментъ, плескаясь въ горячей водѣ, все то, что видѣлъ я тамъ.

— Ну, и пусть себѣ скрываютъ,—а мнѣ надо вылѣзать изъ ванны, — легкомысленно сказалъ я, и братъ улыбнулся и позвалъ слугу, и вдвоемъ они вынули меня и одѣли. Потомъ я пилъ душистый чай изъ моего рубчатаго стакана и думалъ, что жить можно и безъ ногъ, а потомъ меня отвезли въ кабинетъ къ моему столу, и я приготовился работать.

До войны я занимался въ журналѣ обзоромъ иностранныхъ литературъ, и теперь возлѣ меня, на разстояніи руки, лежала груда этихъ милыхъ, прекрасныхъ книгъ въ желтыхъ, синихъ, коричневыхъ обложкахъ. Моя радость была такъ велика, наслажденіе такъ глубоко, что я не рѣшался начать чтеніе и только перебиралъ книги, нѣжно лаская ихъ рукою. Я чувствовалъ, что по лицу моему расплывается улыбка, вѣроятно, очень глупая улыбка, но я не могъ удержать ее, любуясь шрифтами, виньетками, строгой и прекрасной простотой рисунка. Какъ много во всемъ этомъ ума и чувства красоты! Сколькимъ людямъ надо было работать, искать, какъ много нужно было вложить таланта и вкуса, чтобы создать хоть вотъ эту букву, такую простую и изящную,

такую умную, такую гармоничную и краснорѣчивую въ своихъ переплетающихся черточкахъ.

— А теперь надо работать,—серьезно, съ уваженіемъ къ труду, сказалъ я.

И я взялъ перо, чтобы сдѣлать заголовокъ—и, какъ лягушка, привязанная на ниткѣ, зашлепала по бумагѣ моя рука. Перо тыкалось въ бумагу, скрипѣло, дергалось, неудержимо скользило въ сторону и выводило безобразныя линіи, оборванныя, кривыя, лишенныя смысла. И я не вскрикнулъ, и я не пошевельнулся—я похолодѣлъ и замеръ въ сознаніи приближающейся страшной истины;—а рука прыгала по ярко освѣщенной бумагѣ, и каждый палецъ въ ней трясся въ такомъ безнадежномъ живомъ, безумномъ ужасѣ, какъ будто они, эти пальцы, были еще тамъ, на войнѣ, и видѣли зарево и кровь, и слышали стоны и вопли несказанной боли. Они отдѣлились отъ меня, они ожили, они стали ушами и глазами, эти безумно трепещущіе пальцы; и холодѣя, не имѣя силы вскрикнуть и пошевельнуться, я слѣдилъ за ихъ дикой пляской по чистому, ярко бѣлому листу.

И тихо было. Они думали, что я работаю, и закрыли всѣ двери, чтобы не помѣшать звукомъ, — одинъ, лишенный возможности двигаться, сидѣлъ я въ комнатѣ и послушно глядѣлъ, какъ дрожатъ руки.

— Это ничего,—громко сказалъ я, и въ тишинѣ и одиночествѣ кабинета голосъ прозвучалъ хрипло и нехорошо, какъ голосъ сумасшедшаго. — Это ничего. Я буду диктовать. Вѣдь былъ же слѣпъ Мильтонъ, когда писалъ свой „Возвращенный рай“. Я могу мыслить—и это главное, это все.

И я сталъ сочинять длинную, умную фразу о слѣпомъ Мильтонѣ, но слова путались, выпадали, какъ изъ дурного набора, и когда я подходилъ къ концу фразы, я уже забывалъ ея начало. Я хотѣлъ вспомнить тогда, съ чего это началось, почему я сочиняю эту

странную, безсмысленную фразу о какомъ-то Мильтонѣ — и не могъ.

— „Возвращенный рай“, „Возвращенный рай“,— твердилъ я, и не понималъ, что это значитъ.

И тутъ я сообразилъ, что вообще многое я забываю, что я сталъ странно разсѣянъ и путаю знакомыя лица; что даже въ простомъ разговорѣ я теряю слова, а иногда и зная слово, не могу никакъ понять его значенія. Мнѣ ясно представился теперешній мой день: какой-то странный, короткій, обрубленный, какъ мои ноги, съ пустыми загадочными мѣстами—длинными часами потери сознанія или безчувствія, о которыхъ я ничего не могу вспомнить.

Я хотѣлъ позвать жену, но забылъ, какъ ее зовутъ,—это уже не удивило и не испугало меня. Тихонько я прошепталъ:

— Жена!

Нескладное, непривычное въ обращеніи слово тихо прозвучало и замерло, не вызвавъ отвѣта. И тихо было. Они боялись неосторожнымъ звукомъ помѣшать моей работѣ, и тихо было — настоящій кабинетъ ученаго, уютный, тихій, располагающій къ созерцанію и творчеству. „Милые, какъ они заботятся обо мнѣ!“—подумалъ я, умиленный.

...И вдохновеніе, святое вдохновеніе осѣнило меня. Солнце зажглось въ моей головѣ, и горячіе творческіе лучи его брызнули на весь міръ, роняя цвѣты и пѣсни. Цвѣты и пѣсни. И всю ночь я писалъ, не зная усталости, свободно паря на крыльяхъ могучаго, святого вдохновенія. Я писалъ великое, я писалъ безсмертное— цвѣты и пѣсни. Цвѣты и пѣсни...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ОТРЫВОКЪ ДЕСЯТЫЙ.

...къ счастью, онъ умеръ на прошлой недѣлѣ, въ пятницу. Повторяю, это большое счастье для брата. Безногій калѣка, весь трясущійся, съ разбитою душою, въ своемъ безумномъ экстазѣ творчества онъ былъ страшенъ и жалокъ. Съ той самой ночи цѣлыхъ два мѣсяца онъ писалъ, не вставая съ кресла, отказываясь отъ пищи, плача и ругаясь, когда мы на короткое время увозили его отъ стола. Съ необыкновенною быстротой онъ водилъ сухимъ перомъ по бумагѣ, отбрасывая листки одинъ за другимъ, и все писалъ, писалъ. Онъ лишился сна, и только два раза удалось намъ уложить его на нѣсколько часовъ въ постель, благодаря сильному пріему наркотика, а потомъ уже и наркозъ не въ силахъ былъ одолѣть его творческаго безумнаго экстаза. По его требованію, окна весь день были завѣшены, и горѣла лампа, создавая иллюзію ночи, и онъ курилъ папиросу за папиросой и писалъ. Повидимому, онъ былъ счастливъ, и мнѣ никогда не приходилось видѣть у здоровыхъ людей такого вдохновеннаго лица—лица пророка или великаго поэта. Онъ сильно исхудалъ, до восковой прозрачности трупа или подвижника и совершенно посѣдѣлъ; и началъ онъ свою безумную работу еще сравнительно молодымъ, а кончилъ ее—старикомъ. Иногда онъ торопился писать больше обыкновеннаго, перо тыкалось въ бумагу и ломалось, но онъ не замѣчалъ этого; въ

такія минуты его нельзя было трогать, такъ какъ при малѣйшемъ прикосновеніи съ нимъ дѣлался припадокъ, слезы, хохотъ; минутами, очень рѣдко, онъ блаженно отдыхалъ и благосклонно бесѣдовалъ со мною, каждый разъ предлагая одни и тѣ же вопросы: кто я, какъ меня зовутъ и давно ли я занимаюсь литературой.

А потомъ снисходительно разсказывалъ, всегда въ однихъ и тѣхъ же словахъ, какъ онъ смѣшно испугался, что потерялъ память и не можетъ работать, и какъ онъ блистательно, тутъ же опровергъ это сумасшедшее предположеніе, начавъ свой великій безсмертный трудъ о цвѣтахъ и пѣсняхъ.

— Конечно, я не разсчитываю на признаніе современниковъ,—гордо и вмѣстѣ съ тѣмъ скромно говорилъ онъ, кладя дрожащую руку на груду пустыхъ листковъ,—но будущее, но будущее поймете мою идею.

О войнѣ онъ не вспомнилъ ни разу, и ни разу не вспомнилъ о женѣ и сынѣ; призрачная безконечная работа поглощала его вниманіе такъ безраздѣльно, что едва ли онъ сознавалъ что-нибудь, кромѣ ея. Въ его присутствіи можно было ходить, разговаривать, и онъ этого не замѣчалъ и ни на мгновеніе лицо его не теряло выраженія страшной напряженности и вдохновенія. Въ безмолвіи ночей, когда всѣ спали и онъ одинъ неутомимо плелъ безконечную нить безумія, онъ казался страшенъ, и только одинъ я да еще мать рѣшались подходить къ нему. Однажды я попробовалъ дать ему, вмѣсто сухого пера, карандашъ, думая, что, быть можетъ, онъ, дѣйствительно что-нибудь пишетъ, но на бумагѣ остались только безобразныя линіи, оборванныя, кривыя, лишенныя смысла.

И умеръ онъ ночью, за работой. Я хорошо зналъ брата, и сумасшествіе его не явилось для меня неожиданностью: страстная мечта о работѣ, сквозившая *еще въ его письмахъ* съ войны, составлявшая содер-

жаніе всей его жизни по возвращеніи, неминуемо должна была столкнуться съ безсиліемъ его утомленнаго, измученнаго мозга и вызвать катастрофу. И думаю, что мнѣ довольно точно удалось возстановить всю послѣдовательность ощущеній, приведшихъ его къ концу въ ту роковую ночь. Вообще, все, что я здѣсь записалъ о войнѣ, взято мною со словъ покойнаго брата, часто очень сбивчивыхъ и безсвязныхъ; только нѣкоторыя отдѣльныя картины такъ неизгладимо и глубоко вожглись въ его мозгъ, что я могъ привести ихъ почти дословно, какъ онъ разсказывалъ.

Я его любилъ, и смерть его лежитъ на мнѣ, какъ камень, и давитъ мозгъ своей безсмысленностью. Къ тому непонятному, что окутываетъ мою голову, какъ паутиной, она прибавила еще одну петлю и крѣпко затянула ее. Вся наша семья уѣхала въ деревню, къ родственникамъ, и я одинъ во всемъ домѣ—въ этомъ особнячкѣ, который такъ любилъ братъ. Прислугу разсчитали, и только дворникъ изъ сосѣдняго дома по утрамъ приходилъ топить печи, а въ остальное время—я одинъ, и похожъ на муху, которую захлопнули между двумя рамами окна,—мечусь и расшибаюсь о какую-то прозрачную, но непреодолимую преграду. И я чувствую, я знаю, что изъ этого дома мнѣ не уйти. Теперь, когда я одинъ, война безраздѣльно владѣетъ мною и стоитъ, какъ непостижимая загадка, какъ страшный духъ, котораго я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглазаго скелета на конѣ, какой-то безформенной тѣни, родившейся въ тучахъ и безшумно обнявшей землю, но ни одинъ образъ не даетъ мнѣ отвѣта и не исчерпываетъ того холоднаго, постояннаго отупѣлаго ужаса, который владѣетъ мною.

Я не понимаю войны и долженъ сойти съ ума, какъ братъ, какъ сотни людей, которыхъ привозятъ оттуда. И это не страшитъ меня. Потеря разсудка мнѣ

кажется почетной, какъ гибель часового на своемъ посту. Но ожиданіе, но это медленное и неуклонное приближеніе безумія, это мгновенное чувство чего-то огромнаго, падающаго въ пропасть, эта невыносимая боль терзаемой мысли... Мое сердце онѣмѣло, оно умерло, и нѣтъ ему новой жизни, но мысль—еще живая, еще борющаяся, когда-то сильная, какъ Самсонъ, а теперь беззащитная и слабая, какъ дитя—мнѣ жаль ее, мою бѣдную мысль. Минутами я перестаю выносить пытку этихъ желѣзныхъ обручей, сдавливающихъ мозгъ; мнѣ хочется неудержимо выбѣжать на улицу, на площадь, гдѣ народъ, и крикнуть:

— Сейчасъ прекратите войну—или...

Но какое „или“? Развѣ есть слова, которыя могли бы вернуть ихъ къ разуму, слова, на которыя не нашлось бы другихъ такихъ же громкихъ и лживыхъ словъ? Или стать передъ ними на колѣни и заплакать? Но вѣдь сотни тысячъ слезами оглашаютъ міръ, а развѣ это хоть что-нибудь даетъ? Или на ихъ глазахъ убить себя? Убить. Тысячи умираютъ ежедневно—и развѣ это хоть что-нибудь даетъ?

И когда я такъ чувствую свое безсиліе, мною овладѣваетъ бѣшенство—бѣшенство войны, которую я ненавижу. Мнѣ хочется, какъ тому доктору, сжечь ихъ дома, съ ихъ сокровищами, съ ихъ женами и дѣтьми, отравить воду, которую они пьютъ; поднять всѣхъ мертвыхъ изъ гробовъ и бросить трупы въ ихъ нечистыя жилища, на ихъ постели. Пусть спятъ съ ними, какъ съ женами, какъ съ любовницами своими!

О, если-бъ я былъ діаволъ! Весь ужасъ, которымъ дышитъ адъ, я переселилъ бы на ихъ землю; я сталъ бы владыкою ихъ сновъ, и когда, съ улыбкой засыпая, они крестили бы своихъ дѣтей,—я всталъ бы передъ ними, черный...

Да, я долженъ сойти съ ума—но только бы скорѣе. Только бы скорѣе...

ОТРЫВОКЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

... плѣнныхъ, кучку дрожащихъ, испуганныхъ людей. Когда ихъ вывели изъ вагона, толпа рявкнула—рявкнула, какъ одинъ огромный злобный песъ, у котораго цѣпь коротка и непрочна. Рявкнула и замолчала, тяжело дыша,—а они шли тѣсной кучкой, заложивъ руки въ карманы, заискивающе улыбаясь блѣдными губами, и ноги ихъ ступали такъ, какъ будто сейчасъ сзади, подъ колѣно, ихъ должны ударить длинною палкой. Но одинъ шелъ нѣсколько въ сторонѣ, спокойный, серьезный, безъ улыбки, и когда я встрѣтился съ его черными глазами, я прочелъ въ нихъ откровенную и голую ненависть. Я ясно увидѣлъ, что онъ меня презираетъ и ждетъ отъ меня всего: если я сейчасъ стану убивать его, безоружнаго, то онъ не вскрикнетъ, не станетъ защищаться, оправдываться—онъ ждетъ отъ меня всего.

Я побѣжалъ вмѣстѣ съ толпою, чтобы еще разъ встрѣтиться съ нимъ глазами, и это удалось мнѣ, когда они входили уже въ домъ. Онъ вошелъ послѣднимъ, пропуская мимо себя товарищей, и еще разъ взглянулъ на меня. И тутъ я увидѣлъ въ его черныхъ большихъ, безъ зрачка глазахъ такую муку, такую бездну ужаса и безумія, какъ будто я заглянулъ въ самую несчастную душу на свѣтѣ.

— Кто этотъ, съ глазами? -спросилъ я у конвойнаго.

— Офицеръ. Сумасшедшій. Ихъ много такихъ.

— Какъ его зовутъ?

- Молчитъ, не называется. И свои его не знаютъ. Такъ, приблудный какой-то. Его ужъ разъ вынули изъ петли, да что!..—конвойный махнулъ рукою и скрылся за дверью.

И вотъ теперь, вечеромъ, я думаю о немъ. Онъ

одинъ, среди враговъ, которыхъ онъ считаетъ способными на все, и свои не знаютъ его. Онъ молчитъ и терпѣливо ждетъ, когда можетъ уйти изъ міра совсѣмъ. Я не вѣрю, что онъ сумасшедшій, и онъ не трусъ: онъ одинъ держался съ достоинствомъ въ кучкѣ этихъ дрожащихъ, испуганныхъ людей, которыхъ онъ тоже, повидимому, не считаетъ своими. Что онъ думаетъ? Какая глубина отчаянія должна быть въ душѣ этого человѣка, который, умирая, не хочетъ назвать своего имени. Зачѣмъ имя? Онъ кончилъ съ жизнью и съ людьми, онъ понялъ настоящую ихъ цѣну, и ихъ вокругъ него нѣтъ, ни своихъ, ни чужихъ, какъ бы они не кричали, не бѣсновались и не угрожали. Я разспрашивалъ о немъ: онъ взятъ въ послѣднемъ страшномъ бою, рѣзнѣ, гдѣ погибло нѣсколько десятковъ тысячъ людей, и онъ не сопротивлялся, когда его брали: онъ былъ почему-то безоруженъ, и когда не замѣтившій этого солдатъ ударилъ его шашкой, онъ не всталъ съ мѣста и не поднялъ руки, чтобы защититься. Но рана оказалась, къ несчастью для него, легкой.

А быть можетъ, онъ дѣйствительно сумасшедшій? Солдатъ сказалъ: ихъ много, такихъ...

ОТРЫВОКЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

... начинается. Когда вчера ночью я вошелъ въ кабинетъ брата, онъ сидѣлъ въ своемъ креслѣ у стола, заваленнаго книгами. Галлюцинація тотчасъ исчезла, какъ только я зажегъ свѣчу, но я долго не рѣшался сѣсть въ кресло, гдѣ сидѣлъ онъ. Было страшно вначалѣ,—пустыя комнаты, въ которыхъ постоянно слышатся какіе-то шорохи и трески, создаютъ эту жуть,—но потомъ мнѣ даже понравилось: лучше онъ, чѣмъ *кто-нибудь* другой. Все-таки во весь этотъ вечеръ я

не всталъ съ кресла: казалось, если я встану, онъ тотчасъ сядетъ на свое мѣсто. И ушелъ я изъ комнаты очень быстро, не оглядываясь. Нужно бы во всѣхъ комнатахъ зажигать огонь,—да стоитъ ли? Будетъ, пожалуй, хуже, если я что-нибудь увижу при свѣтѣ—такъ все-таки остается сомнѣніе.

Сегодня я вошелъ со свѣчей, и никого въ креслѣ не было. Очевидно, просто тѣнь мелькнула. Опять я былъ на вокзалѣ—теперь я каждое утро хожу туда—и видѣлъ цѣлый вагонъ съ нашими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на какой-то другой путь, но въ окна я успѣлъ разсмотрѣть нѣсколько лицъ. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмѣрно вытянутое, желтое, какъ лимонъ, съ открытымъ чернымъ ртомъ и неподвижными глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не могъ оторваться отъ него. А оно смотрѣло на меня, все цѣликомъ смотрѣло, и было неподвижно,—и такъ и уплыло вмѣстѣ съ двинувшимся вагономъ, не дрогнувъ, не переведя взора. Вотъ если бы оно представилось мнѣ сейчасъ въ тѣхъ темныхъ дверяхъ, я, пожалуй, и не выдержалъ бы. Я спрашивалъ: двадцать два человѣка привезли. Зараза ростетъ. Газеты что-то замалчиваютъ, но, кажется, и у насъ въ городѣ не совсѣмъ хорошо. Появились какія-то черныя, наглухо закрытыя кареты—въ одинъ день, сегодня, я насчиталъ ихъ шесть въ разныхъ концахъ города. Въ одной изъ такихъ, вѣроятно, поѣду и я.

А газеты ежедневно требуютъ новыхъ войскъ и новой крови, и я все менѣе понимаю, что это значитъ. Вчера я читалъ одну очень подозрительную статью, гдѣ доказывается, что среди народа много шпіоновъ, предателей и измѣнниковъ, что нужно быть осторожнымъ и внимательнымъ и что гнѣвъ народа самъ найдетъ виновныхъ. Какихъ виновныхъ, въ чемъ? Когда я ѣхалъ съ вокзала въ трамваѣ, я слышалъ странный разговоръ, вѣроятно, по этому поводу:

— Ихъ нужно вѣшать безъ суда,—сказалъ одинъ, испытующе оглядѣвъ всѣхъ, и меня.—Измѣнниковъ нужно вѣшать, да.

— Безъ жалости,— подтвердилъ другой.—Довольно ужъ жалѣли.

Я выскочилъ изъ вагона. Вѣдь всѣ же плачутъ отъ войны, и они сами плачутъ,—что же это значитъ? Какой-то кровавый туманъ обволакиваетъ землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что дѣйствительно приближается моментъ міровой катастрофы. Красный смѣхъ, который видѣлъ братъ. Безуміе идетъ оттуда, отъ тѣхъ кровавыхъ порыжѣлыхъ полей, и я чувствую въ воздухѣ его холодное дыханіе. Я крѣпкій и сильный человѣкъ, у меня нѣтъ тѣхъ разлагающихъ тѣло болѣзней, которыя влекутъ за собою и разложеніе мозга, но я вижу, какъ зараза охватываетъ меня, и уже половина моихъ мыслей не принадлежитъ мнѣ. Это хуже чумы и ея ужасовъ. Отъ чумы все-таки можно было куда-то спрятаться, принять какія-то тамъ мѣры, а какъ спрятаться отъ всепроникающей мысли, не знающей разстояній и преградъ?

Днемъ я еще могу бороться, а ночью я становлюсь, какъ и всѣ, рабомъ моихъ сновъ;—и сны мои ужасны и безумны...

ОТРЫВОКЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

...повсемѣстныя побоища, безсмысленныя и кровавыя. Малѣйшій толчокъ вызываетъ дикую расправу, и въ ходъ пускаются ножи, камни, полѣнья, и становится безразличнымъ, кого убивать—красная кровь просится наружу и течетъ такъ охотно и обильно.

Ихъ было шестеро, этихъ крестьянъ, и ихъ вели три солдата, съ заряженными ружьями. Въ своемъ особенномъ крестьянскомъ платьѣ, простомъ и первобыт-

номъ, напоминающемъ дикаря, съ своими особенными лицами, точно сдѣланными изъ глины и украшенными свалявшейся шерстью вмѣсто волосъ, на улицахъ богатаго города, подъ конвоемъ дисциплинированныхъ солдатъ—они походили на рабовъ древняго міра. Ихъ вели на войну, и они шли, повинуясь штыкамъ, такіе же невинные и тупые, какъ волы, ведомые на бойню. Впереди шелъ юноша, высокій, безбородый, съ длинной гусиною шеей, на которой неподвижно сидѣла маленькая голова. Онъ весь наклонился впередъ, какъ хворостина, и смотрѣлъ внизъ подъ собою съ такою пристальностью, какъ будто взоръ его проникалъ въ самую глубину земли. Послѣднимъ шелъ приземистый, бородатый, ужъ пожилой; онъ не хотѣлъ сопротивляться и въ глазахъ его не было мысли, но земля притягивала его ноги, впивалась въ нихъ, не пускала—и онъ шелъ откинувшись назадъ, какъ противъ сильнаго вѣтра. И при каждомъ шагѣ—солдатъ сзади толкалъ его прикладомъ ружья, и одна нога, отклеившись, судорожно перебрасывалась впередъ, а другая крѣпко прилипала къ землѣ. Лица солдатъ были тоскливы и злобны, и, видимо, уже давно они шли такъ—чувствовались усталость и равнодушіе въ томъ, какъ они несли ружья, какъ они шагали враздробь, по-мужичьи, носками внутрь. Какъ будто безсмысленное, длительное и молчаливое сопротивленіе крестьянъ замутило ихъ дисциплинированный умъ, и они перестали понимать, куда идутъ и зачѣмъ.

— Куда вы ихъ ведете?—спросилъ я крайняго солдата. Тотъ вздрогнулъ, взглянулъ на меня, и въ его остромъ блеснувшемъ взглядѣ я такъ ясно почувствовалъ штыкъ, какъ будто онъ находился уже въ груди моей.

— Отойди!—сказалъ солдатъ.—Отойди, а не то...

Тотъ, пожилой, воспользовался минутой и убѣжалъ—легкой трусцею онъ отбѣжалъ къ рѣшеткѣ бульвара и

присѣлъ на корточки, какъ будто прятался. Настоящее животное не могло бы поступить такъ глупо, такъ безумно. Но солдатъ разсвирѣпѣлъ. Я видѣлъ, какъ онъ подошелъ вплотную, нагнулся и, перебросивъ ружье въ лѣвую руку, правой чмякнулъ по чему-то мягкому и плоскому. И еще. Собирался народъ. Послышался смѣхъ, крики...

•

ОТРЫВОКЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

...въ одиннадцатомъ ряду партера. Справа и слѣва ко мнѣ тѣсно прижимались чьи-то руки, и далеко кругомъ, въ полутьмѣ торчали неподвижныя головы, слегка освѣщенныя краснымъ со сцены. И постепенно мною овладѣвалъ ужасъ отъ этой массы людей, заключенныхъ въ тѣсное пространство. Каждый изъ нихъ молчалъ и слушалъ то, что на сценѣ, а можетъ быть, думалъ что-нибудь свое, но оттого, что ихъ было много, въ молчаніи своемъ они были слышнѣе громкихъ голосовъ актеровъ. Они кашляли, сморкались, шумѣли одеждой и ногами, и я слышалъ ясно ихъ глубокое, неровное дыханіе, согрѣвавшее воздухъ. Они были страшны, такъ какъ каждый изъ нихъ могъ стать трупомъ и у всѣхъ у нихъ были безумныя головы. Въ спокойствіи этихъ расчесанныхъ затылковъ, твердо опирающихся на бѣлые, крѣпкіе воротнички, я чувствовалъ ураганъ безумія, готовый разразиться каждую секунду.

У меня похолодѣли руки, когда я подумалъ, какъ ихъ много, какъ они страшны и какъ я далекъ отъ выхода. Они спокойны, а если крикнуть—„пожаръ!“... И съ ужасомъ я ощутилъ жуткое, страстное желаніе, о которомъ я не могу вспомнить безъ того, чтобы руки мои снова не похолодѣли и не покрылись потомъ. Кто мнѣ мѣшаетъ крикнуть—привстать, обернуться назадъ *и крикнуть*:

— Пожаръ! Спасайтесь, пожаръ!

Судорога безумія охватитъ ихъ спокойные члены Они вскочатъ, они заорутъ, они завоютъ, какъ животныя, они забудутъ, что у нихъ есть жены, сестры и матери, они начнутъ метаться, точно пораженные внезапной слѣпотой, и въ безуміи своемъ будутъ душить другъ друга этими бѣлыми пальцами, отъ которыхъ пахнетъ духами. Пустятъ яркій свѣтъ, и кто-то блѣдный со сцены будетъ кричать, что все спокойно и пожара нѣтъ, и дико весело заиграетъ дрожащая, обрывающаяся музыка,— а они не будутъ слышать ничего— они будутъ душить, топтать ногами, бить женщинъ по головамъ, по этимъ хитрымъ, замысловатымъ прическамъ. Они будутъ отрывать другъ у друга уши, отгрызать носы, они изорвутъ одежду до голаго тѣла и не будутъ стыдиться, такъ какъ они безумны. Ихъ чувствительныя, нѣжныя, красивыя, обожаемыя женщины будутъ визжать и биться, безпомощныя, у ихъ ногъ, обнимая колѣни, все еще довѣряя ихъ благородству, — а они будутъ злобно бить ихъ въ красивое, поднятое лицо и рваться къ выходу. Ибо они всегда убійцы, и ихъ спокойствіе, ихъ благородство—спокойствіе сытаго звѣря, чувствующаго себя въ безопасности.

И когда половину они сдѣлаютъ трупами и дрожащей, оборванной кучкой устыдившихся звѣрей соберутся у выхода, улыбаясь лживой улыбкой, я выйду на сцену и скажу имъ со смѣхомъ:

— Это все потому, что вы убили моего брата.

И скажу имъ со смѣхомъ:

— Это все потому, что вы убили моего брата.

Должно быть, я громко прошепталъ что-нибудь, потому что мой сосѣдъ справа сердито завозился на мѣстѣ и сказалъ:

— Тише! Вы мѣшаете слушать.

Мнѣ стало весело и захотѣлось пошутить. Сдѣлавъ предостерегающее суровое лицо, я наклонился къ нему.

— Что такое?—спросилъ онъ недовѣрчиво.—Зачѣмъ вы такъ смотрите?

— Тише, умоляю васъ,—прошепталъ я однѣми губами. — Вы слышите, какъ пахнетъ гарью. Въ театрѣ пожаръ.

Онъ имѣлъ достаточно силы и благоразумія, чтобы не вскрикнуть. Лицо его побѣлѣло, и глаза почти повисли на щекахъ, огромные, какъ бычачьи пузыри, но онъ не вскрикнулъ. Онъ тихонько поднялся, даже не поблагодарилъ меня и пошелъ къ выходу, покачиваясь и судорожно замедляя шаги. Онъ боялся, что другіе догадаются о пожарѣ и не дадутъ уйти ему, единственному достóйному спасенія и жизни.

Мнѣ стало противно и я тоже ушелъ изъ театра, да и не хотѣлось мнѣ слишкомъ рано открыть свое инкогнито. На улицѣ я взглянулъ въ ту сторону неба, гдѣ была война—тамъ все было спокойно, и ночныя, желтыя отъ огней облака ползли медленно и спокойно. „Быть можетъ, все это сонъ и никакой войны нѣтъ?“—подумалъ я, обманутый спокойствіемъ неба и города.

Но изъ-за угла выскочилъ мальчишка, радостно крича:

— Громовое сраженіе.—Огромныя потери. Купите телеграмму—ночную телеграмму!

У фонаря я прочелъ ее. Четыре тысячи труповъ. Въ театрѣ было, вѣроятно, не болѣе тысячи человѣкъ. И всю дорогу я думалъ: четыре тысячи труповъ.

Теперь мнѣ страшно приходить въ мой опустѣлый домъ. Когда я еще только вкладываю ключъ и смотрю на нѣмыя, плоскія двери, я уже чувствую всѣ его темныя пустыя комнаты, по которымъ пойдетъ сейчасъ, озираясь, человѣкъ въ шляпѣ. Я хорошо знаю дорогу, но уже на лѣстницѣ начинаю жечь спички и жгу ихъ, пока найду свѣчу. Въ кабинетъ брата я теперь не хожу, и онъ запертъ на ключъ—со всѣмъ, что въ немъ есть. И сплю я въ столовой, куда перебрался совсѣмъ:

тутъ спокойнѣе и воздухъ какъ будто хранитъ еще слѣды разговоровъ и смѣха, и веселаго звона посуды. Иногда я ясно слышу скрипѣніе сухого пера;—и когда ложусь въ постель...

ОТРЫВОКЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.

...этотъ нелѣпый и страшный сонъ. Точно съ мозга моего сняли костяную покрышку, и, беззащитный, обнаженный, онъ покорно и жадно впитываетъ въ себя всѣ ужасы этихъ кровавыхъ и безумныхъ дней. Я лежу, сжавшись въ комокъ, и весь помѣщаюсь на двухъ аршинахъ пространства, а мысль моя обнимаетъ міръ. Глазами всѣхъ людей я смотрю и ушами ихъ слушаю; я умираю съ убитыми; съ тѣми, кто раненъ и забытъ, я тоскую и плачу, и когда изъ чьего-нибудь тѣла бѣжитъ кровь, я чувствую боль ранъ и страдаю. И то, чего не было и что далеко, я вижу такъ же ясно, какъ то, что было и что близко, и нѣтъ предѣла страданіямъ обнаженнаго мозга.

Эти дѣти, эти маленькія, еще невинныя дѣти. Я видѣлъ ихъ на улицѣ, когда они играли въ войну и бѣгали другъ за другомъ и кто-то ужъ плакалъ тоненькимъ, дѣтскимъ голосомъ—и что-то дрогнуло во мнѣ отъ ужаса и отвращенія. И я ушелъ домой, и ночь настала—и въ огненныхъ грезахъ, похожихъ на пожаръ среди ночи, эти маленькія, еще невинныя дѣти превратились въ полчища дѣтей-убійцъ.

Что-то зловѣще горѣло широкимъ и краснымъ огнемъ, и въ дыму копошились чудовищныя уродцы-дѣти съ головами взрослыхъ убійцъ. Они прыгали легко и подвижно, какъ играющіе козлята, и дышали тяжело, словно больные. Ихъ рты походили на пасти жабъ или лягушекъ и раскрывались судорожно и широко; за прозрачною кожей ихъ голыхъ тѣлъ угрюмо бѣ-

жала красная кровь—и они убивали другъ друга, играя. Они были страшнѣе всего, что я видѣлъ, потому что они были маленькія и могли проникнуть всюду.

Я смотрѣлъ изъ окна, и одинъ маленькій увидѣлъ меня, улыбнулся и взглядомъ попросился ко мнѣ.

— Я хочу къ тебѣ,—сказалъ онъ.

— Ты убьешь меня.

— Я хочу къ тебѣ,—сказалъ онъ и поблѣднѣлъ внезапно и страшно, и началъ царапаться вверхъ по бѣлой стѣнѣ, какъ крыса, совсѣмъ, какъ голодная крыса. Онъ обрывался и пищалъ, и такъ быстро мелькалъ по стѣнѣ, что я не могъ услѣдить за его порывистыми, внезапными движеніями.

— Онъ можетъ пролѣзть подъ дверью,—съ ужасомъ подумалъ я, и, точно отгадавъ мою мысль, онъ сталъ узенькій и длинный и быстро, виляя кончикомъ хвоста, вползъ въ темную щель подъ дверью параднаго хода. Но я успѣлъ спрятаться подъ одѣяло и слышалъ, какъ онъ, маленькій, ищетъ меня по темнымъ комнатамъ, осторожно ступая крохотными босыми ногами. Очень медленно, останавливаясь, онъ приближался къ моей комнатѣ и вошелъ; и долго я ничего не слыхалъ, ни движенія, ни шороха, какъ будто возлѣ моей постели не было никого. И вотъ подъ чьей-то маленькой рукой началъ приподниматься край одѣяла, и холодный воздухъ комнаты коснулся лица моего и груди. Я держалъ одѣяло крѣпко, но оно упорно отставало со всѣхъ сторонъ; и вотъ ногамъ моимъ сразу стало такъ холодно, какъ будто онѣ окунулись въ воду. Теперь онѣ лежали беззащитныя въ холодной темнотѣ комнаты, и онъ смотрѣлъ на нихъ.

На дворѣ, за стѣнами дома, залаяла собака и смолкла, и я слышалъ, какъ забренчала она цѣпью, убираясь въ конуру. А онъ смотрѣлъ на мои голыя ноги и молчалъ; но я зналъ, что онъ здѣсь, зналъ по тому нестерпимому ужасу, который, какъ смерть, оковывалъ

меня каменной, могильной неподвижностью. Если бы я могъ крикнуть, я разбудилъ бы городъ, весь міръ разбудилъ бы я, но голосъ умеръ во мнѣ, и, не шевелясь, покорно, я ощущалъ движеніе по моему тѣлу маленькихъ холодныхъ рукъ, подбиравшихся къ горлу.

— Я не могу!—простоналъ я, задыхаясь, и проснулся на одно мгновеніе, и увидѣлъ зоркую темноту ночи, таинственную и живую, и снова, кажется, заснулъ...

— Успокойся! — сказалъ мнѣ братъ, присаживаясь на кровать, и кровать скрипнула, такъ былъ онъ тяжелъ, мертвый.—Успокойся, ты видишь это во снѣ. Это тебѣ показалось, что тебя душатъ, а ты крѣпко спишь въ темныхъ комнатахъ, гдѣ нѣтъ никого, а я сижу въ моемъ кабинетѣ и пишу. Никто изъ васъ не понялъ, о чемъ я пишу, и вы осмѣяли меня, какъ безумца, но теперь я скажу тебѣ правду. Я пишу о красномъ смѣхѣ. Ты видишь его?

Что-то огромное, красное, кровавое стояло надо мною и беззубо смѣялось.

— Это красный смѣхъ. Когда земля сходитъ съ ума, она начинаетъ такъ смѣяться. Ты вѣдь знаешь, земля сошла съ ума. На ней нѣтъ ни цвѣтовъ, ни пѣсенъ, она стала круглая, гладкая и красная, какъ голова, съ которой содрали кожу. Ты видишь ее?

— Да, вижу. Она смѣется.

— Посмотри, что дѣлается у нея съ мозгомъ. Онъ красный, какъ кровавая каша, и запутался.

— Она кричитъ.

— Ей больно. У нея нѣтъ ни цвѣтовъ, ни пѣсенъ. Теперь давай—я лягу на тебя.

— Мнѣ тяжело, мнѣ страшно.

— Мы, мертвые, ложимся на живыхъ. Тепло тебѣ?

— Тепло.

— Хорошо тебѣ?

— Я умираю.

— Проснись и крикни. Проснись и крикни. Я ухожу...

ОТРЫВОКЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ.

...уже восьмой день продолжается сраженіе. Оно началось въ прошлую пятницу, и прошли суббота, воскресенье, понедѣльникъ, вторникъ, среда, четвергъ — и вновь наступила пятница и прошла, — а оно все продолжается. Обѣ арміи, сотни тысячъ людей стоятъ другъ противъ друга, не отступая, непрерывно посылаютъ разрывные грохочущіе снаряды; и каждую минуту живые люди превращаются въ трупы. Отъ грохота, отъ непрерывнаго колебанія воздуха дрогнуло само небо и собрало надъ головой ихъ черныя тучи и грозу,—а они стоятъ другъ противъ друга, не отступая, и убиваютъ. Если человѣкъ не поспитъ трое сутокъ, онъ становится боленъ и плохо помнитъ, а они не спятъ уже недѣлю, и они всѣ сумасшедшіе. Отъ этого имъ не больно, отъ этого они не отступаютъ и будутъ драться, пока не перебьютъ всѣхъ. Сообщаютъ, что у нѣкоторыхъ частей не хватило снарядовъ, и тамъ люди дрались камнями, руками, грызлись, какъ собаки. Если остатки этихъ людей вернутся домой, у нихъ будутъ клыки, какъ у волковъ,—но они не вернутся: они сошли съ ума и перебьютъ всѣхъ. Они сошли съ ума. Въ головѣ ихъ все перевернулось, и они ничего не понимаютъ: если ихъ рѣзко и быстро повернуть, они начинаютъ стрѣлять въ своихъ, думая, что бьютъ непріятеля.

Странные слухи... Странные слухи, которые передаютъ шопотомъ, блѣднѣя отъ ужаса и дикихъ предчувствій. Братъ, братъ, слушай, что разсказываютъ о красномъ смѣхѣ! Будто бы появились призрачные отряды, полчища тѣней, во всемъ подобныхъ живымъ. По ночамъ, когда обезумѣвшіе люди на минуту забываются сномъ, или въ разгарѣ дневного боя, когда самъ ясный день становится призракомъ, они являются *внезапно* и стрѣляютъ изъ призрачныхъ пушекъ, на-

полняя воздухъ призрачнымъ гуломъ, и люди, живые, но безумные люди, пораженные внезапностью, бьются на смерть противъ призрачнаго врага, сходятъ съ ума отъ ужаса, сѣдѣютъ мгновенно и умираютъ. Призраки исчезаютъ внезапно, какъ появились, и наступаетъ тишина, а на землѣ валяются новые изуродованные трупы— кто ихъ убилъ? Ты знаешь, братъ, кто ихъ убилъ?

Когда послѣ двухъ сраженій наступаетъ затишье и враги далеко, вдругъ, темною ночью, раздается одинокій испуганный выстрѣлъ. И всѣ вскакиваютъ, и всѣ стрѣляютъ въ темноту, и стрѣляютъ долго, цѣлыми часами -- въ безмолвную, безотвѣтную темноту. Кого видятъ они тамъ? Кто, страшный, являетъ имъ свой молчаливый образъ, дышащій ужасомъ и безуміемъ? Ты знаешь, братъ, и я знаю, а люди еще не знаютъ, но уже чувствуютъ они и спрашиваютъ, блѣднѣя: отчего такъ много сумасшедшихъ — вѣдь прежде никогда не было такъ много сумасшедшихъ?

— Вѣдь прежде никогда не было такъ много сумасшедшихъ!—говорятъ они, блѣднѣя, и имъ хочется вѣрить, что теперь, какъ прежде, и что это міровое насиліе надъ разумомъ не коснется ихъ слабаго умишки.

— Вѣдь дрались же люди и прежде и всегда, и ничего не было такого? Борьба — законъ жизни,—говорятъ они увѣренно и спокойно, а сами блѣднѣютъ, а сами ищутъ глазами врача, а сами кричатъ торопливо: воды, скорѣй стаканъ воды!

Они охотно стали бы идіотами, эти люди, чтобы только не слышать, какъ колышется ихъ разумъ, какъ въ непосильной борьбѣ съ безсмыслицей изнемогаетъ ихъ разсудокъ. Въ эти дни, когда тамъ непрестанно изъ людей дѣлаютъ трупы, я нигдѣ не могъ найти покоя и бѣгалъ по людямъ, и много слышалъ этихъ разговоровъ, и много видѣлъ этихъ притворно улыбающихся лицъ, увѣрявшихъ, что война далеко и не касается ихъ. Но еще больше я встрѣтилъ голаго, прав-

диваго ужаса и безнадежныхъ горькихъ слезъ, и изступленныхъ криковъ отчаянія, когда самъ великій разумъ въ напряженіи всѣхъ своихъ силъ выкрикивалъ изъ человѣка послѣднюю мольбу, послѣднее свое проклятіе:

— Когда же кончится эта безумная бойня!

У однихъ знакомыхъ, гдѣ я не былъ давно, быть можетъ, нѣсколько лѣтъ, я неожиданно встрѣтилъ сумасшедшаго офицера, возвращеннаго съ войны. Онъ былъ мой товарищъ по школѣ, но я не узналъ его; но его не узнала и мать, которая его родила: если бы онъ годъ провалялся въ могилѣ, онъ вернулся бы болѣе похожимъ на себя, чѣмъ теперь. Онъ посѣдѣлъ и совсѣмъ бѣлый; черты лица его мало измѣнились, — но онъ молчитъ и слушаетъ что-то—и отъ этого на лицѣ его лежитъ грозная печать такой отдаленности, такой чуждости всему, что съ нимъ страшно заговорить. Какъ разсказали роднымъ, онъ сошелъ съ ума такъ: они стояли въ резервѣ, когда сосѣдній полкъ пошелъ въ штыковую аттаку. Люди бѣжали и кричали „ура“ такъ громко, что почти заглушали выстрѣлы,—и вдругъ прекратились выстрѣлы—и вдругъ прекратилось „ура“,— и вдругъ наступила могильная тишина: это они добѣжали, и начался штыковый бой. И этой тишины не выдержалъ его разсудокъ.

Теперь онъ спокоенъ, пока при немъ говорятъ, производятъ шумъ, кричатъ; и онъ тогда прислушивается и ждетъ; но стоитъ наступить минутной тишинѣ—онъ хватается за голову, бѣжитъ на стѣну, на мебель и бьется въ припадкѣ, похожемъ на падучую. У него много родныхъ, они чередуются вокругъ него и окружаютъ его шумомъ, но остаются ночи, долгія безмолвныя ночи,—и тутъ взялся за дѣло его отецъ, тоже сѣдой и тоже немного сумасшедшій. Онъ увѣшалъ его комнату громко тикающими часами, бьющими *почти непрерывно* въ разное время, и теперь приспо-

собляетъ какое-то колесо, похожее на непрерывную трещотку. Всѣ они не теряютъ надежды, что онъ выздоровѣетъ, такъ какъ ему всего двадцать семь лѣтъ, и сейчасъ у нихъ даже весело. Его одѣваютъ очень чисто—не въ военное платье—занимаются его наружностью, и съ своими бѣлыми волосами и молодымъ еще лицомъ, задумчивый, внимательный, благородный въ медленныхъ, усталыхъ движеніяхъ, онъ даже красивъ.

Когда мнѣ разсказали все, я подошелъ и поцѣловалъ его руку, блѣдную, вялую руку, которая никогда уже больше не поднимется для удара,—и никого это особенно не удивило. Только молоденькая сестра его улыбнулась мнѣ глазами и потомъ такъ ухаживала за мной, какъ будто я былъ ея женихъ, и она любила меня больше всѣхъ на свѣтѣ. Такъ ухаживала, что я чуть не разсказалъ ей о своихъ темныхъ и пустыхъ комнатахъ, въ которыхъ я хуже, чѣмъ одинъ—подлое сердце, никогда не теряющее надежды... И устроила такъ, что мы остались вдвоемъ.

— Какой вы блѣдный и подъ глазами круги,—сказала она ласково.—Вы больны? Вамъ жалко своего брата?

— Мнѣ жалко всѣхъ. И я нездоровъ немного.

— Я знаю, почему вы поцѣловали его руку. Они этого не поняли. За то, что онъ сумасшедшій, да?

— За то, что онъ сумасшедшій, да.

Она задумалась и стала похожа на брата—только очень молоденькая.

— А мнѣ,—она остановилась и покраснѣла, но не опустила глазъ,—а мнѣ позволите поцѣловать вашу руку?

Я всталъ передъ ней на колѣни и сказалъ:

— Благословите меня.

Она слегка поблѣднѣла, отстранилась и однѣми губами прошептала:

— Я не вѣрю.

— И я также.

На секунду ея руки коснулись моей головы, и эта секунда прошла.

— Ты знаешь,—сказала она,—я ѣду туда.

— Поѣзжай. Но ты не выдержишь.

— Не знаю. Но имъ нужно, какъ тебѣ, какъ брату. Они не виноваты. Ты будешь помнить меня?

— Да. А ты?

— Я буду помнить. Прощай!

— Прощай навсегда!

— И я сталъ спокоенъ и мнѣ сдѣлалось легко—какъ будто я уже пережилъ самое страшное, что есть въ смерти и безуміи. И въ первый разъ вчера я спокойно, безъ страха вошелъ въ свой домъ и открылъ кабинетъ брата, и долго сидѣлъ за его столомъ. И когда ночью, внезапно проснувшись, какъ отъ толчка, я услыхалъ скрипъ сухого пера по бумагѣ, я не испугался и подумалъ чуть не съ улыбкой:

— Работай, братъ, работай! Твое перо не сухо—оно обмокнуто въ живую человѣческую кровь. Пусть кажутся твои листки пустыми—своей зловѣщей пустотою они больше говорятъ о войнѣ и о разумѣ, чѣмъ все написанное умнѣйшими людьми. Работай, братъ, работай!

...А сегодня утромъ я прочелъ, что сраженіе продолжается, и снова овладѣла мною жуткая тревога и чувство чего-то падающаго въ мозгу. Оно идетъ, оно близко—оно уже на порогѣ этихъ пустыхъ и свѣтлыхъ комнатъ. Помни, помни же обо мнѣ, моя милая дѣвушка: я схожу съ ума. Тридцать тысячъ убитыхъ. Тридцать тысячъ убитыхъ...

ОТРЫВОКЪ СЕМНАДЦАТЫЙ.

...въ городѣ какое-то побоище. Слухи темны и страшны...

ОТРЫВОКЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

Сегодня утромъ, просматривая въ газетѣ безконечный списокъ убитыхъ, я встрѣтилъ знакомую фамилію: убитъ женихъ моей сестры, офицеръ, призванный на военную службу вмѣстѣ съ покойнымъ братомъ. А черезъ часъ почтальонъ отдалъ мнѣ письмо, адресованное на имя брата, и на конвертѣ я узналъ почеркъ убитаго: мертвый писалъ къ мертвому. Но это все же лучше того случая, когда мертвый пишетъ къ живому; мнѣ показывали мать, которая цѣлый мѣсяцъ получала письма отъ сына послѣ того, какъ въ газетахъ прочла о его страшной смерти—онъ былъ разорванъ снарядомъ. Онъ былъ нѣжный сынъ, и каждое письмо его было полно ласковыхъ словъ, утѣшеній, молодой и наивной надежды на какое-то счастье. Онъ былъ мертвъ и каждый день съ сатанинской аккуратностью писалъ о жизни, и мать перестала вѣрить въ его смерть,—и когда прошелъ безъ письма одинъ, другой и третій день и наступило безконечное молчаніе смерти, она взяла обѣими руками старый большой револьверъ сына и выстрѣлила себѣ въ грудь. Кажется, она осталась жива—не знаю, не слыхалъ.

Я долго разсматривалъ конвертъ и думалъ: онъ держалъ его въ рукахъ, опъ гдѣ-то покупалъ его, давалъ деньги, и деньщикъ ходилъ куда-то въ лавку, онъ заклеивалъ его и потомъ, быть можетъ, самъ опустилъ въ ящикъ. Пришло въ движеніе колесо того сложнаго механизма, который называется почтой, и письмо поплыло мимо лѣсовъ, полей и городовъ, переходя изъ рукъ въ руки, но неуклонно стремясь къ своей цѣли. Онъ надѣвалъ сапоги въ то послѣднее утро—а оно плыло; онъ былъ убитъ, а оно плыло; онъ былъ брошенъ въ яму и заваленъ трупами и землей—а оно плыло мимо лѣсовъ, полей и городовъ, жи[illegible]

призракъ въ сѣромъ штемпелеванномъ конвертѣ. И теперь я держу его въ рукахъ.

Вотъ содержаніе письма. Оно написано карандашомъ на клочкахъ и не окончено, что-то помѣшало.

... „Только теперь я понялъ великую радость войны, это древнее первичное наслажденіе убивать людей—умныхъ, хитрыхъ, лукавыхъ, неизмѣримо болѣе интересныхъ, чѣмъ самые хищные звѣри. Вѣчно отнимать жизнь—это такъ же хорошо, какъ играть въ лаунъ-теннисъ планетами и звѣздами. Бѣдный другъ, какъ жаль, что ты не съ нами и принужденъ скучать въ прѣснотѣ повседневщины. Въ атмосферѣ смерти ты нашелъ бы то, къ чему вѣчно стремился своимъ безпокойнымъ, благороднымъ сердцемъ. Кровавый пиръ—въ этомъ нѣсколько избитомъ сравненіи кроется сама правда. Мы бродимъ по колѣна въ крови, и голова кружится отъ этого краснаго вина, какъ называютъ его въ шутку мои славные ребята. Пить кровь врага—вовсе не такой глупый обычай, какъ думаемъ мы: они знали, что дѣлали“...

... „Воронье кричитъ. Ты слышишь: воронье кричитъ. Откуда ихъ столько? Отъ нихъ чернѣетъ небо. Они сидятъ рядомъ съ нами, потерявшіе страхъ, они провожаютъ насъ всюду,—и всегда мы подъ ними, какъ подъ чернымъ кружевнымъ зонтикомъ, какъ подъ движущимся деревомъ съ черными листьями. Одинъ подошелъ къ самому лицу моему и хотѣлъ клюнуть—онъ думалъ, должно быть, что я мертвый. Воронье кричитъ, и это немного безпокоитъ меня. Откуда ихъ столько?“

... „Вчера мы перерѣзали сонныхъ. Мы крались тихонько, едва ступая ногами, какъ на дрохвъ, мы полали такъ хитро и осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали ни одного ворона. Какъ тѣни, крались мы, и ночь укрывала насъ. Я самъ снялъ часового: повалилъ его и задушилъ руками, чтобы не было

крика. Понимаешь: малѣйшій крикъ—и все пропало бы. Но онъ не крикнулъ. Онъ, кажется, не успѣлъ даже догадаться, что его убиваютъ.

Они всѣ спали у тлѣющихъ костровъ, спали спокойно, какъ дома на своихъ постеляхъ. Мы рѣзали ихъ больше часу, и только нѣкоторые успѣли проснуться, прежде чѣмъ принять ударъ. Визжали и, конечно, просили пощады. Грызлись. Одинъ откусилъ у меня палецъ на лѣвой рукѣ, которой я неосторожно придержалъ его за голову. Онъ отгрызъ мнѣ палецъ, а я начисто отвернулъ ему голову; какъ ты думаешь, мы квиты? Какъ они всѣ не проснулись! Слышно было, какъ хрустятъ кости и рубится мясо. Потомъ мы раздѣли ихъ до-гола и подѣлили ихъ ризы между собой. Мой другъ, не сердись за шутку. Съ твоей щепетильностью ты скажешь, что это припахиваетъ мародерствомъ, но вѣдь мы сами почти голы, совсѣмъ поизносились. Я уже давно ношу какую-то бабью кофту и больше похожъ на ....., чѣмъ на офицера побѣдоносной арміи.

Кстати: ты, кажется, женатъ, и тебѣ не совсѣмъ удобно читать такія вещи. Но... ты понимаешь? женщины. Чортъ возьми, я молодъ и жажду любви! Постой—это у тебя была невѣста? Это ты показывалъ мнѣ карточку какой-то дѣвочки и говорилъ, что это невѣста, и тамъ было написано что-то печальное, такое печальное, такое грустное. И плакалъ ты. Это давно было, я смутно помню, на войнѣ не до нѣжностей. И плакалъ ты. О чемъ ты плакалъ? Что было написано тамъ такое печальное, такое грустное, какъ цвѣточекъ? И плакалъ ты—все плакалъ, плакалъ... Какъ не стыдно офицеру плакать!“

... „Воронье кричитъ. Ты слышишь, другъ: воронье кричитъ. Чего надо ему?“...

Дальше карандашныя строчки стерлись, и подписи нельзя было разобрать.

И странно: ни малѣйшей жалости не вызвалъ во мнѣ погибшій. Я очень ясно представилъ себѣ его лицо, въ которомъ все было мягко и нѣжно, какъ у женщины: окраска щекъ, ясность и утренняя свѣжесть глазъ, бородка такая пушистая и нѣжная, что ею могла бы, кажется, украситься и женщина. Онъ любилъ книги, цвѣты и музыку, боялся всего грубаго и писалъ стихи,—братъ, какъ критикъ, увѣрялъ, что очень хорошіе стихи. И со всѣмъ, что я зналъ и помнилъ, я не могъ связать ни этого кричащаго воронья, ни кровавой рѣзни, ни смерти.

... Воронье кричитъ...

И вдругъ на одинъ безумный, несказанно счастливый мигъ мнѣ ясно стало, что все это ложь и никакой войны нѣтъ. Нѣтъ ни убитыхъ, ни труповъ, ни этого ужаса пошатнувшейся безпомощной мысли. Я сплю на спинѣ и мнѣ грезится страшный сонъ, какъ въ дѣтствѣ: и эти молчаливыя жуткія комнаты, опустошенныя смертью и страхомъ, и самъ я съ какимъ-то дикимъ письмомъ въ рукахъ. Братъ живъ, и всѣ они сидятъ за чаемъ и слышно, какъ звенитъ посуда.

... Воронье кричитъ...

Нѣтъ, это правда. Несчастная земля, вѣдь это правда. Воронье кричитъ. Это не выдумка празднаго писаки, ищущаго дешевыхъ эффектовъ, безумца, потерявшаго разумъ. Воронье кричитъ. Гдѣ мой братъ? Онъ былъ кроткій и благородный и никому не желалъ зла. Гдѣ онъ? Я васъ спрашиваю, проклятые убійцы! Передъ всѣмъ міромъ спрашиваю я васъ, проклятые убійцы, воронье, сидящее на падали, несчастные слабоумные звѣри. Вы звѣри. За что убили вы моего брата? Если бы у васъ было лицо, я далъ бы вамъ пощечину, но у васъ пѣтъ лица, у васъ морда хищнаго звѣря. Вы притворяетесь людьми, но подъ перчатками я вижу когти, подъ шляпою—приплюснутый черепъ звѣря; за вашей умной рѣчью я слышу потаенное безуміе, бря-

цающее ржавыми цѣпями. И всею силою моей скорби, моей тоски, моихъ опозоренныхъ мыслей—я проклинаю васъ, несчастные слабоумные звѣри!

ОТРЫВОКЪ ПОСЛѢДНІЙ.

... отъ васъ мы ждемъ обновленія жизни!

Кричалъ ораторъ, съ трудомъ удерживаясь на столбикѣ, балансируя руками и колебля знамя, на которомъ ломалась въ складкахъ крупная надпись: „Долой войну".

—... Вы, молодые, вы, жизнь которыхъ еще впереди, сохраните себя и будущія поколѣнія отъ этого ужаса, отъ этого безумія. Нѣтъ силъ выносить, кровь заливаетъ глаза. Небо валится на головы, земля разступается подъ ногами. Добрые люди...

Толпа загадочно гудѣла, и голосъ говорившаго минутами терялся въ этомъ живомъ и грозномъ шумѣ.

—... Пусть я сумасшедшій, но я говорю правду. У меня отецъ и братъ гніютъ тамъ, какъ падаль. Разведите костры, накопайте ямъ и уничтожьте, похороните оружіе. Разрушьте казармы и снимите съ людей эту блестящую одежду безумія, сорвите ее. Нѣтъ силъ выносить... Люди умираютъ...

Его ударилъ и сшибъ со столбика кто-то высокій; знамя поднялось еще разъ и упало. Я не успѣлъ разсмотрѣть лица ударившаго, такъ какъ тотчасъ все превратилось въ кошмаръ. Все задвигалось, заволновалось, завыло; въ воздухѣ понеслись камни, полѣнья, надъ головами поднялись кулаки, кого-то бившіе. Толпа, какъ живая ревущая волна, подняла меня, отнесла на нѣсколько шаговъ и съ силою ударила о заборъ, потомъ отнесла назадъ и куда-то въ сторону и, наконецъ, притиснула къ высокому штабелю дровъ, наклонившемуся впередъ и грозившему завалиться на головы. Что-то

часто затрещало и защелкало по бревнамъ; мгновенное затишье—и снова ревъ, огромный, широкозѣвный, страшный въ своей стихійности. И опять сухая и частая трескотня, и кто-то возлѣ меня упалъ, и изъ красной дыры на мѣстѣ глаза полилась кровь. И тяжелое полѣно, крутясь въ воздухѣ, концомъ ударило меня по лицу, я упалъ и полѣзъ куда-то между топочущихъ ногъ, и выбрался на свободное пространство. Потомъ я перелѣзалъ какіе-то заборы, обломавъ себѣ всѣ ногти, взбирался на штабели дровъ; одинъ разсыпался подо мною, и я упалъ вмѣстѣ съ водопадомъ стукающихся полѣньевъ; изъ какого-то замкнутаго четырехугольника я насилу выбрался—а сзади меня, настигая, все грохотало, ревѣло, выло и трещало. Гдѣ-то звонилъ колоколъ; что-то рухнуло, какъ будто упалъ пятиэтажный домъ. Сумерки точно остановились, не пуская ночи, и въ той сторонѣ ревъ и выстрѣлы словно окрасились краснымъ свѣтомъ и отогнали тьму. Спрыгнувъ съ послѣдняго забора, я очутился въ какомъ-то узенькомъ, кривомъ переулкѣ, похожемъ на корридоръ между двухъ глухихъ стѣнъ, и побѣжалъ и бѣжалъ долго, но переулокъ оказался безъ выхода: его перегораживалъ заборъ, и за нимъ снова чернѣли штабели дровъ и лѣса. И опять я лазилъ по этимъ подвижнымъ, зыбкимъ громадамъ, проваливался въ какіе-то колодцы, гдѣ было тихо и пахло сырымъ деревомъ, и снова выбирался наружу и не смѣлъ оглянуться назадъ: я и такъ зналъ, что дѣлается тамъ, по красноватому смутному налету, легшему на черныя бревна и сдѣлавшему ихъ похожими на убитыхъ великановъ. Кровь съ разбитаго лица перестала течь, и оно онѣмѣло и стало чужимъ, какъ гипсовая маска; и боль почти совсѣмъ утихла. Кажется, въ одномъ изъ черныхъ проваловъ, куда я свалился, со мною сдѣлалось дурно и я потеря[redacted]наніе, но не знаю, было ли это дѣйствительно,

или мнѣ показалось, такъ какъ вспоминаю я себя только бѣгущимъ.

Потомъ я долго метался по незнакомымъ улицамъ, на которыхъ не было фонарей, среди черныхъ, точно вымершихъ домовъ, и никакъ не могъ выбраться изъ ихъ нѣмого лабиринта. Нужно было остановиться и оглядѣться вокругъ себя, чтобы опредѣлить направленіе, но этого нельзя было сдѣлать: за мною по пятамъ несся еще далекій, но все настигающій грохотъ и вой; иногда, на внезапномъ поворотѣ, онъ ударялъ меня въ лицо, красный, закутанный въ клубы багроваго, крутящагося дыма, и тогда я поворачивалъ назадъ и метался до тѣхъ поръ, пока онъ снова не становился за моей спиной. На одномъ углу я увидѣлъ полосу свѣта, погасшаго при моемъ приближеніи: это поспѣшно закрывали какой-то магазинъ. Въ широкую щель я еще увидѣлъ кусочекъ прилавка и какую-то кадку, и сразу все одѣлось молчаливой, притаившейся мглой. Невдалекѣ отъ магазина я встрѣтилъ человѣка, бѣжавшаго мнѣ навстрѣчу, и въ темнотѣ мы чуть не столкнулись и остановились въ двухъ шагахъ другъ отъ друга. Не знаю, кто былъ онъ: я видѣлъ только темный насторожившійся силуэтъ.

— Ты оттуда?—спросилъ онъ.

— Оттуда.

— А куда ты бѣжишь?

— Домой.

— А! Домой?

Онъ помолчалъ и внезапно набросился на меня, стараясь повалить меня на землю, и его холодные пальцы жадно нащупывали мое горло, но путались въ одеждѣ. Я укусилъ его за руку, вырвался и побѣжалъ, и онъ долго гнался за мною по пустыннымъ улицамъ, громко стуча сапогами. Потомъ отсталъ—должно быть, ему было больно отъ укуса.

Не знаю, какъ я попалъ на свою улицу. На ней

также не было фонарей, и дома стояли безъ одного огня, какъ мертвые, и я пробѣжалъ бы и ее, не узнавая, если бы не поднялъ случайно глазъ и не увидѣлъ своего дома. Но я долго колебался: самый домъ, въ которомъ я жилъ столько лѣтъ, казался мнѣ чужимъ на этой странной мертвой улицѣ, будившей печальное и необыкновенное эхо моего громкаго дыханія. Потомъ меня охватилъ внезапный бѣшеный испугъ при мысли, что я потерялъ ключъ, падая, и насилу я нашелъ его, хотя онъ былъ тутъ же въ наружномъ карманѣ. И когда я щелкнулъ замкомъ, эхо повторило звукъ такъ громко и необыкновенно, какъ будто сразу открылись двери на всей улицѣ во всѣхъ мертвыхъ домахъ.

...Сперва я спрятался въ подвалѣ, но скоро стало страшно и скучно и передъ глазами что-то начало мелькать, и я потихоньку пробрался въ комнаты. Въ темнотѣ, ощупью я заперъ всѣ двери и, послѣ нѣкотораго размышленія, хотѣлъ загородить ихъ мебелью, но звукъ передвигаемаго дерева былъ страшно громокъ въ пустыхъ комнатахъ и напугалъ меня.

— Буду такъ ждать смерти. Вѣдь все равно,—рѣшилъ я.

Въ умывальникѣ была еще вода, очень теплая, и я ощупью умылся и вытеръ лицо простыней. Тамъ, гдѣ лицо было разбито, очень саднѣло и щипало, и мнѣ захотѣлось взглянуть на себя въ зеркало. Я зажегъ спичку—и при ея неровномъ, слабо разгорающемся свѣтѣ на меня взглянуло изъ темноты что-то настолько безобразное и страшное, что я поспѣшно бросилъ спичку на полъ. Кажется, былъ переломленъ носъ.

— Теперь все равно,—подумалъ я.—Никому это не нужно.

И мнѣ стало весело. Со странными ужимками и гримасами, какъ будто я былъ въ театрѣ и представлялъ вора, я отправился къ буфету и началъ искать

остатковъ пищи. Я ясно сознавалъ неумѣстность всѣхъ этихъ ужимокъ, но мнѣ такъ нравилось. И ѣлъ я все съ тѣми же гримасами, притворяясь, что я очень жаденъ.

Но тишина и тьма пугали меня. Я открылъ форточку, выходившую во дворъ, и сталъ слушать. Вначалѣ, вѣроятно, оттого, что ѣзда прекратилась, мнѣ показалось совершенно тихо. И выстрѣловъ не было. Но я скоро ясно различилъ отдаленный гулъ голосовъ, крики, трескъ чего-то падающаго и хохотъ. Звуки замѣтно увеличивались въ силѣ. Я посмотрѣлъ на небо: оно было багровое и быстро бѣжало. И сарай противъ меня, и мостовая на дворѣ, и конура собаки были окрашены въ тотъ же красноватый цвѣтъ. Тихонько я позвалъ изъ окна собаку:

— Нептунъ!

Но въ конурѣ ничто не шевельнулось, а возлѣ я разсмотрѣлъ въ багровомъ свѣтѣ поблескивающій обрывокъ цѣпи. Отдаленный крикъ и трескъ чего-то падающаго все росли, и я закрылъ форточку.

— Идутъ сюда!—подумалъ я и началъ искать, гдѣ бы спрятаться. Я открывалъ печи, ощупывалъ каминъ, отворялъ шкафы, но все это не годилось. Я обошелъ всѣ комнаты, кромѣ кабинета, куда я не хотѣлъ заглядывать. Я зналъ, что онъ сидитъ въ своемъ креслѣ противъ стола, заваленнаго книгами, и сейчасъ это было бы мнѣ непріятно.

Постепенно мнѣ начало казаться, что я хожу не одинъ: вокругъ меня въ темнотѣ двигались молча какіе-то люди. Они почти касались меня, и одинъ разъ чье-то дыханіе оледенило мой затылокъ.

— Кто тутъ?—шопотомъ спросилъ я, но никто не отвѣтилъ.

А когда я снова пошелъ, они двинулись за мною, молчаливые и страшные. Я зналъ, что это мнѣ кажется оттого, что я боленъ и у меня, видимо, начи-

нается жаръ, но не могъ преодолѣть страха, отъ котораго все тѣло начинало дрожать, какъ въ ознобѣ. Я пощупалъ голову: она была горячая, какъ огонь.

— Пойду лучше туда,—подумалъ я. — Онъ все-таки свой.

Онъ сидѣлъ въ своемъ креслѣ передъ столомъ, заваленнымъ книгами, и не исчезъ, какъ тогда, но остался. Сквозь опущенныя драпри въ комнату пробивался красноватый свѣтъ, но ничего не освѣщалъ, и онъ былъ едва виденъ. Я сѣлъ въ сторонѣ отъ него на диванъ и началъ ждать. Въ комнатѣ было тихо, а оттуда приносился ровный гулъ, трещаніе чего-то падающаго и отдѣльные крики. И они приближались. И багровый свѣтъ становился все сильнѣе, и я уже видѣлъ въ креслѣ его: черный, чугунный профиль, очерченный узкой красною полосой.

— Братъ!—сказалъ я.

Но онъ молчалъ, неподвижный и черный, какъ памятникъ. Въ сосѣдней комнатѣ хрустнула половица— и вдругъ сразу стало такъ необыкновенно тихо, какъ бываетъ только тамъ, гдѣ много мертвыхъ. Всѣ звуки замерли, и самъ багровый свѣтъ пріобрѣлъ неуловимый оттѣнокъ мертвенности и тишины, сталъ неподвижный и слегка тусклый. Я подумалъ, что отъ брата идетъ такая тишина, и сказалъ ему объ этомъ.

— Нѣтъ, это не отъ меня,—отвѣтилъ онъ.—Посмотри въ окно.

Я отдернулъ драпри—и отшатнулся.

— Такъ вотъ что!—сказалъ я.

— Позови мою жену: она этого еще не видала,— приказалъ братъ.

Она сидѣла въ столовой и что-то шила, и, увидѣвъ мое лицо, послушно поднялась, воткнула иглу въ шитье и пошла за мной. Я отдернулъ занавѣси во всѣхъ окнахъ, и въ широкія отверстія свободно влился *багровый* свѣтъ, но почему-то не сдѣлалъ комнаты

свѣтлѣе: она осталась такъ же темна, и только окна неподвижно горѣли красными большими четырехугольниками.

Мы подошли къ окну. Отъ самой стѣны дома, отъ карниза начиналось ровное огненно-красное небо, безъ тучъ, безъ звѣздъ, безъ солнца, и уходило за горизонтъ. А внизу подъ нимъ лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. Всѣ трупы были голы и ногами обращены къ намъ, такъ что мы видѣли только ступни ногъ и трехугольныя головы. И было тихо,—очевидно, всѣ умерли, и на безконечномъ полѣ не было забытыхъ.

— Ихъ становится больше,—сказалъ братъ.

Онъ тоже стоялъ у окна, и всѣ были тутъ: мать, сестра и всѣ, кто жили въ этомъ домѣ. Ихъ лицъ не было видно, и я узнавалъ ихъ только по голосу.

— Это кажется,—сказала сестра.

— Нѣтъ, правда. Ты посмотри.

Правда, труповъ стало какъ будто больше. Мы внимательно искали причину и увидѣли: рядомъ съ однимъ мертвецомъ, гдѣ раньше было свободное мѣсто, вдругъ появился трупъ: повидимому, ихъ выбрасывала земля. И всѣ свободные промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля посвѣтлѣла отъ блѣдно-розовыхъ тѣлъ, лежавшихъ рядами, голыми ступнями къ намъ. И въ комнатѣ посвѣтлѣло блѣдно-розовымъ мертвымъ свѣтомъ.

— Смотрите, имъ не хватаетъ мѣста,—сказалъ братъ.

Мать отвѣтила:

— Одинъ уже здѣсь.

Мы оглянулись: сзади насъ на полу лежало голое, блѣдно-розовое тѣло съ закинутой головой. И сейчасъ же возлѣ него появилось другое и третье. И одно за другимъ выбрасывала ихъ земля, и скоро правильные ряды блѣдно-розовыхъ мертвыхъ тѣлъ заполнили всѣ комнаты.

— Они и въ дѣтской,—сказала няня.—Я видѣла.

— Нужно уйти,—сказала сестра.

— Да вѣдь нѣтъ прохода,—отозвался братъ.—Смотрите.

Правда, голыми ногами они уже касались насъ и лежали плотно, рукою къ рукѣ. И вотъ они пошевельнулись и дрогнули, и приподнялись все тѣми же правильными рядами: это изъ земли выходили новые мертвецы и поднимали ихъ кверху.

— Они насъ задушатъ!— сказалъ я.—Спасемтесь въ окно.

— Туда нельзя! — крикнулъ братъ. Туда нельзя! Взгляни, что тамъ!

...За окномъ, въ багровомъ и неподвижномъ свѣтѣ стоялъ самъ Красный Смѣхъ.

8 ноября 1904 года.

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступили въ продажу:

ШЕЛЛИ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ ПЕРЕВОДѢ К. Д. БАЛЬМОНТА.

Новое трехтомное переработанное изданіе:

Вышелъ ТОМЪ ПЕРВЫЙ. *Содержаніе:*

1. Лирика: 186 стихотвореній.
2. Царица Мабъ. Поэма.
3. Примѣчанія Шелли къ «Царицѣ Мабъ».
4. Демонъ міра. Поэма.
5. Аласторъ. Поэма.

Геліогравюра Дюжардена, изображающая Шелли.

Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цѣна 2 р.

Вышелъ ТОМЪ ВТОРОЙ. *Содержаніе:*

1. Возмущеніе Ислама (Лаонъ и Цитна). Поэма.
2. Царевичъ Атанизъ. Отрывокъ.
3. Строки, написанныя среди Евганейскихъ холмовъ.
4. Розалинда и Елена. Современная эклога.
5. Юліанъ и Маддало. Бесѣда.
6. Освобожденный Прометей. Лирическая драма.
7. Ченчи. Трагедія.

Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цѣна 2 р.

Вышелъ ТОМЪ ТРЕТІЙ. *Содержаніе:*

1. Маскарадъ анархіи. Поэма.
2. Письмо къ Маріи Джисборнъ. Въ стихахъ.
3. Волшебница Атласа. Поэма.
4. Эпипсихидіонъ. Поэма.
5. Адонаисъ. Элегія.
6. Эллада. Лирическая драма.
7. Отрывки неоконченной драмы.
8. Карлъ Первый. Драматическіе отрывки.
9. Торжество жизни. Поэма.
10. Ассассины. Отрывокъ изъ романа.
11. Колизей.
12. О любви.
13. Размышленія о метафизикѣ.
14. Размышленія о морали.
15. О будущемъ состояніи.
16. О литературѣ, искусствахъ и нравахъ аѳинянъ.
17. Объ одномъ мѣстѣ въ Критонѣ.
18. Критическія замѣчанія о скульптурѣ флорентинской галлереи.
19. Арка Тита.
20. О возрожденіи литературы.
21. О смертной казни.
22. О жизни.
23. Въ защиту поэзіи.

— Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

— Къ третьему тому приложена статья «*Эдуардъ Даудэнъ*. Очеркъ жизни Шелли».

Цѣна 2 р.

Съ выходомъ третьяго тома изданіе закончено.

Выписывающіе изъ склада товарищества „ЗНАНІЕ“ за пересылку не платятъ. Просятъ обращаться исключительно по адресу:
Контора т-ва «ЗНАНІЕ». Спб., Невскій, 92.

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступили въ продажу:

1. Эсхилъ. **СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ** . . . . . — р. 30 к.
2. Софоклъ. **ЭДИПЪ ЦАРЬ** . . . . . — » 40 »
3. Софоклъ. **ЭДИПЪ ВЪ КОЛОНѢ** . . . . . — » 40 »
4. Софоклъ. **АНТИГОНА** . . . . . — » 40 »
5. Эврипидъ. **МЕДЕЯ** . . . . . — » 40 »
6. Эврипидъ. **ИППОЛИТЪ** . . . . . — » 40 »

Примѣчаніе. Всѣ шесть трагедій переведены съ греческаго Д. С. Мережковскимъ. Въ стихахъ. При каждой—портретъ автора.

7. Платонъ. **ПИРЪ** . . . . . — » 60 »

Философская поэма. *Иллюстраціи*: снимки съ бюстовъ Платона, Сократа, Аристофана, Алкивіада; картины пира по древне-греческимъ вазамъ; снимки со статуй и рельефовъ; снимки съ картины «Пиръ» Фейербаха.

8. Байронъ. **МАНФРЕДЪ** . . . . . — » 40 »
9. Шелли. **ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ** . . . — » 50 »
10. Шелли. **ЧЕНЧИ** . . . . . — » 50 »
11. Лонгфелло. **ПѢСНЬ О ГАЙАВАТѢ** . . . . 2 » — »

Переводъ И. А. Бунина. Въ стихахъ. *Роскошно иллюстрированное* изданіе: около 400 рисунковъ въ текстѣ; портретъ Лонгфелло и 22 большихъ рисунка на отдѣльныхъ таблицахъ.

12. Лонгфелло. **ПѢСНЬ О ГАЙАВАТѢ** . . . . . — » 80 »

Дешёзое изданіе: тотъ-же переводъ, тѣ-же 400 рис. въ текстѣ; 22 таблицы и портретъ Лонгфелло; только бумага и форматъ другіе.

13. Красинскій **ИРИДІОНЪ** . . . . . — » 60 »
14. Бьёрнсонъ. **ПЕРЧАТКА** . . . . . — » 40 »
15. Гауптманъ. **РОЗА БЕРНДЪ** . . . . . — » 50 »
16. Золя. **УГЛЕКОПЫ** . . . . . 1 » — »
17. Гёте. **ФАУСТЪ.** Обѣ части. Переводъ въ прозѣ П. И. Вейнберга, съ примѣчаніями переводчика . 2 » — »
18. Имре Мадачъ. **ЧЕЛОВѢЧЕСКАЯ ТРАГЕДІЯ** . . — » 50 »
19. Т. Шевченко. **КОБЗАРЬ** . . . . . 1 » — »

Выписывающіе изъ склада товарищества «ЗНАНІЕ» за пересылку не пла[redacted] Просятъ обращаться исключительно по адресу маг-на т-ва «ЗНАНІЕ» Спб., Невскій, 92.

Послѣднія изданія товарищества „ЗНАНІЕ“:

Сборникъ т-ва „ЗНАНІЕ“ за 1903 г. Книга первая . 1 р. — к.
Книга вторая . 1 „ — „
М. Горькій. Разсказы и пьесы. Томы I—VI . . . по 1 „ — „
Л. Андреевъ. Разсказы. Томъ I . . . . . 1 „ — „
Скиталецъ. Разсказы и пѣсни. Томъ I . . . . . 1 „ — „
Е. Чириковъ. Разсказы и пьесы. Томы I—IV . . . по 1 „ — „
И. Бунинъ. Разсказы и стихотворенія. Томы I—II . по 1 „ — „
Н. Телешовъ. Разсказы. Томъ I . . . . . 1 „ — „
А. Серафимовичъ. Разсказы. Томъ I . . . . . 1 „ — „
А. Купринъ. Разсказы. Томъ I . . . . . 1 „ — „
С. Юшкевичъ. Разсказы. Томы I—II . . . . . по 1 „ — „
С. Гусевъ-Оренбургскій. Разсказы. Томъ I. . . . . 1 „ — „
Н. Гаринъ. Дѣтство Темы. Томъ I . . . . . 1 „ — „
Н. Гаринъ. Гимназисты. Томъ II . . . . . 1 „ — „
Н. Гаринъ. Студенты. Томъ III . . . . . 1 „ — „
Н. Гаринъ. Корейскія сказки. . . . . — „ 60 „
Н. Гаринъ. По Кореѣ, Манчжуріи и Ляодунскому полуострову. . . . . 1 „ — „
А. Яблоновскій. Разсказы. . . . . 1 „ — „
С. Елеонскій. Разсказы. . . . . 1 „ — „
С. Елпатьевскій. Разсказы. Томы I—III . . . . . по 1 „ — „
С. Найденовъ. Пьесы. Томъ I. . . . . 1 „ — „
Эсхилъ. Скованный Прометей. *Изд. второе* . . . . . — „ 30 „
Софоклъ. Эдипъ-царь. *Изд. второе* . . . . . — „ 40 „
Софоклъ. Эдипъ въ Колонѣ. *Изд. второе.* . . . . . — „ 40 „
Софоклъ. Антигона. *Изд. второе* . . . . . — „ 40 „
Эврипидъ. Медея. *Изд. второе* . . . . . — „ 40 „
Эврипидъ. Ипполитъ. *Изд. второе.* . . . . . — „ 40 „
Платонъ. Пиръ. *Съ иллюстраціями* . . . . . — „ 60 „
Бьёрнсонъ. Перчатка. . . . . — „ 40 „
Гауптманъ. Роза Берндъ. . . . . — „ 50 „
Байронъ. Манфредъ. . . . . — „ 40 „
Байронъ. Каинъ. *Печатается.* . . . . . — „ — „
Гете. Фаустъ. Обѣ части. . . . . 2 „ — „
Леопарди. Разговоры. *Печатается* . . . . . — „ — „
Леопарди. Мысли. *Печатается* . . . . . — „ — „
Красинскій. Иридіонъ. . . . . — „ 60 „
Шелли. Полное собраніе сочиненій въ 3 томахъ.
Каждый томъ . . . . . по 2 „ — „
Шелли. Освобожденный Прометей. . . . . — „ 50 „
Шелли. Ченчи. . . . . — „ 50 „
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Роскошно-илл. изд. . 2 „ — „
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Дешевое изданіе. . . — „ 80 „
Э. Золя. Углекопы. *Изд. третье.* . . . . . 1 „ — „
И. Мадачъ. Человѣческая трагедія. . . . . — „ 50 „
Т. Шевченко. Кобзарь. *Изд. второе* . . . . . 1 „ — „

Позв. цензъ.Спб., 15 Декабря 1904 г. Типографія Н. Н. Клобукова. Литейная —

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступили въ продажу:

СБОРНИКЪ ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“.

I. КНИГА ПЕРВАЯ:

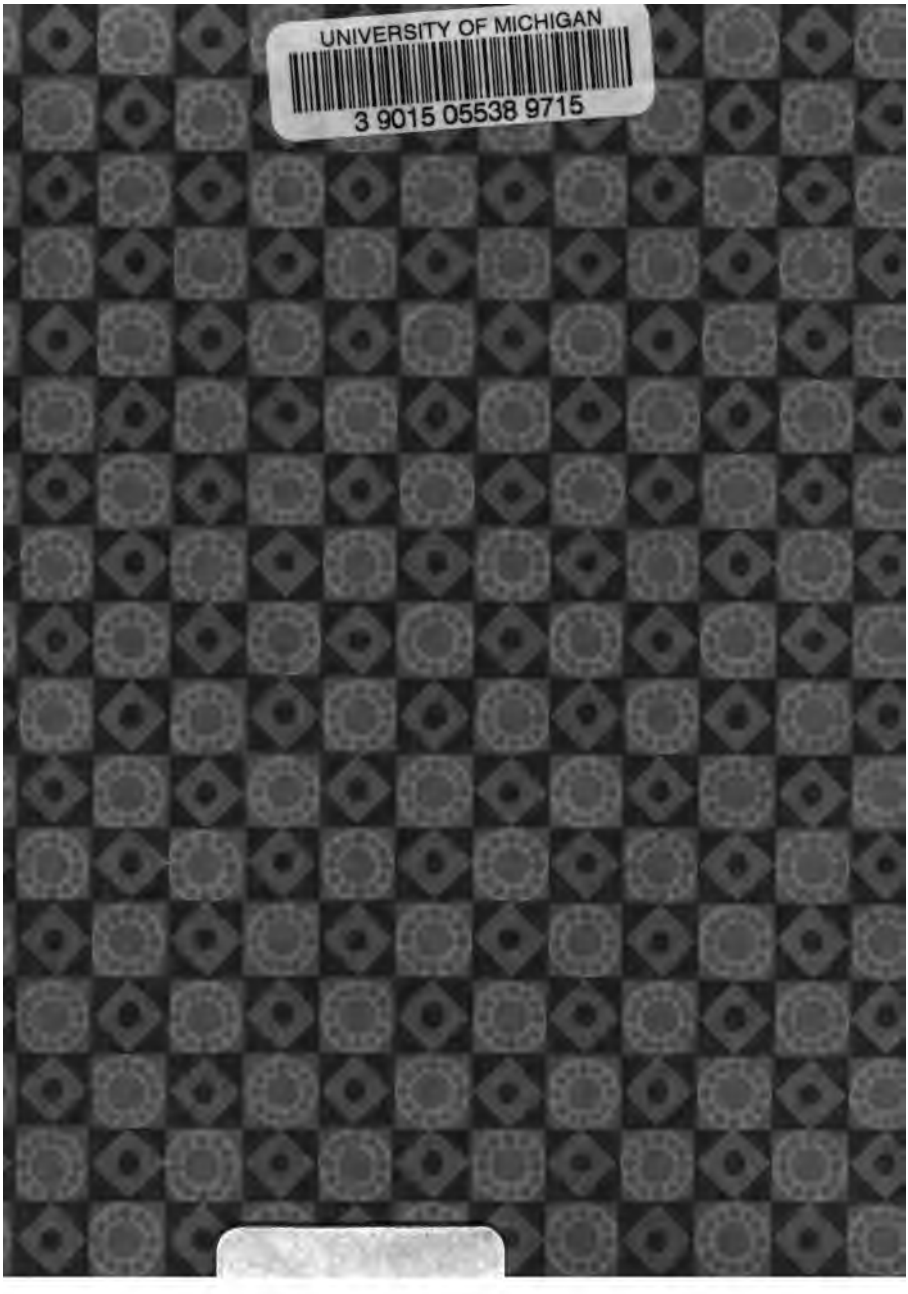
Л. Андреевъ. Жизнь Василія Фивейскаго.—Ив. Бунинъ. Стихотворенія.—Ив. Бунинъ. Черноземъ.—В. Вересаевъ. Передъ завѣсой.—Н. Гаринъ. Деревенская драма.—М. Горькій. Человѣкъ.—С. Гусевъ-Оренбургскій. Въ приходѣ. А. Серафимовичъ. Въ пути.—Н. Телешовъ. Между двухъ береговъ.—*Цѣна 1 р.*

II. КНИГА ВТОРАЯ:

— А. Купринъ. Мирное житіе. — Скиталецъ. Стихотворенія.— А. Чеховъ. Вишневый садъ.—Е. Чириковъ. На порукахъ.—С. Юшкевичъ. Евреи.—*Цѣна 1 р.*

III. КНИГА ТРЕТЬЯ:

— Скиталецъ. Памяти Чехова.—А. Купринъ. Памяти Чехова.— М. Горькій. Дачники.—Ив. Бунинъ. Памяти Чехова.—Л. Андреевъ. Красный смѣхъ.—*Цѣна 1 р.*


UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 05538 9715